

Николай Лесков

Обойдённыe



Николай Семёнович Лесков Обойдѣнные

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174793*

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	14
Глава третья	38
Глава четвертая	86
Глава пятая	96
Глава шестая	104
Глава седьмая	111
Глава восьмая	131
Глава девятая	159
Глава десятая	170
Глава одиннадцатая	179
Глава двенадцатая	184
Глава тринадцатая	191
Глава четырнадцатая	195
Глава пятнадцатая	203
Глава шестнадцатая	213
Глава семнадцатая	217
Часть вторая	224
Глава первая	224
Глава вторая	240
Глава третья	248
Глава четвертая	255

Глава пятая	264
Глава шестая	272
Глава седьмая	279
Глава восьмая	292
Глава девятая	319
Глава десятая	328
Глава одиннадцатая	340
Часть третья	350
Глава первая	350
Глава вторая	361
Глава третья	371
Глава четвертая	374
Глава пятая	384
Глава шестая	390
Глава седьмая	396
Глава восьмая	408
Глава девятая	411
Глава десятая	432
Глава одиннадцатая	451
Глава двенадцатая	461
Глава тринадцатая	470
Глава четырнадцатая	477
Глава пятнадцатая	484
Глава шестнадцатая	496
Глава семнадцатая	503
Глава восемнадцатая	510

Глава девятнадцатая
Пара строк вместо эпилога

514

520

Николай Лесков

Обойденные

Часть первая

Глава первая

Крючок падает в воду

Этот русский роман начался в Париже и вдобавок в самом приличном, самом историческом здании Парижа – в Лувре. В двенадцать часов ясного зимнего дня картинные галереи Лувра были залиты сплошной и очень пестрою толпою доброго французского народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленых бархатных диванах круглой залы тоже не было ни одного свободного места. Только в первой зале, где слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менее ужасной картиной предательского убийства – было просторнее. Здесь, перед картиной, изображающей юношу и аскета, погребавших в пустыне молодую красавицу, тихо прижавшись к стене, стоял господин лет тридцати, с очень крот-

ким, немного грустным и очень выразительным, даже, можно сказать, с очень красивым лицом. Закинутые назад волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у нас в России отличают художников. С первого взгляда было очень трудно определить национальность этого человека, но, во всяком случае, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и скорее всего могло напомнить собою одушевленные типы славянского юга.

В трех шагах от этого незнакомца, прислонясь слегка плечиком к высокому табурету, на котором молча работала копировщица, так же тихо и задумчиво стояла молодая восхитительной красоты девушка, с золотисто-красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная девушка скорее напоминала собою заблудившуюся к людям ундину или никсу, чем живую женщину, способную считать франки и сантимы или вести домашнюю свару. Наряд этой девушки был прост до последней степени; видно было, что он нимало не занимал ее больше, чем наряд должен занимать человека: он был очень опрятен и над ним нельзя было рассмеяться.

– Насмотрелась? – произнес по-русски тихий женский голос сзади никсы.

Молодая девушка не шевельнулась и не ответила

ни слова.

– Я уже два раза обошла все залы, а ты все сидишь; пойдём, Дора! – позвал через несколько секунд тот же голос.

Этот голос принадлежал молодой женщине, тоже прекрасной, но составляющей резкий контраст с воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, с роскошными круглыми формами, с большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густые ресницы, и до синевы черными волосами, изящно оттеняющими высокий мраморный лоб и бледное лицо, которое могло много рассказать о борьбе воли со страстями и страданиями.

Девушка привстала с приножка высокого табурета художницы, поблагодарила ее за позволение посидеть и сказала:

– Да, я опять расфантазировалась.

– И что тебе так нравится в этой картине? – спросила брюнетка.

– Вот поди же! Мне, знаешь, с некоторого времени кажется, что эта картина имеет не один прямой смысл: старость и молодость хоронят свои любимые радости. Смотри, как грустна и тяжела безрадостная старость, но в безрадостной молодости есть что-то жасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, в эту падающую голову.

– Ты везде увидишь то, чего нет и чего никто не видит, – отвечала брюнетка с самой доброй улыбкой.

– Да, *чего никто не хочет видеть*, это может быть, но не то, чего вовсе нет. Хочешь, я спрошу вот этого шута, что его занимает в этой картине? Он тут еще прежде меня прилип.

Та, которая называлась Анею, покачала с упреком головою и произнесла:

– Тсс!

– Сделай милость, успокойся, не забывай, что он ничего этого не понимает.

Дамы вышли налево; молчаливый господин посмотрел им вслед, весело улыбнулся и тоже вышел. Они еще раз встретились внизу, получая свои зонтики, взглянули друг на друга и разошлись.

Через две недели после этой встречи известный нам человек стоял, с маленькой карточкой в руках, у дверей омнибусного бюро, близ св. Магдалины. На дворе был дождь и резкий зимний ветер – самая неприятная погода в Париже. Из-за угла Магдалины показался высокий желтый омнибус, на империале которого не было ни одного свободного места.

– Начинается нумер седьмой! – крикнул кондуктор.

Наш луврский знакомый подал свою карточку, вспрыгнул в карету, и полный экипаж тронулся снова, оставив все дальнейшие номера дрогнуть на тро-

туаре или греться около раскаленных железных печек бесприютного бюро.

В карете, vis-a-vis¹ против нового пассажира, сидели две дамы, из которых одна была закрыта густым черным вуалем, а в другой он тотчас же узнал луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрела в заднее окно, где на сером дождевом фоне мелькала козлиная фигурка кондуктора в синем кепи и безобразных вязаных нарукавниках, изобретение которых, к стыду великой германской нации, приписывается добродетельным немкам. Дама, закрытая вуалем, плакала. Хотя густой вуаль и не позволял видеть ни ее глаз, ни ее лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но их предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ее воле плеч. При каждом таком, впрочем, едва приметном движении Дора еще пуще сдвигала брови и сердитее смотрела на стоящую в воздухе мокрядь.

– Это, наконец, глупо, сестра! – сказала она, не вытерпев, когда дама, закрытая вуалем, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла под вуаль мокрый от слез платок и, видимо, хотела заставить себя успокоиться.

– Неужто и после этих неслыханных оскорблений в

¹ Лицом к лицу (Франц.)

тебе еще живет какая-нибудь глупая любовь к этому негодяю! – сердито проговорила Дора.

– Оставь, пожалуйста, – тихо отвечала дама в вуале.

– Нет, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

– Извините, пожалуйста, – отнесся к ундине пассажир, севший у Магдалины, – я считаю нужным сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалем, сделала едва заметное движение головою, а Дора сначала вспыхнула до самых ушей, но через минуту улыбнулась и, отворачась, стала глядеть из-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва заметному движению щеки можно было догадаться, что она смеется.

Совершенно опустевший омнибус остановился у Одеона. Пассажир от св. Магдалины посмотрел вслед Доре с ее сестрою. Они вошли в ворота Люксембургского сада. Пассажир встал последний и, выходя, поднял распечатанное письмо с московским почтовым штемпелем. Письмо было адресовано в Париж, госпоже Прохоровой, *poste restante*.² Он взял это письмо и бегом бросился по прямой аллее Люксембургского сада.

– Не обронили ли вы чего-нибудь? – спросил он,

² До востребования (Франц.)

догнав Дору и ее сестру.

Последняя быстро опустила руку в карман и сказала:

– Боже мой! Что я сделала? Я потеряла письмо и мой вексель.

– Вот ваше письмо, и посмотрите, может быть, здесь же и ваш вексель, – отвечал господин, подавая поднятый конверт.

Вексель действительно оказался в конверте, и господин, доставивший дамам эту находку, уже хотел спокойно откланяться, как та, которая напоминала собою ундину или никсу, застенчиво спросила его:

– Скажите, пожалуйста, вы русский?

– Я русский-с, – отвечал незнакомец.

– Скажите, пожалуйста, какая досада!

– Что я русский?

– Именно. Я этого никак не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, – проговорила она серьезно и протянула ручку. – Сама судьба хотела, чтоб я просила у вас извинения за мою ветреность, и я его прошу у вас.

– Извините, я не знаю, чем вы меня оскорбили.

– Недели две назад, в Лувре... Помните теперь?

– Назвали меня что-то шутком, или дураком, кажется?

– Да, что-то в этом вкусе, – отвечала, краснея, сме-

ьясь и тряся его руку, ундина. – Позволяю вам за это десять раз назвать меня дурой и шутихой. Меня зовут Дарья Михайловна Прохорова, а это – моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обе принадлежим к одному гербу и роду.

– Мое имя Нестор Долинский, – отвечал незнакомый господин, кланяясь и приподнимая шляпу.

– А как вас по батюшке?

– Нестор Игнатьевич, – пояснил Долинский.

– Отлично! Вы, Нестор Игнатьевич, веселитесь или скучаете?

– Скорее скучаю.

– Бесподобно! Мы живем два шага от сада, вот сейчас номер десятый, и у нас есть свой самовар. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь, и приходите к нам пить чай.

– Очень рад, – отвечал Долинский.

– Пожалуйста, приходите, – упрашивала девушка. – Кроме гадких французов, ровно никого не увидишь – просто несносно.

– Пожалуйста, заходите, – попросила для порядка Анна Михайловна.

– Непременно зайду, – отвечал Долинский и повернул назад к Латинскому кварталу.

Глава вторая

Небольшая история, случившаяся до начала этого романа

У каждого из трех лиц, с которыми мы встречаемся на первых страницах этого романа, есть своя небольшая история, которую читателю не мешает знать. Начнем с истории наших двух дам.

Анна Михайловна и Дорушка, как мы уже знаем из собственных слов последней, принадлежали к одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лет спустя после смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитем своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать, рассказывая эту историю, была барыня старого покроя. Доводилась она как-то сродни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила в свое время на стоящих выше всякого описания его вельможеских пирах; имела какой-то роман, из рода романов, отличавших тогдашнюю распудренную эпоху северной Пальмиры, и, наконец, вышла замуж за князя Аггея Лукича Сурского, человека старого, не безобразного, но страшного с виду и еще более страшного по харак-

теру. До своей женитьбы на княжне Ирине Васильевне князь Сурский был вдов, имел двенадцатилетнюю дочь от первого брака, и самому ему было уже лет под шестьдесят, когда он решился осчастливить свою рукою двадцатитрехлетнюю Ирину Васильевну и посватался за нее через светлейшего покорителя Тавриды. Впрочем, князь Сурский был еще свеж и бодр; как истый аристократ, он не позволял себе дряхлеть и разрушаться раньше времени, назначенного для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всеми известными в то время косметическими средствами. Но, разумеется, не этот недостаток сил и жизни продиктовал крепкому старику мысль жениться на двадцатитрехлетней княжне Ирине Васильевне. Княжна не обещала много интереса для его чувствительной любознательности, и князь вовсе не желал быть Раулем-Синей бородой. Дело было гораздо проще. Князь был богат, знатен и честолюбив; ему хотелось во что бы то ни стало породниться с Таврическим, и княжна Ирина Васильевна была избрана средством для достижения этой цели. Совершилась пышная свадьба, к которой Ирину Васильевну, как просвещенную девицу, не нужно было нимало склонять, ни приневоливать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою, а князь Сурский немнож-

ко еще выше приподнял свое беломраморное чело и отращивал розовые ногти на своих длинных тонких пальцах. Но вдруг коловратное время перевернуло козырь и так перетасовало колоду, что князь Сурский, несмотря на родство с Таврическим, был несказанно рад, попав при этой перетасовке не далее своей степной деревни в одной из низовых губерний. Здесь, в стороне от всякого шума, вдали от далекого, упоительного света, очутилась княгиня Ирина Васильевна с перспективой здесь же протянуть долгие-долгие годы. А в двадцать четыре года жизнь так хороша, и жить так хочется, даже и за старым мужем... может быть, даже особенно за старым мужем...

Князь Сурский в деревне явился совершенно другим человеком, чем был в столице. Его мягкие, великосветские манеры, отличавшие вельмож екатерининского времени, в степном селе уступили место неудержимой резкости и порывистости. Широкие и смелые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сузились до мелкой придирчивости, до тирании, от которой в доме страдали все, начиная от маленького поваренка на кухне до самой молодой княгини, в ее образной и опочивальне. Князь мстил за свое унижение людям, которые при тогдашних обстоятельствах не могли ничего поставить в свою защиту. Молодая княгиня не находилась, как ей вести себя в ее печаль-

ном положении и какой методы держаться со своим грозным и неприступным мужем.

Через полгода после переезда их в деревню княгиня Ирина Васильевна родила сына, которого назвали в честь деда Лукою. Рождение этого ребенка имело весьма благотворное, но самое непродолжительное влияние на крутой нрав князя. На первых порах он велел выкатить крестьянам несколько бочек пенного вина, пожаловал по рублю всем дворовым, барски одарил бедный сельский причт за его услышанные молитвы, а на колокольне велел держать трехдневный звон. Робкий, запуганный и задавленный нуждою священник не смел ослушаться княжего приказа, и с приходской колокольни три дня сряду торжественнейшим звоном возвещалось миру рождение юного княжича. Но не прошло со дня этого великого события какой-нибудь одной недели, как старик начал опять раздражаться. В целой губернии он не находил человека, достойного быть восприемником его новорожденного сына, и, наконец, решил крестить *сам!* При всем своем смирении перед грозным вельможей сельский священник отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бесновался, бесновался, наконец один раз, грозный и мрачный как градовая туча, вышел из дома, взял за ворот зипуна первого попавшегося ему навстречу мужика, молча привел его в дом, молча же

поставил его к купели рядом со своей старшей дочерью и велел священнику крестить ребенка. Трепещущий священник совершил обряд.

– А теперь, любезный кум, – сказал князь, тотчас же после крещения, – вот тебе за твой труд по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послезавтра чтоб тебя, приятеля, и помину здесь не было, чтоб духу твоего здесь не пахло!

Оторопевший мужик повалился князю в ноги.

– Но помни, куманек, что если ты станешь жить так, что хоть какой-нибудь слух о тебе до меня дойдет, так я тебя, каналью... за ребро повешу!

Князь заскрипел зубами и сильно закачал за ворот своего кума.

Мужик опять упал ему в ноги, закричал:

– Милуйте, жалуйте! Милуйте, ваше сиятельство!

Приказание княжеское было исполнено в точности. Семья нечаянного восприемника новорожденного княжича, потихоньку голося и горестно причитывая, через день, оплаканная родственниками и свойственниками, выехала из родного села на доморощенных, косматых лошаденках и, гонимая страшным призраком грозного князя, потянулась от родных степей заволжских далеко-далеко к цветущей заднепровской Украине, к этой обетованной земле великорусского

крепостного, убежавшего от своей горе-горькой жизни.

Потешив свой обычай, князь сделался еще свирепее. Дня не проходило, чтоб удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, а случалось зачастую, что сам князь, собственной особой, присутствовал при исполнении этих жестоких истязаний и равнодушно чистил во время их свои розовые ногти. Народ трепетал и безмолвно-могильными тенями скользил около княжеских хором. С годами жестокость князя все усиливалась. В имении князя случалось, что один вешался, другой резался, третий бросался с высокой плотины в мутную вонючую воду тинистого, мелкого пруда. Имение князя стало местом всяческих ужасов; в народе говорили, что все эти утопленники и удушенники встают по ночам и бродят по княжьим палатам, стоная о своих душах, погибающих в вечном огне, уготованном самоубийцам. Эолова арфа, устроенная вверху большой башни княжеского дома, при малейшем ветерке наводила цепенящий ужас повсюду, куда достигали ее прихотливые звуки. Люди слышали в этих причудливых звуках стоны покойников, падали на колена, трясясь всем телом, молились за души умерших, молились за свои души, если бог не ниспошлет железного терпенья телу, и ждали своей последней минуты. Князь не из-

менялся. Он жил один, как владыка Морвены, никого не принимал и продолжал свирепствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умела предпринять: старалась только как можно реже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестного об умении князя управляться с людьмишками, приползла к нему на подводишке просить вступить за нее, вдову беззащитную, поучить и ее людишек дисциплине и уму-разуму.

– Федька Лапоток кучером со мной приехал, – жаловалась Коробочка, – прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть приедет и расскажет, какой страх дается глупому народу, – молилась добравшаяся пред княжьи очи помещица.

Вместо того, чтобы оскорбиться, что его считают образцовым секуном, одичавший князь выслушал Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велел ей ехать со своим Федькою Лапотком к конюшне. Больно высекли Лапотка, подняли отрезвоненного и посадили в уголок у двери.

– А ну-ка ее теперь, – спокойно буркнул князь, и прежде чем Коробочка успела что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать в глазах князя и всего его холопства.

Знали Коробочкины людишки, что страшен, для всех страшен дом княжеский! Дерзость и своевластие князя забыли всякий предел. Князь разгневался на вывезенную им из Парижа гувернантку своей дочери и в припадке бешенства бросил в нее за столом тарелкой. Француженка вскипела:

– Я не крестьянка ваша; вы не смеете... – сказала ему она.

Князь, давно отвыкший от всякого возражения, побагровел:

– Не смею? Я не смею!.. – проговорил он, свистнул своих челядинцев и, без всякого стеснения, велел несчастную девушку висечь.

Гувернантка схватила со стола нож и подняла его к своему горлу; верные слуги схватили ее сзади за руки. Спротивляться приказаниям князя никто не смел, да никто и не думал.

Упавшую в обморок гувернантку вырвали из рук молодой княжны, высекли ее в присутствии самого князя, а потом спеленали, как ребенка, в простыню и отнесли в ее комнату. Здесь держали ее спеленатую, пока зажили рубцы от розог, и, как ребенка же, кормили рожком и соской, а, наконец, когда следов наказания не было более заметно, ее со всеми ее пожитками отвезли на крестьянской подводе в ближайший город. Француженка обратилась к кому-то с жа-

любой, но ей посоветовали прекратить дело, так как в данном случае свои люди не могли быть свидетелями против князя. Могучий Орсал не повел ни усом, ни ухом: равнодушный, как вольтерьянец, к суду божескому, он знать не хотел ни о каком суде человеческом. По примеру наказанной француженки он вздумал высесть своего управителя, какого-то американского янки, и это было причиною собственной гибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, он смело открыл окно своего флигеля, окруженного княжескими людьми, красноречиво выставил перед собою два заряженных пистолета, пробежал никем не тронутый через оторопевшую толпу ликторов и, вскочив на стоявшую у коновязи оседланную лошадь земского, понесся на ней во всю мочь к городу. Посланная погоня, угрожаемая убедительными поворотами пистолетов беглеца, решила оставить опасную погоню и вернулась с пустыми руками.

Князь задыхался от ярости. Перед крыльцом и на конюшне наказывали гонцов и других людей, виновных в упуске из рук дерзкого янки, а князь, как дикий зверь, с пеною у рта и красными глазами метался по своему кабинету. Он рвал на себе волосы, швырял и ломал вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившиеся через окно до его слуха, только разжигали его бешенство.

Среди такого ужаса княгиня не выдержала и вошла к мужу.

– Князь! – позвала она тихо, остановившись у порога.

Возле княгини, тут же на пороге, стоял отворивший ей дверь, весь бледный от страха, любимый доезжачий князя, восемнадцатилетний мальчик Михайлушка, которого местная хроника шепотом называла хотя незаконным, но тем не менее, несомненно, родным сыном князя.

– А! Что! Кто вас звал? Кто вас пустил сюда? – закричал, трясясь и топая, старик.

– Я сама пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смеет не пустить к вам?

– Вон! Сейчас вон отсюда! – бешено заорал безумный князь и забарабанил кулаками.

– Князь! Вы опомнитесь – Сибирь...

Княгиня не успела договорить своей тихой речи, как тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у которого стоял князь, и молодой Михайлушка, зорко следивший за движениями своего грозного владыки, тяжело грохнулся к ногам княгини, защитив ее собственным телом от направленного в ее голову смертельного удара.

Князь закачался на ногах и повалился на пол. Бешеным зверем покатился он по мягкому ковру; из его

опененных и посиневших губ вылетало какое-то зверское рычание; все мускулы на его багровом лице тряслись и подергивались; красные глаза выступали из своих орбит, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покрывку. Все, что отличает человека от кровожадного зверя, было чуждо в эту минуту беснующемуся князю, сама слюна его, вероятно, имела все ядовитые свойства слюны разъяренного до бешенства зверя.

Княгиня спросила через порог воды и пошла со стаканом к мужу.

«Рррбуу», – рычал князь, закусив ковер и глядя на жену столбенеющими глазами; лицо его из багрового цвета стало переходить в синий, потом бледно-синий; пенная слюна остановилась, и рычание стихло. Смертельный апоплексический удар разом положил конец ударам арапников, свиставших по приказанию скоростижно умершего князя.

Бежавший княжеский управитель умел заставить проснуться тяжелые на подъем губернские власти; но суд божеский освободил суд людской от обязанности карать преступление опального вельможи. Спешно прибывшая из города комиссия застала князя на столе и откушала на его погребении.

Ни в чем не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась в имении, которое должны были насле-

довать ее сын и падчерица. Она не вмешивалась в управление приставленного опекуна, целый ряд лет никуда не выезжала, молилась, старилась, начинала чудить и год от года все становилась страннее и страннее. Михайлушку, которого молодая, хотя и весьма нежная натура вынесла жестокий удар, назначившийся княгине, она считала своим спасителем и пристрастилась к нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухим, и эта глухота постоянно не позволяла княгине забывать об оказанной ей этим человеком услуге. Михайлушка сделался избраннейшим любимцем и factotum³ стареющей в одиночестве княгини. Единственным ее развлечением, зимою и летом, было катанье по гладкой и ровной степи, но ко множеству развивавшихся в ней странностей она питала неодолимую боязнь к лошадям и могла ездить только с Михайлушкой. Поэтому Михайлушка главным образом состоял выездным кучером при ее особе. С ним княгиня ездила спокойно, с ним она отправляла на своих лошадях в Москву в гимназию подростшего князя Луку Аггеича, с ним, наконец, отправила в Петербург к мужниной сестре подростшую падчерицу и вообще была твердо уверена, что где только есть ее Михайлинька, оттуда далеки все опасности и невзгоды. Грязные языки, развязав-

³ Доверенное лицо (лат)

шиеся после смерти страшного князя и не знавшие истории малахитовой щетки, сочиняли насчет привязанности княгини к Михайлушке разные небывалые вещи и не хотели просто понять ее слепой привязанности к этому человеку, спасшему некогда ее жизнь и ныне платившему ей за ее доверие самую страстную, рабской преданностью.

Когда Михайлиньке минуло двадцать шесть лет, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дела в дальний ящик, обвенчала его с писаной красавицей, сенной девушкой Феней. Пять лет у молодого супружества не было детей, а потом явилась дочь Аннушка, и вслед за тем Михайлинька умер от простуды, поручив свою дочь и жену заботам и милостям совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась как можно добросовестнее выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержание, а маленькая Аня со второго же года была совсем взята в барский дом, и не только жила с княгинею, но даже и спала с нею в одной комнате. В это время молодой князь Лука Аггеич счастливо женился, получил место по дипломатическому корпусу и собирался за границу. Он приехал к матери с женою и трехлетним сыном Кириллом. Одинокая старушка еще более сиротела, отпуская сына в чужие края; князю тоже было

жалко покинуть мать, и он уговорил ее ехать вместе в Париж. Княгине жалко было и деревни, но все-таки она не захотела расстаться с сыном, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, к крайнему прискорбию ее матери, тоже увезла с собою. Через два года княгиню посетило новое горе: ее сын с невесткой умерли друг за другом в течение одной недели, и осиротелая, древняя старушка снова осталась и воспитательницей и главной опекушкой малолетнего внука.

Княгиня Ирина Васильевна в это время уже была очень стара; лета и горе брали свое, и воспитание внука ей было вовсе не по силам. Однако делать было нечего. Точно так же, как она некогда неподвижно оселась в деревне, теперь она засела в Париже и вовсе не помышляла о возвращении в Россию. Одна мысль о каких бы то ни было сборах заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой век, как живется», – говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о каких бы то ни было переменах в ее жизни.

Внука она отдала в один из лучших парижских пансионов, а к Ане пригласила учителей и жила в полной уверенности, что она воспитывает детей как нельзя лучше.

Дети росли, княгиня старилась и стала быстро поддаваться к гробу.

Восемнадцатилетний князь Кирилла Лукич смотрел молодцом, хотя и французом, Аня расцвела пышною розой.

Кроме того, чему Аню учили французские учителя и дьячок русской посольской церкви, она немало сделала для себя и сама. Старая княгиня не могла иметь сильного влияния на всестороннее развитие девушки. Она учила ее верить в верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запас сухих правил, заменявших для нее самой весь нравственный кодекс; любовалась красотой ее лица, очаровательною грациею стана, изяществом манер, и более ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положение ее в доме княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсем иначе и что на заботы княгини во всем полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нежное сердцем, честное до болезненности и беспредельно доверчивое. Начитавшись романтических писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмом, но при всем том она, однако, понимала свое положение и хотела смотреть в свое будущее не сквозь розовую призму. О семье своей Анна Михайловна знала очень мало. С тех пор, как ее маленьким дитятей вывезли за границу, раз в год, когда княгиня получала из имения бумаги,

прочитывая управительские отчеты, она обыкновенно говорила: «Твоя мать, Аня, здорова», и тем ограничивались сведения Ани о ее матери.

Когда девочке было шесть лет, княгиня, читая вновь полученный ею отчет, сказала: «Твоя мать, Аня, здорова, *и...*», и на этом *и* княгиня поперхнулась.

– И у тебя, Аня, родилась сестрица, – добавила она через несколько времени с досадою и вместе с таким удивлением, как будто хотела сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно как рада, что у нее есть сестрица.

– Маленькая? – спрашивала она у княгини.

– Очень, мой друг, маленькая, и зовут ее Дорушкой, – отвечала княгиня.

Аня так и запрыгала от этой радостной вести.

– Ах, какая это должна быть прелесть – эта Дорушка! – размышляла девочка целый день до вечера.

Ночью сквозь сон ей слышалось, что княгиня как будто дурно говорила о ее матери с своею старой горничной; будто упрекала ее в чем-то против Михайлиньки, сердилась и обещала немедленно велеть рассчитать молодого, белокурого швейцарца Траппа, управлявшего в селе заведенной князем ковровой фабрикой. Аня решительно не понимала, чем ее мать оскорбила покойного Михайлушку и зачем тут при

этой смете приходился белокурый швейцарец Трапп; она только радовалась, что у нее есть очень маленькая сестрица, которую, верно, можно купать, пеленать, нянчить и производить над ней другие подобные интересные операции. Через год еще—княгиня сказала:

– Ты, Аня, будь умница – не плачь: твоя мать, мой дружок, умерла.

– Умерла! – закричала Аня.

– Давно, мой друг, не плачь, не теперь, она давно уж умерла.

Аня все-таки горько плакала.

– А сестрица моя? – спрашивала она княгиню.

– Я велю, дружок, твою сестрицу прибрать; велю, чтоб ей хорошо было, – успокаивала княгиня.

Аня утешалась, что ее маленькой сестрице будет хорошо.

А между тем время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая из сострадания очень доброю и просвещенною женою нового управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестре очень милое детское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристрастилась к Дорушке; та ей взаимно, из своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладающим стремлением девочек стало

страстное желание увидаться друг с другом. Княгиня и слышать не хотела о том, чтобы отпустить шестнадцатилетнюю Аню из Парижа в какую-то глухую степную деревню.

– После моей смерти ступай куда хочешь, а при мне не делай глупостей, – говорила она Анне Михайловне, не замечая, что та в ее-то именно присутствии и делает самую высшую глупость из всех глупостей, которые она могла бы сделать.

Анна Михайловна, не выдавая ни одного мужчины, кроме своих учителей и двух или трех старых роялистских генералов, изредка навещавших княгиню, со всею теплотою и детскою доверчивостью своей натуры привязывалась к князю Кирилле Лукичу. Князь Кирилл, выросший во французской школе и пропитанный французскими понятиями о чести вообще и о честности по отношению к женщине в особенности, называл Аню своей хорошенькой кузиной и был к ней добр и предупредителен. Ане всегда очень нравилось внимание князя; ей с ним было веселее и как-то лучше, приятнее, чем со старушкой княгиней и ее французскими роялистскими генералами или с дьячком русской посольской церкви. Молодые люди вместе гуляли, катались, ездили за город; княгиня все это находила весьма приличным и естественным, но ей показалось совершенно неестественным, когда Аня,

сидя один раз за чаем, вдруг тихо вскрикнула, побледнела и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умела скрыть от княгини своей беременности. Княгиня, впрочем, ни в чем не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитание в небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два месяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболела и умерла. Кончаясь, она вручила Анне Михайловне давно приготовленную вольную для нее и Доры, банковый билет в десять тысяч рублей ассигнациями и долговое обязательство в такую же сумму, подписанное еще покойным князем Лукою и вполне обязательное для его наследника.

Поведение князя Кирилла по отношению к Анне Михайловне было весьма неодобрительно, как французы говорят: он *поступил как мужчина*. Аня теперь ясно видела, что князь никогда не любил ее и что она была ни больше, ни меньше, как одна из тысячи жертв, преследование которых составляет приятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни в чем не упрекала князя и не мешала ему избегать с нею встреч, которыми он еще так недавно очень дорожил и которых так горячо всегда добивался. Она ненавидела князя. В ее нежной душе оставалось к нему то

теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается в сердцах многих хороших женщин к некогда любимым людям, которым они обязаны всеми своими несчастьями.

Анна Михайловна просила князя только наведываться по временам о ребенке, пока его можно будет перевезти в Россию, и тотчас после похорон старой княгини уехала в давно оставленное отечество.

Тут же она взяла из деревни Дорушку, увезла ее в Петербург, открыла очень хорошенький модный магазин и стала работать.

Личные впечатления, произведенные сестрами друг на друга, были самые выгодные. Дорушка не была так образована, как Анна Михайловна; она даже с великим трудом объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенно понятлива. Благодаря внимательности и благоразумию бездетной и очень прямо смотревшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по летам, и Анна Михайловна нашла в своей маленькой сестрице друга, уже способного понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

В это время Анне Михайловне шел двадцатый, а Дорушке пятнадцатый год. Труды и заботы Анны Михайловны увенчались полным успехом: магазин ее приобретал день ото дня лучшую репутацию, здоро-

вье служило как нельзя лучше; Амур щадил их сердца и не шевелил своими мучительными стрелами: нечего желать было больше.

Так прошло три года.

В эти три года Анна Михайловна не могла добиться от князя трех слов о своем ребенке, существование которого не было секретом для ее сестры, и решила ехать с Дорушкой в Париж, где мы их и встречаем.

Они здесь пробыли уже около месяца прежде, чем столкнулись в Лувре с Долинским. Анна Михайловна во все это время никак не могла добиться аудиенции у своего князя. Его то не было дома, то он не мог принять ее. К Анне Михайловне он обещал заехать и не заезжал.

– Очень милый господин! Вежлив, как сапожник, – говорила Дорушка, непомерно раздражаясь на князя, которого Анна Михайловна всякий день с тревогою и нетерпением дожидалась с утра до ночи и все-таки старалась его оправдывать.

Наконец и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убедительное письмо, после которого тот назначил ей свидание у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не мог принять ее у себя и назначает ей свидание в ресторане, но от него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать в карман. Анна Михай-

ловна в назначенное время отправилась с Дорой к Вашету. Дорушка спросила себе чашку бульону и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеем князя.

Ее проводили в небольшую, очень хорошо меблированную комнату в бельэтаже.

Анна Михайловна опустилась на диван, на котором года четыре назад сживала веселая и доверчивая с этим же князем, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько, и смешно.

«Каково-то будет это свидание?»—подумала она с грустной улыбкой.

«Поговорим о деле, о *нашем ребенке*, и пожелаем друг другу счастливо оставаться».

В дверь кто-то слегка постучался.

«Это его стук», – подумала Анна Михайловна и отвечала: «Войдите».

Вошел расфранченный господин, совершенно незнакомый Анне Михайловне.

– Вы госпожа Прохорова? – спросил он ее чистейшим парижским языком.

– Я, – отвечала она.

– Вам угодно было видеть князя Сурского?

– Да, мне нужно видеть князя Сурского.

– Он не может лично видаться с вами сегодня. Анна Михайловна смешалась.

– Однако, надеюсь, он пригласил меня сюда!

– Да, это он, который вас пригласил сюда, но ручаюсь вам, madame, он здесь не будет. Вы, верно, знаете – князь помолвлен.

– Помолвлен! Нет, я этого не знала и не намерена искать чести узнавать его невесты, – говорила, торопясь и мешаясь, Анна Михайловна. – Скажите мне только одно: где и когда, наконец, я могу его видеть на несколько минут?

– Говоря поистине, я полагаю, *никогда*, – отвечал, вскидывая голову, француз. – Князь много дел таких покончил через меня и теперь уполномочил меня переговорить и кончить с вами. Я, его камердинер, к вашим услугам.

Француз развязно поклонился.

– Я вам не верю, – отвечала, вся вспыхнув, Анна Михайловна.

Камердинер развернул свою записную книжечку и показал листок, на котором рукою князя было написано:

«Я уполномочил моего камердинера, господина Рено, войти с госпожою Прохоровой в переговоры, которых она желает».

– Где мой ребенок? – резко спросила, роняя из рук записную книжку, Анна Михайловна.

– Умер, больше двух лет назад, – отвечал спокойно

господин Рено.

– Так вы скажите вашему князю, что я только это и хотела знать, – твердо произнесла Анна Михайловна и вышла из комнаты.

– Какая неслыханная дерзость! – воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, рассказала ей о своем свидании.

– Он пустой и ничтожный человек, – отвечала, краснея, Анна Михайловна и заплакала.

– О чем же, о чем это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписывают в кабак, в трактир какой-то, доверяют твои тайны каким-то французикам, лакеям, а ты плачешь! Разве в таких случаях можно плакать? Такой мерзавец может вызывать одно только пренебрежение, а не слезы.

– Не могу пренебрегать равнодушно.

– Ну, мсти!

– Я не умею мстить и не хочу. Я гадка сама себе, он мне просто жалок.

– Жалок!.. Да, очень жалок... Я бы с жалости ему разгрызла горло и плюнула бы в глаза его лакею.

– Дора, оставь меня лучше в покое!

Дорушка пожалала плечами, и они поехали в том омнибусе, в котором встретились у св. Магдалины с Долинским, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей из Москвы денежный вексель.

Глава третья

История в другом роде

Дед Долинского, полуполяк, полумалороссиянин, был киевским магистратским войтом незадолго до потери этим городом привилегий, которыми он пользовался по магдебургскому праву. Войт Долинский принадлежал к старой городской аристократии, как по своему роду, так и по почетному званию, и по очень хорошему, честно нажитому состоянию пользовался в заднепровской Украине очень почтенной известностью и уважением. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатический ум можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность старого войта. Сын такого отца, Игнатий Долинский не наследовал всех родительских качеств. Он был человек очень честный в буржуазном смысле этого слова, и даже неглупый, но ленивый, вялый, беспечный и ко всему совершенно равнодушный. Жена Игнатия Долинского, сиротка, выросшая «в племянницах» в одном русском купеческом доме, принадлежала к весьма немалочисленному разряду наших с детства забитых великорусских женщин, остающихся на целую жизнь безответными, сиротливыми детьми и молитвенницами за за-

толокший их мир божий. Игнатий Долинский неспособен был разбудить в своей безответно доброй жене ни смелости, ни воли, ни энергии. Выйдя замуж и рожая детей, она оставалась таким же сиротливым и бесхитростным ребенком, каким была в доме своего московского дяди и благодетеля. Жизнь в Киеве, на высоком Печерске, в нескольких шагах от златоверхой лавры, вечно полной богомольцами, стекающимися к родной святыне от запада, и севера, и моря, рельефнее всего выработала в характере Долинской одну черту, с детства спавшую в ней в зародыше. С каждым годом Ульяна Петровна Долинская становилась все религиознее; постилась все строже, молилась больше; скорбела о людской злобе и не выходила из церкви или от бедных. Нищие, странные и убогие были любимой средою Долинской, и в этой исключительной среде ее робкая и чистая душа старалась скрываться от мирских сует и треволнений.

Деньги для Долинской никогда не имели никакой цены, а тут, отдаваясь с годами одной мысли о житье по слову божию, она стала даже с омерзением смотреть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать в ее кармане, не перепрыгнув в дырявую суму проползшего тысячу верст мужичка или в хату к детям пьянствующего соседа-ремесленника. Рука Долинской давала и направо и на-

лево; муж смотрел на это филаретовское милосердие совершенно спокойно. Он не только не удерживал ее безмерно щедрую руку, но даже одобрял такое распоряжение имуществом.

– Моя Ульяна Петровна – ангел, – говорил он, благоговейно поднимая глаза к небу: – она истинная христианка, бессребреница, незлобивая.

Так и шли дела, пока состояния, оставленного войтом, доставало на удовлетворение щедрости его невестки; но, наконец, в городе стали замечать, что Долинские «начали приупадать», а еще немножко – и семья Долинских уж вовсе не считалась зажиточной. Ульяна Петровна все шла своею дорогой. Детей у Долинских было трое: два сына – Аристарх и Нестор и дочь Леокадия. Росли эти дети на полной свободе: мать и отец были с ними очень нежны, но не делали детское воспитание своею главной задачей. Из детей, однако, не выходило ничего дурного: они росли детьми нежными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила их всех ровно, одною чисто евангельскою любовью, но ближе двух других к ней был Нестор. Этот очаровательно красивый мальчик был страшно привязан к своей благочестивой матери и вследствие этой страстности сам пристрастился к ее образу жизни и занятиям. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивал он при первом дви-

жении матери в полночи; стоя на коленях, лепетал он за нею слова вдохновенных молитв Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивал долгий час монастырской полунощницы. И так всякий день. Весь дом, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми божьими», спит безмятежным сном, а как только раздается в двенадцать часов первый звук лаврского полиелейного колокола, Нестор с матерью становятся на колени и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людям и в разум истинный внити».

Подкрепленная усердной молитвой, Ульяна Петровна в три часа ночи снова укладывала Нестора в его постельку и сама спускалась в кухню, и с этой ранней поры там начиналось стряпанье ежедневно на сорок человек нуждающихся в пище. С шести часов утра в доме Долинских уже пили и ели, а Ульяна Петровна с этого часа позволяла себе снова искать своей духовной пищи. Сходят они с Нестором в лавру, в Великую церковь, или на Пещерах поклонятся останкам древних христианских подвижников, найдут по дороге кого-нибудь немощного или голодного, возьмут его домой, покормят, приютят и утешат. Приходит к чаю какой-нибудь странник, иногда немножко изувер, немножко лгун, немножко фанатик, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русский экземпляр, который не помнит, как и почему

еще с самого раннего детства.

Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, (Весьма мучительное свойство И многих добровольный крест).

Идут здесь рассказы о разных чудесных местах и еще более чудесных событиях. Горы, доли, темные леса дремучие, подземные пещеры, мрачные и широкие беспредельные степи с ковылем-травой, легким перекасти-полем и божьей птицей аистом «змеиистребителем»; все это так и рисуется в воображении с рассказов обутого в лапотки «человека божия», а надо всем этим серьезно возвышаются сухие, строгие контуры схимников, и еще выше лучезарный лик св. Николая, «скорого в бедах помощника», Георгий на белом, как кипень, коне, реющий в высоком голубом небе, и, наконец, выше всего этого свет, тот свет не вечерний, размышление о котором обнимает верующие души блаженством и трепетом.

Наслушавшись таких речей, Ульяна Петровна велит себе запрячь одноколочку, садится с Нестором и едет в Китаев или в Голосеев. Выедет Ульяна Петровна за город, пахнет на нее с Днепра вечной свежестью, и она вдруг оживится, почувствовав ласкающее дыхание свободной природы, но влево пробежит по зеленой муравке серый дымок, раздастся взрыв саперной мины, или залп ружей в летних бараках – и

Ульяна Петровна вся так и замрет. Не слабонервный страх, а какой-то ужас духовный охватывает ее при мысли о вражде человеческой, о силе и разрушении. То же самое чувствовала она при рассказе о всяком преступлении. «Бог с ними! Богу судить зло человеческое, а не людям. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашим умом судится» – говорила она, и никогда в целую свою жизнь не высказала ни одного суждения, никогда не хотела знать, если у нее что-нибудь крали.

– Никто не украл; зачем обижать человека! Взял кому нужно было; ну, и пошли ему бог на здоровье, – отвечала она на жалобы слуг, доводивших ей о какой-нибудь пропаже.

Кончилось тем, что «припадавший» дом Долинских упал и разорился совершенно. Игнатий Долинский покушал спелых дынь-дубровок, лег соснуть, встал часа через два с жестокою болью в желудке, а к полуночи умер. С него распочалась в городе шедшая с северо-запада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронив ни одной слезы на его могиле, и детям наказывала не плакать.

– Зачем, – говорила она, – его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тих и мирен будет путь его в селения праведных.

Точно Офелия, эта Шекспирова «божественная

нимфа» со своею просьбою не плакать, а молиться о нем, Ульяна Петровна совсем забыла о мире. Она молилась о муже сама, заставляла молиться за него и других, ездила исповедовать грехи своей чистой души к схимникам Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи известного провидца Парфения, от которой вдалеке был виден весь город, унывший под тяжелою тучею налетевшей на него невзгоды.

Картина была неприятная, сухая и зловещая: стоявшая в воздухе серая мгла задерживала все небо черным, траурным крепом; солнце висело на западе без блеска, как ломоть печеной репы с пригорелыми краями и тускло медной серединой; с пожелтевших заднепровских лугов не прилетало ни одной ароматной струи свежего воздуха, и вместо запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запах, как будто там где-то тлело и дымилось несметное количество слепого сена.

– Будет молиться, Ульянушка; пора тебе собираться в путь, – сказал Ульяне Петровне заставший ее на вечерней молитве старец.

Ульяна Петровна растолковала себе эти слова по-своему. Она посмотрела в угасшие очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговелась в лавре, причастилась в пещере св. Антония, по-

том соборовалась и через день скончалась. С нею и прекратилась в городе холера.

Дети Долинских остались одни, с одним деревянным домом, обремененным тяжелыми долгами. Аристарх, шестнадцати лет, пошел служить к купцу; сестру Леокадию взяла тетка и увезла куда-то к Ливнам, а Нестора, имевшего четырнадцать лет, призрел дядя, бедный брат Ульяны Петровны, добившийся кафедры в московском университете. Брат Ульяны Петровны был человек и добрый, и ученый, но слабый характером, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. В этом доме Нестор Долинский начал только учиться. Двадцати одного года он окончил курс гимназии, двадцати пяти вышел первым кандидатом из университета и тотчас поступил старшим учителем в одну из московских гимназий, а двадцати семи женился самым неудачным образом.

Нестор Игнатьевич Долинский во многих своих сторонах вышел очень странным человеком. Никто не сомневался, что он человек очень умный, чувствительный, но никто бы не умел продолжать его характеристику далее этих общих определений.

– Мой Сторя будет истинный инок божий, – говорила часто его мать, поглаживая сына по головке, обрекаемой под черный клобук.

Может быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиб-

лась. Может быть, ее кроткий красавец-сын и точно более всего обладал качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую наш народ считает приличною истинному иночеству. Он, вероятно, мог быть хорошим проповедником, утешителем и наставником страждущего человечества, которому он с раннего детства привык служить под руководством своей матери и которое оставалось ему навсегда близким и понятным; к людским неправдам и порокам он был снисходителен не менее своей матери, но страстная религиозность его детских лет скоро прошла в доме дяди. Он был, что у нас называется, «человек разноплетеный». Нарушаемый извне мир своего внутреннего Я он не умел врачевать молитвой, как его мать, но он и сам ничего не отстаивал, ни за что не бился крепко. Он никогда не жаловался ни на что ни себе, ни людям, а, огорченный чем-нибудь, только уходил к общей нашей матери-природе, которая всегда умеет в меру успокоить оскорбленное эстетическое чувство или восстановить разрушенный мир с самим собой. Жизнь в одном доме с придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лечить свою душу, возмущавшуюся против несправедливых и неделикатных поступков ее в отношении мужа.

В какой мере это портило характер Нестора Игна-

тьевича, или способствовало лучшей выработке одних его сторон насчет угнетения других – судить было невозможно, потому что Долинский почти не жил с людьми; но он сам часто вздыхал и ужасался, считая себя человеком совершенно неспособным к самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, после чистого нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила в нем тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи, откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности в постоянной борьбе с снисходительностью и любовью к человечеству и, наконец, болезненный разлад с самим собою, во всем мучительная нерешительность – безволие. Это последнее свойство своего характера Долинский очень хорошо сознавал, и оно-то приводило его в совершенное отчаяние. Во что бы то ни стало он хотел быть сильным господином своих поступков и самым безжалостным образом заставлял свое сердце приносить самые тяжелые жертвы не разуму, а именно решимости выработать в себе волю и решимость. Эти экспериментальные упражнения над собою до такой степени забили Нестора Долинского, что, классифицируя свое желание, он уже затруднялся разбирать, хочет ли он чего-нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что он должен этого хотеть. Это его

страшно пугало. Два-три страшных случая, в которых он, преследуя свою задачу, в одно и то же время поступал наперекор и своей воле и своим желаниям, повергали его в глубокую апатию – у него развивалась мизантропия.

В это время из самого хлебородного уезда хлебороднейшей губернии, в разлатом циновочном возке, приплыло в Москву почтенное семейство мелкопоместных дворян Азовцовых. Новоприбывшая фамилия состояла из матери, толстомясой барыни с седыми волосами, румяным лицом, черными корнетскими усиками и живыми черными же барсучьими глазами, напоминающими, впрочем, более глаза сваренного рака. Потом здесь были две девушки, дочери, Юлия и Викторина. Викторине всего шел пятнадцатый год, и о ней не стоит распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, из которого, при благоприятных обстоятельствах, могла выйти весьма милая женщина. Старшей ее сестре Юлии было полных девятнадцать лет. Это была небольшая черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, так себе, как в сказке сказывается, «девка-чернявка», или, как народ говорит, «птица-пигалица». Нрав у этой чернявки был самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. При-

том каждого из этих почтенных свойств в ней находилось по самой крупной дозе.

При столь почтенных свойствах характера «девица-чернявка» была довольно неглупа. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она, несомненно, владела всеми теми способностями ума, которые нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себе в жизни дорожку и сдвигать с нее других самым тихим и незаметным манером. Справедливость требует сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще в раннем детстве, в натуре было что-то доброе. Так она, например, не могла видеть, как бьют лошадь или собаку, и способна была заплакать при известии, что застрелился какой-нибудь молодой человек, особенно если молодому человеку благоразумно вздумалось застрелиться от любви, но... но сама любить кого-нибудь, кроме себя и денег... этого Юлия Азовцова не могла, не умела и не желала. У нее бывали и друзья, которые не могли иметь при ней никакого значения. Один такой ее Друг, некая бедная купеческая девушка Устинька, целые годы служила Юлии Азовцовой для сбрасывания на нее всякого сору и гадостей, и, благодаря ей, невинно утратила репутацию, столь важную в узеньком кружке бедного городишка.

Обстоятельства, при которых протекло детство, отрочество и юность Юлии Азовцовой, были таковы, что

рассматриваемая нами особь, подходя к данной поре своей жизни, не могла выйти не чем иным, как тем, чем она ныне рекомендуется снисходительному читателю. Она с самого раннего детства была полицейей и кормилицей целой семьи, в которой, кроме матери и сестры, были еще грызуны в виде разбитого параличом и жизнью отца и двух младших братьев. Состояние Азовцовых заключалось в небольшом наследственном хуторе, в котором, по местному выражению, было «два двора-гончара, а третий – тетеречник». Об отце Юлии Азовцовой с гораздо большей основательностью, чем о муже слесарши Пошлепкиной, можно было сказать, что он решительно «никуда не годился». Мать ее, у которой, как выше замечено, были черные рачьи глаза навывкате и щегольские корнетские усики, называлась в своем уезде «матроской». Она довольно побилась со своим мужем, определяя и перемещая его с места на место, и, наконец, произведя на свет Викториночку, бросила супруга в его хуторном тетеречнике и перевезла весь свой приплод в ближайший губернский город, где в то святое и приснопамятное время содержал винный откуп человек, известный некогда своим богатством, а ныне – позором и бесславием своих детей. Бабушка этого богача с бабушкой «матроски», как говорят, на одном солнышке чулочки сушили, и в силу этого сближающего обсто-

ательства «матроска» считала богача своим дяденькой. Радостно сретая некогда его коммерческое восхождение, она упросила его быть восприимчивым отцом Юлиньки. Коммерческая двойка, влезавшая в то время в онёрную фигуру, была честолюбива, как все подобные двойки, но еще не заелась поклонениями, была, так сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. В фигуре валета эта добродетельная карта сделалась матроскиным дядей и кумом, а когда три ограбленные валетом губернии произвели его в тузы, матроска, без всяких средств в жизни, явилась в его резиденцию. Главным и единственным ее средством в это время была «Юлочка», и Юлочка, ценою собственного глубокого нравственного развращения, вывезла на своих детских плечах и мать, и отца, и сестру, и братьев. Маленькой, пятилетней девочкой, всю в завиточках, в коротеньком платьице и обшитых кружевцами панталончиках, матроска отвезла ее в вертеп откупного туза и научила, как она должна плакать, как притворяться слабой, как ласкаться к тузу, как льстить его тузихе, как уступать во всем тузенятам. Выпущенная к рампе, Юлочка с первого же раза обнаружила огромные дипломатические и сценические дарования. Она лгала, как историк, и вернулась домой с тысячью рублей. С этих пор Юлочка была запродана ненасытному мамону и вер-

но поработала ему до седьмого пота. Начавшееся с этих пор христорадничанье и нищевродство Юлочки не прекращалось до того самого дня, в который мы встречаем ее въезжающей в разлатом возке с сестрою, матерью и младшим братом Петрушей в Москву. Много «девка-чернявка» натерпелась обид и горя в своей нищевродной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имевшая привычку поднимать лапу на каждого, кто боялся прогнать ее пред очами самого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свеженькое платьице, беспощадно испорченное Выдрю, но все сносила терпеливо. Благодетель замечал это и дарил Юлочке за одно испорченное платьице пять новых, но зато тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще делали предметом самых злобных насмешек. Юлочка все это слагала в своем сердце, ненавидела надменных богачей и кланялась им, унижалась, лизала их руки, лгала матери, стала низкой, гадкой лгуньей; но очень долго никто не замечал этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она из нее делает; и она только похваливала ее ум и расторопность. Духовного согласия у матери с дочерью, впрочем, вовсе не было. Оба эти паразита составляли плотный союз только тогда, когда дело шло о том, что-

бы тем или иным ловким фортеlem вымозжить что-нибудь у своих благодетелей. В остальное же время они нередко были даже открытыми врагами друг другу: Юла мстила матери за свои унижения—та ей не верила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее в искусстве лгать и притворяться. Вообще довольно смелая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замечая, что дочь не только пошла далее нее, не только употребляет против нее ее же собственное оружие, но даже самое ее, матроску, делает своим оружием. Вдруг туза стукнула кондрашка; все неожиданно перекрутилось, съехавшиеся из Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрели насмешливо на неутешные слезы матроски с Юлою и отделили им из всего отцовского наследства остальные визитные карточки покойного да еще что-то вроде трех стаметовых юбок. Видя, что с визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этом белом свете немного можно поделаться, матроска, по совету Юлоч-ки, снарядила возок и дернула в Белокаменную, где прочной оседлостью жили трое из детей покойного благодетеля. Ехали наши паразиты с тем, чтобы так-не-так, а уж как-нибудь что-нибудь да вымозжить у наследников, или, по крайней мере, добиться, чтобы они пристроили Викториночку и Петрушу.

– Я скажу им: помилуйте, ваш отец—мой дядя, вот его крестница; вам будет стыдно, если ваша тетка с просительным письмом по номерам пойдет. Должны дать; не могут не дать, каналы! – рассказывала она, собираясь идти к тузовым детям.

Юлочка молчала. Она верила, что мать может что-нибудь вымозжить, но ей-то, Юлочке, в этом было очень немного радости. Ей нужно было что-то совсем другое, более прочное и самостоятельное. Она любила богатство и в глаза величала тех богачей, от которых можно было чем-нибудь пощетиться; но в душе она не терпела всех, кто родом, племенем, личными достоинствами и особенно состоянием был поставлен выше и виднее ее, а выше и виднее ее были почти все. Юлочка понимала, что ей нужен прежде всего муж. Она знала, что в своих местах, на ней, «попрошайке», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозревала в своих местных кандидатах на звание мужей, да ей и не нужны были герои, точно так же, как ей не годились люди очень мелкие. Ей нужен был человек, которым можно было бы управлять, но которого все-таки и не стыдно было бы назвать своим мужем; чтобы он для всех казался человеком, но чтобы в то же время его можно было сделать слепым и безответным орудием своей воли.

Таким человеком ей показался Нестор Игнатьевич

Долинский, и она перевенчала его с собою.

Происшествие это случилось с Долинским в силу все той же его доброты и известной, несчастной черты его характера.

Дела Азовцовых устроились. Петрушу благодетели определили в пансион; на воспитание Викторинушки они же ассигновали по триста рублей в год, и на житье самой матроски с крестницей покойника назначили по шестисот. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поехали назад, а решились оставаться в Москве. Они знали, что «благодетели» от природы народ рассеянный, ветреный, забывчивый и требующий понуждения. Юлия Азовцова растолковала матери, что Викторинушка уж велика, чтобы ее отдавать в пансион; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле, чем за триста рублей, и учить ее дома.

– Таким образом, – говорила она, – вы сделаете экономию, и благодетели наши будут покойны, что деньги употребляются на то самое, на что они даны.

При этих соображениях вспомнили о брате Леокადии Долинской, с которой Юлия была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскиали; наговорили ему много милого о сестре, которая только с полгода вышла замуж; рассказали ему свое горе с Викторинушкой, которая так запоздала своим образо-

ванием, и просили посоветовать им хорошего наставника. Вечно готовый на всякую услугу, Долинский тотчас же предложил в безвозмездные наставники Викторине самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлия быстро встала, подошла к Долинскому, с одушевлением сжала в своих руках его руку и с глазами, полными слез, торопливо вышла из комнаты. Она казалась очень растроганной. Матроску это даже чуть было не сбilo с такту.

– Так, моя милейшая, нельзя-с держать себя, – говорила она, проводив Долинского, Юлочке. – Здесь не губерния, и особенно с этим человеком... Мы знакомы с его сестрой, так должны держать себя с ним совсем на другой ноге.

– Не беспокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ноге себя с кем держать, – отвечала Юлия.

Долинский начал заниматься с Викторинушкой и понемногу становился близким в семействе Азовцовых. Юлия находила его очень удобным для своих планов и всячески старалась разгадать, как следует за него братья вернее.

– Кажется, на поэзию прихрамливает! – заподозрила она его довольно скоро, разумея под словом *поэзия* именно то самое, что разумеют под этим словом практические люди, признающие только то, во что можно пальцем ткнуть. Заподозрила Юлия этот порок

за Долинским и стала за ним приглядывать. Сидит Долинский у Азовцовых, молча, перед топящеюся печкою. Юла тихо взойдет неслышными шагами, тихо сядет и сидит молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствия. Долинский встанет и извиняется. Это повторилось два-три раза.

– Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидеть вдвоем и молча.

Долинский конфузился. Он вообще был очень застенчив с женщинами и робел пред ними.

– Этак я не одна, и между тем никому не мешаю, – мечтательно досказала Юла. – Вы знаете, я ничего так не боюсь в жизни, как быть кому-нибудь помехою.

– Этого, однако, я думаю, очень нетрудно достигнуть, – отвечал Долинский.

– Да, нетрудно, как вы говорите, но и не всегда: часто поневоле должен во что-нибудь вмешиваться и чему-нибудь мешать.

– Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имеют какой-нибудь особый смысл! Я, право, так глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

– Нет, я... ничего не думаю, – отвечал Долинский.

– То-то, уж хоть бы нам не мешали, а то где нам, грешным! – замечала с тою же снисходительной улыбкой Юлия.

В таких невинных беседах Юлия тихо и незаметно шла к сближению с Долинским, заявляясь ему особенно со стороны смиренности и благопокорности. Долинский, кроме матери и тетки, да сестры, не знал женщин. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое внимание. Юлии и это обстоятельство было известно, и его она тоже приняла к сведению и надлежащему соображению. Тонкостей особенных, значит, было не надо, и они могли оказать более вреда, чем пользы. Нужен был один ловкий подвод, а затем смелые вариации поэффектнее, и дело должно удасться.

Не прошло двух месяцев со дня их первого знакомства, как Долинский стал находить удовольствие сидеть и молчать вдвоем с Юлией; еще долее они стали незаметно высказывать друг другу свои молчаливые размышления и находить в них стройную гармонию. Долинский, например, вспоминал о своей благословенной Украине, о старом Днепре, о наклонившихся крестах Аскольдовой могилы, о набережной часовне Выдубецкого монастыря и музыкальном гуле лаврских колоколов. Юлочка тоже и себе начинала упражняться в поэзии: она вздумала о кисельных берегах своей мелкопоместной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракичках, под которыми в полдневный жар отдыхают идущие в отпуск отечественные воины; о ку-

кушке, кукующей в губернаторском саду, и белом купидоне, плачущем на могиле откупщика Сыропятова, и о прочих сим подобных поэтических прелестях. Если истинная любовь к природе рисовала в душе Долинского впечатления более глубокие, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природе была настолько сильнее деланной тоски Юлии, насколько грандиозные и поражающие своим величием картины его края сильнее тщедушных, неизменных, черноземно-вязких картин, по которым проводила молочные воды в кисельных берегах подшпоренная фантазия его собеседницы, то зато в этих кисельных берегах было так много топких мест, что Долинский не замечал, как ловко тускарские пауки затягивали его со стороны великодушия, сострадания и их непонятных высоких стремлений. Юлочка зорко следила за своей жертвой и, наконец, после одной беседы о любви и о Тускари, решила, что ей пора и на приступ. Вскоре после такого решения, в один несчастливейший для Долинского вечер, он застал Юлию в самых неутешных, горьких слезах. Как он ее ни расспрашивал с самым теплейшим участием—она ни за что не хотела сказать ему этих горьких слез. Так это дело и прошло, и кануло, и забылось, а через месяц в доме Азовцовых появилась пожилая благородная девушка Акси́нья Тимофеевна, и тут вдруг, с речей этой злополуч-

ной Аксиньи Тимофеевны оказалось, что Юлия давно благодетельствовала этой девушке втайне от матери, и что горькие слезы, которые месяц тому назад у нее заметил Долинский, были пролиты ею, Юлией, от оскорблений, сделанных матерью за то, что она, Юлия, движимая чувством сострадания, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимофеевну, отдала ей заложить свой единственный меховой салоп, справленный ей благодетелями. Выстрел попал в цель. С этих пор Долинский стал серьезно задумываться о Юлочке и измышлять различные средства, как бы ему вырвать столь достойную девушку из столь тяжелого положения.

Выпущенная по красному зверю Аксинья Тимофеевна шла верхним чутьем и работала как нельзя лучше; заложённая шуба тоже служила Юлии не хуже, как Кречинскому его бычок, и тепло прогревала бесхитростное сердце Долинского. Юлия Азовцова, обзрев поле сражения и сообразив силу своей тактики и орудий с шаткой позицией атакованного неприятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомневалась, что, как по нотам, разыграет всю свою хитро сконструированную пьесу.

«Нашла дурака», – думала матроска и молчала, выжидая, что из всего этого отродится.

– Этот агнец кроткий в стаде козьем, – шептала До-

линскому Аксинья Тимофеевна, указывая при всяком удобном случае на печальную Юлию.

– И нет достойной души, которая исторгла бы этого ангела, – говорила она в другой раз. – Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятого декабря (многими замечено, что это – день особенных несчастий) вечером Долинский завернул к Азовцовым. Матроски и Викторинушки не было дома, они пошли ко всенощной, одна Юлия ходила по зале, прихотливо освещенной красным огнем разгоревшихся в печи Дров.

– Что вы это... хандрите, кажется? – спросил ее, садясь против печки, Долинский.

– Нет, Нестор Игнатьевич... некогда мне хандрить; у меня настоящего горя...

Юлочка прервала речь проглоченною слезою.

– Что с вами такое? – спросил Долинский. Юлия села на диван и закрыла платком лицо. Плечи и грудь ее подергивались, и было слышно, как она силится удержать рыдания.

– Да что с вами? Что у вас за горе такое? – доби- вался Долинский.

Раздались рыдания менее сдержанные.

– Не подать ли вам воды?

– Д... д... да... и... те, – судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинский пошел в другую комнату и вернулся со свечою и стаканом воды.

– Погасите, пожалуйста, свечу, не могу смотреть, – простонала Юлия, не отнимая платка.

Долинский дунул, и картина осталась опять при одном красном, фантастическом полусвете.

– А, а, ах! – вырвалось из груди Юлии, когда она отпила полстакана и откинулась с закрытыми глазами на спинку дивана.

– Вы успокойтесь, – проронил Долинский.

– Могила меня одна успокоит, Нестор Игнатьич.

– Зачем все представлять себе в таком печальном свете?

Юлия плакала тихо.

– Полжизни, кажется, дала бы, – говорила она тихо и не спеша, – чтоб только хоть год один, хоть полгода... чтоб только уйти отсюда, хоть в омут какой-нибудь.

– ну, что же, подождите, мы поищем вам места. О чем же так плакать?

– Никуда меня, Нестор Игнатьич, не пустят: нечего об этом говорить, – произнесла, сделав горькую гримасу, Юлия и, хлебнув глоток воды, опять откинулась на спинку дивана.

– Отчего же не пустят?

Юлия истерически засмеялась и опять поспешно

проглотила воды.

– От любви... от нежной любви... к... к... арендной статье, – произнесла она, прерывая свои слова порывами к истерическому смеху, и, выговорив последнее слово, захохотала.

Долинский сорвался с места и бросился к дверям в столовую.

– Ос... остань... останьтесь! – торопливо процедила, заикаясь, Юлия. – Это так... нич... ничего. Позвольте мне еще воды.

Долинский принес из столовой другой стакан; Юлия выпила его залпом и приняла свое положение.

Минут десять длилась пауза. Долинский тихо ходил по комнате, Юлия лежала.

– Боже мой! Боже мои! – шептала она, – хоть бы...

– Чего вам так хочется? – спросил, остановившись перед ней, Долинский.

– Хоть бы булочник какой женился на мне, – закончила Юлия.

– Какие вы нынче странности, Юлия Петровна, говорите!

– Что ж тут, Нестор Игнатьич, странного? Я очень хорошо знаю, что на мне ни один порядочный человек не может жениться, а другого выхода мне нет... решительно нет! – отвечала Юлия с сильным напряжением в голосе.

– Отчего же нет? И отчего, наконец, порядочный человек на вас не женится?

– Отчего? Гм! Оттого, Нестор Игнатьич, что я нищая. Мало нищая, я побирашка, христорадница, *лгунья*; понимаете—*лгунья*, презренная, гадкая *лгунья*. Вы знаете, в чем прошла моя жизнь? – в лганье, в нищевроде, в вымаливаньи. Вы не сумеете так поцеловать своей невесты, как я могу перецеловать руки всех откупщиков... пусть только дадут хоть по... пяти целковых.

– О, господи! Что это вы на себя за небылицы возводите, – говорил сильно смущаясь Долинский.

– Что это вас так удивляет! *Это мой честный труд*; меня этому только учили; меня этому теперь учат. Ведь я же дочь! *Жизнью обязана*; помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинский молча ходил, что-то соображая и обдумывая.

– Теперь пилить меня замужеством! – начала как бы сама с собою полупшепотом Юлия. – Ну, скажите, ну, за кого я пойду? Ну, я пойду! Ну, давайте этого дурака:

пусть хоть сейчас женится.

– Опять!

– Да что же такое! Я говорю правду.

– Хороший и умный человек, – начала Юлочка, – когда узнает нас, за сто верст обежит. Ведь мы ложь, мы,

Нестор Игнатъич, самая воплощенная ложь! – говорила она, трепеща и приподнимаясь с дивана. – Ведь у нас в доме все лжет, на каждом шагу лжет. Мать моя лжет, я лгу, Викторина лжет, все лжет... мебель лжет. Вон, видите это кресло, ведь оно также лжет, Нестор Игнатъич! Вы, может быть, думаете, шелки или бархаты там какие закрыты этим чехлом, а выйдет, что дерюга. О, боже мой, да я решительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вам еще не гадки?

Долинский постоял с секунду и, ничего не ответив, снова заходил по комнате. Юлинька встала, вышла и через несколько минут возвратилась со свечой и книгой.

– Темно совсем; я думаю, скоро должны придти ото всенощной, – проговорила она и стала листать книжку, с очевидным желанием скрыть от матери и сестры свою горячую сцену и придать картине самый спокойный характер.

Она перевернула несколько листков и с болезненным усилием даже рассмеялась.

– Послушайте, Нестор Игнатъич, ведь это забавно

Вообрази: я здесь одна,
Меня никто не понимает;
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.

– Нет, это не забавно, – отвечал Долинский, остановившись перед Юлинькой.

– Вам жаль меня?

– Мне прискорбна ваша доля.

– Дайте же мне вашу руку, – попросила Юлинька, и на глазах ее замигали настоящие, искренние, художественные слезы.

Долинский подал свою руку.

– И мне жаль вас, Нестор Игнатьич. Человеку с вашим сердцем плохо жить на этом гадком свете.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

– Я и не желаю жить очень хорошо.

– Да, вы святой человек! Я никогда не забуду, сколько вы мне сделали добра.

– Ничего ровно.

– Не говорите мне этого, Нестор Игнатьич. Зачем это говорить! Узнавши вас, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свет и тени, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

– Полноте, бога ради!

– И полюбила вас... не как друга, не как брата, а... (Долинский совершенно смутился). – Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнее сжала ее в своих руках и со слезами в голосе договорила, – а как

моего нравственного спасителя и теперь еще, может быть, в последний раз, ищу у вас, Нестор Игнатьич, спасения.

Юлинька встала, близко придвинулась к Долинскому и сказала:

– Нестор Игнатьич, спасите меня!

– Что вы хотите сказать этим? Что я могу для вас сделать?

– Нестор Игнатьич!.. Но вы ведь не рассердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Долинский сделал головою знак согласия.

– Мы можем платить за уроки Викторины; вы не верьте, что мы так бедны... а вы... не ходите к нам; оставьте нас. Я вас униженно, усердно прошу об этом.

– Извольте, извольте, но зачем это нужно и какой предлог я придумаю?

– Какой хотите.

– И для чего?

– Для моего спасения, для моего *счастья*. Для моего *счастья*, – повторила она и засмеялась сквозь слезы.

– Не понимаю! – произнес, пожав плечами, Долинский.

– И не нужно, – сказала Юлия.

– Я вас стесняю?

– Да, Нестор Игнатьич, вы создаете мне новые му-

ки. Ваше присутствие увеличивает мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, как ведет меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Что это за загадки у вас сегодня?

— Загадки! От нищенки благодетели долг требуют.

— Ну-с!

— Я ведь вот говорила, что я привыкла целовать откупщицьи руки... ну, а теперь один благодетель хочет приучить меня целовать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!.. Это ужасно!

— Нестор Игнатьич, мы нищие.

— Ну, надо работать... лучше отказать себе во всем.

— Вы забываете, Нестор Игнатьич, что мы *ничего* не умеем делать и ни в *чем* не желаем себе отказывать.

— Но ваша мать, наконец!

— Мать! Моя мать твердит, что я *обязана ей жизнью* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконец, ведь она же не слепая, в самом деле, Нестор Игнатьич! Ведь она ж видит, в какие меня ставят положения.

Долинский заходил по комнате и вдруг, круто повернув к Юлиньке, произнес твердо:

— Вы бы хотели быть моею женою?

— Я! — как бы не поняв и оторопев, переспросила

Юлинька.

– Ну, да; я вас откровенно спрашиваю: лучше было бы вам, если бы вы теперь были моею женою?

– Вашей женой! Твоей женой! Это *ты* говоришь – мне! Ты – мое божество, мой гений-хранитель! Не смейся, не смейся надо мною!

– Я не смеюсь, – отвечал ей Долинский. Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

– Тес, господа! господа! – заговорил за спиною Долинского подхалимственный голос Аксины Тимофеевны, которая, как выпускная кукла по пружинке, вышла как раз на эту сцену в залу. – Ставни не затворены, – продолжала она в мягко-наставительном тоне, – под окнами еще народ слоняется, а вы этак... Нехорошо так неосторожно делать, – прошептала она как нельзя снисходительнее и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая в первый раз и без репетиции новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленным театральным эффектом, Долинский был совершенно обманут. Сконфуженный неожиданным страстным порывом Юлочки и еще более неожиданным явлением Аксины Тимофеевны, он вырвался из горячих Юлочкиных объятий и прямо схватился за шапку.

– Боже мой! Аксиныя Тимофеевна все видела! Она

первая сплетница, она всем все разболтает, – шептала между тем, стоя на прежнем месте, Юлочка.

– Что ж такое? Это все равно, – пробурчал Долинский. – Прощайте.

– Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

– Нет, прощайте.

Долинский ничего не слушал и убежал домой. По выходе Долинского Юлинька возвратилась назад в зал, остановилась среди комнаты, заложила за затылок руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

– Вот уж именно что можно чести приписать, – заговорила, тихо выползая из темной комнаты, Аксинья Тимофеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

– Фу, как вы всегда перепугаете со своим ползанием!

– Однако, сделайте же ваше одолжение: что же он обо мне подумает? – говорила Юлиньке ночью матроска, выслушав от дочери всю сегодняшнюю вечернюю историю в сокращенном рассказе.

– А вам очень нужно, что он о вас подумает? – отвечала презрительно, смотря через плечо на свою мать, Юлинька.

– Нужно или не нужно, но ведь я же, однако, не торгую моими детьми.

– Не торгуйте! Молчите уж, пожалуйста!

– Торгую! – крикнула азартно матроска.

– Ну, так *заторгайте*, если будете глупы, – отвечала спокойно Юлия.

Одним словом, Долинский стал женихом и известил об этом сестру.

«Да спасет тебя господь бог от такой жены, – отвечала Долинскому сестра. – Как ты с ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и бессердечную девчонку. Она вся ложь, и ты с нею никогда не будешь счастлив».

Долинскому в первые минуты показалось, что в словах сестры есть что-то основательное, но потом показалось опять, что это какое-нибудь провинциальное предубеждение. Он не хотел скрывать это письмо и показал его Юлиньке; та прочла все от строки до строки со спокойным, ясным лицом, и, кротко улынувшись, сказала:

– Вот видишь, в каком свете я должна была казаться. Верь чему хочешь, – добавила она со вздохом, возвращая письмо.

«Не умею высказать, как я рада, что могу тебе послать доказательство, что такое твоя невеста, – писала Долинскому его сестра через неделю. – Вдобавок ко всему она вечно была эффектница и фантазерка и вот повралась самым достойным образом. Прочи-

тай ее собственное письмо и, ради всего хорошего на свете, бога ради не делай несчастного шага».

При письме сестры было приложено другое письмо Юлиньки к той самой приятельнице, которая всегда служила для нее помойной ямой.

«Я наконец выхожу замуж, – писала Юлинька между прочим. – Моя нежная родительница распорядилась всем по своему обыкновению и сама без моего ведома дала за меня слово, не считая несколько нужным спросить мое сердце. Через месяц, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущий муж мой человек очень неглупый и на хорошей дороге; но ужасно не развит, и мы с ним не пара ни по чему. Живя с ним, я буду исполнять мой долг и недостаток любви заменю заботой о его развитии, но жизнь моя будет, конечно, одно сплошное страдание. Любить его, увы, я, разумеется, не могу. Как я понимаю любовь, так любят один раз в жизни; но... я, может быть, привыкну к нему и помирюсь с грустной необходимостью. Моя вся жизнь, верно, жертва и жертва – и кому? Что он? Что видит в нем моя мать и почему предпочитает его всем другим женихам, которые мне здесь надоедают, и между которыми есть люди очень богатые, просвещенные и с прекрасным светским положением? Я просто не умею понять ничего этого и иду, яко овца, на заклание».

Долинский запечатал это письмо и отослал его Юлиньке; та получила его за обедом, и как взглянула, так и остолбенела.

– Что это? – спросила ее матроска, поднося к своим рачьим глазам упавшее на пол письмо. «Милая Устя!» – прочла она и сейчас же воскликнула: «А! верно, опять романтические сочинения!»

– Оставьте! – крикнула Юлинька и, вырвав из рук матери письмо, торопливо изорвала его в лепесточки.

– Да уж это так! Героиня!

Юлинька накинула на себя капот и шубку.

– Куда? – крикнула матроска. – К милому? Обниматься? Теперь прости, мол, голубчик!

– А хоть бы и обниматься! – отвечала, проходя, Юлинька и исчезла за дверью.

– Ты у меня. Викторина, смотри! – заговорила, стуча ладонью по столу, матроска. – Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змею, я тебя, шельму, пополам перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька в это время именно обнималась.

– Это была шутка, я нарочно хотела попытать мою глупенькую Устю, хотела узнать, что она скажет на такое вовсе не похожее на меня письмо; а они, сумасшедшие, подняли такой гвалт и тревогу! – говорила Юлинька, весело смеясь в лицо Долинскому.

Потом она расплакалась, упрекала жениха в подозрительности, довела его до того, что он же сам начал просить у нее прощения, и потом она его, как слабое существо, простила, обняла, поцеловала, и еще поцеловала, и столь увлеклась своею добротой, что пробыла у Долинского до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздний для нее час, с азартом вязала толстый шерстяной чулок. По сердитому стуку вязальных прутиков и электрическому трепетанию серого крысиного хвоста, торчавшего на матроскиной макушке, видно было, что эта почтенная дама весьма в тревожном положении. Когда у подъезда раздался звонок, она сама отперла дверь, впустила Юлочку, не сказав ей ни одного слова, вернулась в залу, и только когда та прошла в свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

– Ну, что ж? – спросила она, тяжело рассаживаясь на щупленьком креслице.

– Пожалуйста, не рвите чехла; его уж и так более чинить нельзя, – отвечала, мало обращая внимания на ее слова, Юлия.

– Не о чехлах, сударыня, дело, а о вас самих, – возвысила голос матроска, и крысиный хвостик закачался на ее макушке.

– Пожалуйста, беспокойтесь обо мне поменьше;

это будет гораздо умнее.

– Да-с, но когда ж этот болван, наконец, решится? Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу под ночной чепец, тихо сказала:

– Дней через десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищурив глаза, язвительно посмотрела на свою дочь и произнесла:

– Значит, уж спроворила, милая?

– Делайте, что вам говорят, – ответила Юлинька и, бросив на мать совершенно холодный и равнодушный взгляд, села писать Усте ласковое письмо о ее непростительной легковёрности.

– Готов Максим и шапка с ним, – ядовито проговорила, вставая и отходя в свою комнату, матроска.

Через месяц Юлинька женила на себе Долинского, который, после ночного посещения его Юлинькой, уже не колебался в выборе, что ему делать, и решил, что сила воли должна заставить его загладить свое увлечение. Счастья он не ожидал, и его не последовало.

Месяца медового у Долинского не было. Юлинька сдерживалась с ним, но он все-таки не мог долго заблуждаться и видел беду неминуемую. А между тем Юлинька никак не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ее закала не терпят, даже прези-

рают в мужчинах характеры искренние и добрые, и эффектный порок для них гораздо привлекательнее; а о том, чтобы щадить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончив одну комедию, она бросалась за другою и входила в свою роль. Мать и сестру она оставила при себе, находя, что этак будет приличнее и экономнее. Викторина, действительно, была полезна в доме, а матроска нужна. Первые слезы Юлиньки пали на сердце Долинского за визиты ее родственникам и благодетелям, которых Долинский не хотел и видеть. Матроска влетела и ощипала Долинского, как мокрого петуха.

– Этак, милостивый государь, со своими женами одни мерзавцы поступают! – крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинский сразу так и оторопел. Он сроду не слыхивал, чтобы женщина так выражалась.) – Ваш долг показать людям, – продолжала матроска, – как вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться с нею, как вор на ярмарке. Что, вы стыдитесь моей дочери, или она вам не пара?

– Я думаю, мой долг жить с женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что о нас думает?

– Покорно вас благодарю! Покорнейше-с вас благодарю-с! – замотав головою, разъярилась матроска. – Это значит – вам все равно, что моя дочь, что Любаш-

ка.

– Какая такая Любашка?

– Ну, что белье вам носила; думаете—не знаю?

– Фу, какая грязь!

– Да-с! А вы бы, если вы человек таких хороших правил, так не торопились бы до свадьбы-то в права мужа вступать, так это лучше бы-с было, честнее. А и тебе, дуре, ништо, ништо, ништо, – оборотилась она к дочери. – Рюмь, рюмь теперь, а вот, погоди немножко, как корсажи-то в платьях придется расставлять, так и совсем тебя будет прятать.

Долинский вскочил и послал за каретой. Юлинька делала визиты с заплаканными глазами, и своим угнетенным видом ставила мужа в положение весьма странное и неловкое. В откупном мире матроскиных благодетелен Долинский не понравился.

– Какой-то совсем неискательный, – отозвался о нем главный благодетель, которого Юлинька поклепала ухаживанием за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

– Своих отрях, учительшек, умеете примечать, а людей, которые всей вашей семье могут быть полезны, отталкиваете, – наступала она на Долинского.

Юлинька в глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать внимания на эти грубые выходы грубой женщины. Но на самом деле каждый

из этих маневров всегда производился по непосредственной инициативе и подробнейшим инструкциям самой Юлиньки. По ее соображениям, это был хороший и верный метод обезличить кроткого мужа, насколько нужно, чтобы распорядиться по собственному усмотрению, и в то же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и в удобную минуту немножко поптстить его, так, чтобы не она, а он бы выгнал матроску и Викторинушку из дома. Роды первого ребенка показали Юлии, что муж ее уже обшколен весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, без материного посредства, может обращаться с ним как ей угодно. Дней через двенадцать после родов, она вышла с сестрою из дома, гуляла очень долго, наелась султанских фиников и, возвратясь, заболела. Тут у нее в этой болезни оказались виноватыми все, кроме ее самой: мать, что не удержала; акушерка – что не предупредила, и муж, должно быть, в том, что не вернул ее домой за уxo.

– Я же чем виноват? – говорил Долинский.

– Вы ничем не виноваты!.. – крикнула Юлинька. – А вы съездили к акушеру? Расспросили вы, как держаться жене? Посоветовались вы... прочитали вы? Да прочитали вы, например, что-нибудь о беременной женщине? Вообще позаботились вы? Позаботились? Кому-с, я вас спрашиваю, я всем этим обязана?

– Чем? – удивлялся муж.

– Чем?.. – Ненавистный человек! Еще он спрашивает: *чем?*.. Только с нежностями своими противными умеет лезть, а удержать жену от неосторожности – не его дело.

– Я полагаю, что это всякая женщина сама знает, что через две недели после родов нельзя делать таких прогулок, – отвечал Долинский.

– Это у вас, ваши киевские тихони все знают, а я ничего не знала. Если б я знала более, так вы, наверно, со мною не сделали бы всего, что хотели.

– Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородные деяния-то! – подхватила из другой комнаты матроска.

– Ах, убирайтесь вы все вон! – закричала Юлия. Долинский махал рукой и уходил к себе в конурку, отведенную ему для кабинета.

Автономии его решительно не существовало, и жизнь он вел прегорькую-горькую. Дома он сидел за работой, или выходил на уроки, а не то так, или сопровождал жену, или занимал ее гостей. Матроска и Юлинька, как тургеневская помещица, были твердо уверены, что супруги

Не друг для друга созданы:

Нет—*муж устроен для жены,*

и ни для кого больше, ни для мира, ни для себя самого даже. Товарищей Долинского принимали холодно, небрежно и, наконец, даже часто вовсе не принимали. Новые знакомства, завязанные Юлинькой с разными тонкими целями, не нравились Долинскому, тем более, что ради этих знакомств его заставляли быть «искательным», что вовсе было и не в натуре Долинского и не в его правилах. К тому же, Долинский очень хорошо видел, как эти новые знакомые часто бесцеремонно третировали его жену и даже нередко в глаза открыто смеялись над его тещей; но ни остановить чужих, ни обрезать своих он решительно не умел. А матроске положительно не везло в гостиной: что она ни станет рассказывать о своих аристократических связях – все выходит каким-то нелепешим вздором, и к тому же, в этом же самом разговоре вздумавшая аристократничать матроска, как нарочно, стериновую свечу назовет *стерлиновою*, вместо сиропа – *суроп*, вместо камфина – *канхин*. Съездила матроска один раз в театр и после целый год рассказывала, что она была в театре на *Эспанском дворянине*; желая похвалиться, что ее Петрушу примут в училище Правоведения, она говорила, что его примут в училище *Праловедения*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошел еще год, Долинский совсем стал незнава-

ем. «Брошу», – решал он себе не раз после трепок за неискательность и недостаток средств удовлетворению расширявшихся требований Юлии Петровны, но тут же опять вставал у него вопрос: «а где же твердая воля мужчины?» Да в том-то и будет твердая воля, чтобы освободиться из этой уничтожающей среды, решал он, и сейчас же опять запрашивал себя: разве более воли нужно, чтоб уйти, чем с твердостью и достоинством выносить свое тяжкое положение? А между тем явился другой ребенок. Долинский, в качестве отца двух детей, стал подвергаться сугубому угнетению и, наконец, не выдержал и собрался ехать с письмами жениных благодетелей в Петербург. Долинский собрался скоро, торопливо, как бы боялся, что он останется, что его что-то задержит. Приехав в Петербург, он никуда не пошел с письмами благодетелей, но освежился, одумался и в откровенную минуту высказал все свое горе одному старому своему детскому товарищу, земляку и другу, художнику Илье Макаровичу Журавке, человеку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смешному.

– Одно средство, братец мой, вам друг с другом расстаться, – отвечал, выслушав его исповедь, Журавка.

– Это, Ильюша, легко, брат, сказать.

– А сделать еще легче.

Долинский походил и в раздумье произнес:

– Не могу, как-то все это с одной, будто, стороны так, а с другой – опять.

– Пф! Да брось, братец, брось, вот и вся недолга, либо заплесневеешь, бабы ездить на тебе будут! – восклицал Журавка.

Поживя месяц в Петербурге, Долинский чувствовал, что, действительно, нужно собрать всю волю и уйти от людей, с которыми жизнь мука, а не спокойный труд и не праздник.

– Ну, положим так, – говорил он, – положим, я бы и решился, оставил бы жену, а детей же как оставить?

– Детей обеспечить, братец.

– Чем, чем, Илья Макарыч?

– Деньгами, разумеется.

– Да какие же деньги, где я их возьму?

– Пф! Хочешь десять тысяч обеспечения, сейчас, хочешь?

– Ну, ну, давай.

– Нет, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

– Да, давай, давай.

– Стало быть, хочешь?

– Да уж, конечно, хочу.

– Идет, и да будет тебе, яко же хочещи! Послезавтра у твоих детей десять тысяч обеспечения, супруге

давай на детское воспитание, а сам живи во славу бо-
жью; ступай в Италию, там, брат, итальяночки... уухх,
одними глазами так и вскипятит иная! Я тебе скажу,
наши-то женщины, братец, ведь, если по правде гово-
рить, все-таки, ведь, дрянь.

– А я думаю, – говорил на другой день Долинский
Журавке, – я думаю, точно ты прав, надо, ведь, это
дело покончить.

– Да как же, братец, не надо?

– То-то, я всю ночь продумал и...

– Ты, пожалуйста, уж лучше и не раздумывай.

Через два дня в руках Долинского был полис на его
собственную жизнь, застрахованную в десять тысяч
рублей, и предложение редакции одного большого из-
дания быть корреспондентом в Париже.

Долинский, как все несильные волею люди, старал-
ся исполнить свое решение как можно скорее. Он пе-
ременил паспорт и уехал за границу. Во все это время
он ни малейшим образом не выдал себя жене; изве-
щал ее, что он хлопочет, что ему дают очень выгодное
место, и только в день своего отъезда вручил Илье
Макаровичу конверт с письмом следующего содержа-
ния:

«Я, наконец, должен сказать вам, что я нашел себе
очень выгодное место и отправляюсь к этому месту,
не заезжая в Москву. Главная выгода моего места за-

ключается в том, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня более мучить и терзать. Я вас оставляю навсегда за ваш дурной нрав, жестокость и лукавство, которые мне ненавистны и которых я более переносить не могу. Ссориться и браниться я не приучен, а на великодушие, хотя бы даже в далеком будущем, я не надеюсь, и потому просто бегу от вас. На случай моей смерти оставляю моему изведенному другу полис страхового общества, которое уплатит моим детям десять тысяч рублей; а пока жив, буду высылать вам на их воспитание столько, сколько позволят мне мои средства.

Не выражаю вам никаких доброжелательств, чтобы вы не приняли их за насмешку, но ручаюсь вам, что не питаю к вам, ни к вашему семейству ни малейшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, как люди совершенно несходных характеров и убеждений, не мешали друг другу, и вы сами вскоре увидите, что для вас в этом нет решительно никакой потери. Я знаю, что я неспособен ни состроить себе служебную карьеру, ни нажить денег, с которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мне, я – в вас. Не будемте бесполезно упрекать ни себя, ни друг друга, и простимтесь, утешая себя, что перед нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мере, не лишенная того высшего права, которое называется свобо-

дою совести и которое, к несчастью, люди так мало уважают друг в друге. ***С.-Петербург Н. Долинский***».

Так покончилась семейная жизнь человека, встреченного Дорушкой уже после четырехлетнего его житья в Париже.

В Россию Долинский еще боялся возвращаться, потому что даже и из-за границы ему два или три раза приводилось давать в посольстве неприятные и тяжелые объяснения по жалобам жены.

Глава четвертая

Главные лица романа знакомятся ближе

Продолжаем прерванную повесть.

Дом, в котором Анна Михайловна со своею сестрой жила в Париже, был из новых домов rue de l'Ouest.⁴ В нем с улицы не было ворот, но тотчас, перешагнув за его красиво отделанные, тяжелые двери, открывался маленький дворик, почти весь занятый большой цветочной клумбой; направо была красивенькая клетка, в которой жила старая concierge,⁵ а налево дверь и легкая спиральная лестница. Через два дня после свидания с Прохоровыми, Долинский с не совсем довольным лицом медленно взбирался по этой ажурной лестнице и позвонил у одной двери в третьем этаже. Его ввели через небольшой коридорчик в очень просторную и хорошо меблированную комнату, переделенную густой шерстяной драпировкой.

По комнате, на диване и на стульях, лежали кучи лент, цветов, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столе были набросаны выкройки и узоры, пе-

⁴ Западной улицы (франц.)

⁵ Привратница (франц)

ред которыми, опустив в раздумье голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было иметь проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоит в этом положении не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимают ее голову.

При входе Долинского Анна Михайловна покраснела, как институтка, и сказала:

– Ах, извините бога ради, у нас такой ералашный беспорядок.

Долинский ничего не ответил на это, но, взглянув на Анну Михайловну, только подумал: «а как она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одета в простое коричневое платье с высоким лифом под душу, и ее черные волосы были гладко причесаны за уши. Этот простой убор, впрочем, шел к ней необыкновенно, и прекрасная наружность Анны Михайловны, действительно, могла бы остановить на себе глаза каждого.

– Пожалуйста, садитесь, сестры дома нет, но она сейчас должна вернуться, – говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

– Я, кажется, совсем не вовремя? – начал Долинский.

– А, нет! Вы, пожалуйста, не обращайтесь на это внимание, мы вам очень рады. Долинский поклонился.

– Доружка еще вчера вас поджидала. Вы курите?

– Курю, если позволите.

– Сделайте милость. Долинский зажег папироску.

– Дора все не дождется, чтобы помириться с вами, – начала хозяйка.

– Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрече?

– Да, сестра моя ужасно сконфужена.

– Это пресмешной случай.

– Ах, она такая...

– Непосредственная, кажется, – подсказал, улыбаясь, Долинский.

– Даже чересчур иногда, – заметила снисходительно Анна Михайловна. – Но вы не поверите, как ей совестно, что она наделала.

Долинский хотел ответить, что об этом даже и говорить не стоит, но в это время послышался колокольчик и звонкий контральт запел в коридорчике:

Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись, В день несчастья смирись, День веселья, верь, наступит.

– Вот и она, – сказала Анна Михайловна. На пороге показалась Дорушка в легком белом платье со своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по воле, со снятой с головы соломенной шляпой в одной руке и с картонкой в другой.

– А-а! – произнесла она протяжно при виде Долин-

ского и остановилась у двери. Гость встал со своего места.

– Стар... Стар... нет, все не могу выговорить вашего имени.

– Нестор, – произнес, рассмеявшись, Долинский.

– Да, да, есть Нестор-Летописец.

– То есть – был; но это во всяком случае не я.

– Я это уж сообразила, что вы, должно быть, совершенно отдельный, особенный Нестор. Ах, Нестор Игнатьич, я перед вами на колени сейчас опущусь, если вы меня не простите.

– Помилуйте, вы только заставляете меня краснеть от этих ваших просьб.

– О, если вы это без шуток говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродетелью.

– Уверяю вас, что я уж забыл об этом.

– В таком случае, Полканушка, дай лапу. Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили внимания ни Долинский, ни Дорушка, крепко и весело сжимавшие поданные друг другу руки.

– А моя сестра уж, верно, морщится, что мы дружимся, – проговорила Дора и, взглянув в лицо сестры, добавила, – так и есть, вот удивительная женщина, никогда она, кажется, не будет верить, что я знаю, что делаю.

– Ты знала, что делала, и тогда, когда рассуждала

о monsieur Долинском.

– Это в первый раз случилось, но, впрочем, вот видишь, как все хорошо вышло: теперь у меня есть русский друг в Париже. Ведь, мы друзья, правда?

– Правда, – отвечал Долинский.

– Вот видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что я делаю. Я женщина практичная – и это правда. Вы хотите маронов? – спросила она Долинского, опуская в карман руку.

– Нет-с, не хочу.

– Тепленькие совсем еще.

– Все-таки покорно вас благодарю.

– Зачем ты покупаешь эту дрянь, Дора? – вмешалась Анна Михайловна.

– Я совсем их не покупаю, это мне какой-то француз подарил.

– Какой это у тебя еще француз завелся?

– Не знаю, глупый, должно быть, какой-то, далеко-далеко меня провожал и все глупости какие-то врет. Завтракать с собой звал, а я не пошла, велела себе тут, на этом углу, в лавочке, маронов купить и пожелала ему счастливо оставаться на улице.

– Вот видите, как она знает, что делать, – произнесла Анна Михайловна. – Только того и ждешь, что налетит на какую-нибудь историю.

– Пустяки это, съедомое всегда можно брать, осо-

бенно у француза.

– Почему же особенно у француза?

– Потому что он, во-первых, глух, а, во-вторых, это ему удовольствие доставляет.

– И тебе тоже?

– Некоторое.

– А если этот француз тебе сделает дерзость?

– Не смеет.

– Отчего же не смеет?

– Так, не смеет – да и только. Вы давно за границей? – обратилась она опять к Долинскому.

– Скоро четыре года.

– Ой, ой, ой, это одуреть можно. Анна Михайловна засмеялась и сказала:

– Вы уж, monsieur Долинский, теперь нас извиняйте за выражения; мы, как видите, скоро дружимся и, подружившись, все церемонии сразу в сторону.

– Сразу, – серьезно подтвердила Дора.

– Да, у нас с Дарьей Михайловной все вдруг делается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдет два аршина лент купить, а мимоходом зайдет в церковь, да с кем-нибудь обвенчается и вернется с мужем.

– Нет-с, этого, душенька, не случится, – отвечала, сморщив носик, Дора.

– Ох, а все-таки что-то страшно, – шутила Анна Михайловна.

– Во-первых, – выкладывала по пальцам Дора, – на мне никогда никто не женится, потому что по множеству разных пороков я неспособна к семейной жизни, а, во-вторых, я и сама ни за кого не пойду замуж.

– Какое суровое решение! – произнес Долинский.

– Самое гуманное. Я знаю, что я делаю; не беспокойтесь. Я уверена, что я в полгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу – жить, жить и петь.

Дорушка подняла вверх ручку и пропела: Золотая волюшка мне милей всего. Не надо мне с волею в свете ничего.

– Вот, – начала она, – я почти так же велика, как Шекспир. У него Гамлет говорит, чтоб никто не женился, а я говорю – пусть никто не выходит замуж. Совершенно справедливо, что если выходить замуж, так надо выходить за дурака, а я дураков терпеть не могу.

– Почему же непременно за дурака? – спросил Долинский.

– А потому, что умные люди больше не будут жениться.

– Триста лет близко, как наш Гамлет положил зарок людям не жениться, а видите, все люди и женятся, и замуж выходят.

– Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистывает у них в лбах-то, – резонирова-

ла Дора. – Умный человек всегда знает, что он делает, а дураки – дураки всегда охотники жениться. Ведь, вы вот, полагаю, не женитесь?

– Нет-с, не женюсь, – отвечал, немного покраснев, Долинский.

– А-а, то-то и есть. Даже вон в краску вас бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женились? Оттого, что вы не хотите попасть в дураки?

– Нет, оттого, что я женат, – еще более покраснев и засмеявшись, отвечал Долинский.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнув со своего места, юркнула за драпировку.

Долинский обтирал выступивший у него на лбу пот и смеялся самым веселым, искренним смехом. Анна Михайловна сидела совершенно переконфуженная и ворочала что-то в своей рабочей корзинке. Щеки ее до самых ушей были покрыты густым пунцовым румянцем.

Секунды три длилась тихая пауза.

– Нет, это уж черт знает что такое! – крикнула из-за драпировки Дорушка голосом, в котором звучали и насилию сдерживаемый смех, и досада.

– Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что ты делаешь! – тихо проговорила с упреком Анна Михайловна.

Долинский опять рассмеялся и вслед за тем послышался несдержанный смех самой Доры. Анне Михайловне тоже изменила ее физиономия, она улыбнулась и с упреком проронила:

– Чудо, как умно!

– Что ж, «чудо, как умно!» — заговорила, появляясь между полами драпировки, смеющаяся Дора.

– Очень умно, — повторила Анна Михайловна.

– Да разве же я виновата, — оправдывалась Дора, — что настал такой век, что никак не напасешься? Кто их знает, как они так женятся, что это по ним незаметно! Ну, чего, ну, что это вы женились и не сказываете об этом приятном происшествии? — обратилась она к смеющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

– Да нет, это вы вышиваете, — продолжала она, махнув ручкой.

– Ну, не верьте.

– И не верю, — отвечала Дора. — Мне даже этак удобнее.

– Что это, не верить?

– Конечно; а то, господи, что же это в самом деле за напасть такая! Опять бы надо во второй раз перед одним и тем же господином извиняться. Не верю.

– Да совершенно не в чем-с извиняться. Вы мне только доставили искреннее удовольствие посмеять-

ся, как я давно не смеялся, – отвечал Долинский.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинского у себя отобедать, потом вместе ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, резва и весела. Долинский не заметил, как у него прошел целый день с новыми знакомыми.

– Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны? – спросил он ее, прощаясь.

– Ой, ой, и как еще! – отвечала за нее сестра.

– И тогда уж не смеетесь?

– Черной тучею смотрит.

– Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, так я вам доставлю удовольствие видеть себя в мрачном настроении, а теперь adieu, mon plaisir,⁶ спать хочу, – сказала Дорушка и, дружески взяв руку Долинского, закричала портьеру: «Откройте».

⁶ До свидания, моя радость (франц)

Глава пятая

Кое-что о чувствах

Прошел месяц, как наш Долинский познакомился с сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно в четыре часа, Долинский являлся к ним и они вместе обедали, вместе гуляли, читали, ходили в театры и на маленькие балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, со своими хлопотами о закупках для магазина, часто уклонялась от так называемого Дорою «шлянья» и предоставляла сестре мыкаться по Парижу с одним Долинским. Знакомство этих трех лиц в этот промежуток времени, действительно, перешло в самую короткую и искреннюю дружбу.

– Чудо, как весело мы теперь живем! – восклицала Дора.

– Это правда, – отвечал необыкновенно повеселевший Нестор Игнатьевич.

– А все, ведь, мне, всем обязаны.

– Ну, конечно-с, вам, Дарья Михайловна.

– Разумеется; а не будь вы такой пентюх, все могло бы быть еще веселее.

– Что ж я, например, должен бы делать, если б не

имел чина пентюха?

– Это вы не можете догадаться, что бы вы должны делать? Вы, милостивый государь, даже из вежливости должны бы в которую-нибудь из нас влюбиться, – говорила ему не раз, расшалившись, Дорушка.

– Не могу, – отвечал Долинский.

– Отчего это не можете? Как бы весело-то было, чудо?

– Да вот видеть чудес-то я именно и боюсь.

– Э, лучше скажите, что просто у вас, батюшка мой, вкуса нет, – шутила Дора.

– Ну, как тебе не стыдно, Дора, уши, право, вянут слушать, что ты только врешь, – останавливала ее в таких случаях скромная Анна Михайловна.

– Стыдно, мой друг, только красть, лениться да обманывать, – обыкновенно отвечала Дора.

Мрачное настроение духа, в котором Дорушка, по ее собственным словам, была *грозна и величественна*, во все это время не приходило к ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала час и другой, и потом вдруг разрешалась вопросом, показывавшим, что она все это время думала о Долинском.

– Скажите мне, пожалуйста, вы в самом деле жена-ты? – спросила она его однажды после одного такого раздумья.

– Без всяких шуток, – отвечал ей Долинский.

Дорушка пожалала плечами.

– Где же теперь ваша жена? – спросила она опять после некоторой паузы.

– Моя жена? Моя жена в Москве.

– И вы с ней не видались четыре года?

– Да, вот скоро будет четыре года.

– Что ж это значит? Вы с нею, вероятно, разошлись?

– Дора! – остановила Анна Михайловна.

– Что ж тут такого обидного для Нестора Игнатьича в моем вопросе? Дело ясное, что если люди по собственной воле четыре года кряду друг с другом не видятся, так они друг друга не любят. Любя—нельзя друг к другу не рваться.

– У Нестора Игнатьича здесь дела.

– Нет, что ж, Анна Михайловна, я, ведь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопрос Дарьи Михайловны меня нимало не смущает: я, действительно, не в ладах с моей женой.

– Какое несчастье, – проговорила с искренним участием Анна Михайловна.

– И вы твердо решились никогда с нею не сходитьсь? – допрашивала, серьезно глядя, Дора.

– Скорее, Дарья Михайловна, земля сойдется с небом, чем я со своей женой.

– А она любит вас?

– Не знаю; полагаю, что нет.

– Что ж, она изменила вам, что ли?

– Дора! Ну, да что ж это, наконец, такое! – сказала, порываясь с места, Анна Михайловна.

– Не знаю я этого, и знать об этом не хочу, – отвечал Долинский, – какое мне до нее теперь дело, она вольна жить, как ей угодно.

– Значит, вы ее не любите? – продолжала с прежним спокойствием Дорушка.

– Не люблю.

– Вовсе не любите?

– Вовсе не люблю.

– Это вам так кажется, или вы в этом уверены?

– Уверен, Дарья Михайловна.

– Почему же вы уверены, Нестор Игнатьич?

– Потому, что... я ее ненавижу.

– Гм! Ну, этого еще иногда бывает маловато, люди иногда и ненавидят, и презирают, а все-таки любят.

– Не знаю; мне кажется что даже и слова *ненавидеть* и *любить* в одно и то же время вместе не вяжутся.

– Да, рассуждайте там, вяжутся или не вяжутся; что вам за дело до слов, когда это случается на деле; нет, а вы попробовали ли себя спросить, что если б ваша жена любила кого-нибудь другого?

– Ну-с, так что же?

– Как бы вы, например, смотрели, если бы ваша жена целовала своего любовника, или... так, вышла что ли бы из его спальни?

– Дора! Да ты, наконец, решительно несносна! – воскликнула Анна Михайловна и, вставши со своего места, подошла к окошку.

– Смотрел бы с совершенным спокойствием, – отвечал Долинский на последний вопрос Дорушки.

– Да, ну, если так, то это хорошо! Это, значит, дело капитальное, – протянула Дора.

– Но смешно только, – отозвалась со своего места Анна Михайловна, – что ты придаешь такое большое значение ревности.

– Гадкому чувству, которое свойственно только пустым, щепетильно-самолюбивым людишкам, – подкрепил Долинский.

– Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего, однако, это гадкое чувство переживает любовь, а любовь не переживает его никогда?

– Но, тем не менее, все-таки оно гадко.

– Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотела пробовать им вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

– Ну, а тебе что до этого? – укоризненно качая головой, спросила Анна Михайловна.

– Мне? Мне ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не

желаю ему несчастья.

– Какие ты сегодня глупости говорила, Дора, – сказала Анна Михайловна, оставшись одна с сестрою.

– Это ты о Долинском?

– Да, разумеется. Почему ты знаешь, какая его жена? Может быть, она самая прекрасная женщина.

– Нет, этого не может быть: он не такой человек, чтобы мог бросить хорошую женщину.

– Да откуда ты его знаешь?

– Ах, господи боже мой, разве я дура, что ли?

– Ну, а бог его знает, какой у него характер?

– Детский; да, впрочем, какой бы ни был, это ничего не значит: ум и сердце у него хорошие, – это все, что нужно.

– Нет; а ты пресентиментальная особа, Аня, – начала, укладываясь в постель, Дорушка. – У тебя все как бы так, чтоб и волк наелся и овца б была целою.

– А, конечно, это всего лучше.

– Да, очень даже лучше, только, к несчастью, вот досадно, что это невозможно. Уж ты поверь мне, что его жена – волк, а он – овца. В нем есть что-то такое до беспредельности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, как будто жалкое, мужской ум, чувства простые и теплые, а при всем этом он дитя, правда?

– Да, кажется. Мне и самой иногда очень жаль его почему-то.

– А, видишь! Мы—чужие ему, да нам жаль его, а ей не жаль. Ну, что ж это за женщина? Анна Михайловна вздохнула.

– Страшный ты человек, Дора, – проговорила она после минутного молчания.

– Поверь, Аничка, – отвечала, приподнявшись с подушки на локоть, Дора, – что вот этакое твое мягко-сердечие-то иной раз может заставить тебя сделать более несправедливости. А по-моему, лучше кого-нибудь спасти, чем над целым светом охать.

– Я живу сердцем, Дора, и, может быть, очень дурно увлекаюсь, но уж такая я родилась.

– А я разве не сердцем живу, Аня? – ответила Дорушка и заслонила рукою свечку.

– А, ведь, он очень хорош, – сказала через несколько минут Дора.

– Да, у него довольно хорошее лицо, – тихо отвечала Анна Михайловна.

– Нет, он просто очаровательно хорош.

– Да, хорош, если хочешь.

– Какие-то притягивающие глаза, – произнесла после короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки, и молча задула свечу.

– Люблю такие тихие, покорные лица, – досказала она, ворочаясь впотьмах с подушкой.

– Ну, что это, Дора, сто раз повторять про одно и то

же! Спи, сделай милость, – отвечала ей Анна Михайловна.

Глава шестая

Роман чуть не прерывается в самом начале

Доходил второй месяц знакомству Долинского с Прохоровыми, и сестры стали собираться назад в Россию. Долинский помогал им в их сборах. Он сдал комиссионеру все покупки, которые нужно было переслать Анне Михайловне через все таможенные мытарства в Петербург; даже помогал им укладывать чемоданы; сам напрашивался на разные мелкие поручения и вообще расставался с ними, как с самыми добрыми и близкими друзьями, но без всякой особенной грусти, без горя и досады. Отношения его к обеим сестрам были совершенно ровны и одинаковы. Если с Дорушкой он себя чувствовал несколько веселее и сам оживлялся в ее присутствии, зато каждое слово, сказанное тихим и симпатическим голосом Анны Михайловны, веяло на него каким-то невозмутимым, святым покоем, и Долинский чувствовал силу этого спокойного влияния Анны Михайловны не менее, чем энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила более речи о браке Долинского, и только раз, при каком-то рассказе о браке, совер-

шившемся из благодарности, или из какого-то другого весьма почтенного, но бесстрастного чувства, сказала, что это уж из рук вон глупо.

– Но благородно, – заметила сестра.

– Да, знаешь, уж именно до подлости благородно, до самоубийства.

– Самопожертвование!

– Нет, Аня, – глупость, а не самопожертвование.

Из самопожертвования можно дать отрубить себе руку, отказаться от наследства, можно сделать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвование на целую жизнь, нет-с, это невозможно. Вот вы, Нестор Игнатьич, тоже не из сострадания ли женились? – отнеслась она к Долинскому.

– Нет, – отвечал Долинский, стараясь сохранить на своем лице как можно более спокойствия.

Анна Михайловна и Дорушка обе пристально на него посмотрели.

– Пожалуй, что и да, мой батюшка; от него и это могло стать, – произнесла несколько комическим тоном Дора.

Долинский сам рассмеялся и сказал:

– Нет, право, нет, я не так женился.

За день до отъезда сестер из Парижа Долинский принес к ним несколько эстампов, вложенных в папку

и адресованных: *Илье Макаровичу Журавке, по 11-й линии, дом Клемснца.*

– Скажите, какой скромник! – воскликнула Дорушка, прочитав адрес. – Скоро два месяца знакомы и ни разу не сказал, что он знает Илью Макаровича.

– Разве и вы его знаете?

– Кого? Журавку? Это наш друг, – отозвалась Анна Михайловна. – Я его кума, детей его крестила. У нас даже есть портреты его работы.

– Как же он мне ничего не говорил о вас?

– Из ревности, – вмешалась Дорушка. – Он, ведь, бедный Ильюша, влюблен в Аню.

– Право?

– По уши.

Последний день Долинский провел у Прохоровых с самого утра. Вместе пообедав, они сели в несколько опустевшей комнате, и всем им разом стало очень невесело.

– Ну, помните, дитя мое, все, чему я вас учила, – пошутила Дорушка, глядя Долинского по голове.

– Слушаю-с, – отвечал Долинский.

– Не хандрите, работайте и самое главное – непременно влюбитесь.

– Последнего только, самого-то главного, и не обещаю.

– Отчего?

– Смысла не вижу.

– Какой же вам надо смысл для любви? Разве любовь сама по себе не есть смысл, смысл жизни.

– Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имею давать в себе места этому чувству.

– Это право принадлежит каждому живущему.

– Не совсем-с. Например, в какой мере может пользоваться этим правом человек, обязанный жить и трудиться для своих детей?

– А, так и эта прелесть есть в вашем положении?

– У меня двое детей.

– Да, это кое-что значит.

– Нет, это *очень много* значит, – отозвалась Анна Михайловна.

– Н-н-ну, не знаю, отчего так уж очень много. Можно любить и своих прежних детей, и женщину.

– Да, если бы любовь, которая, как вы говорите, сама по себе есть цель-то, или главный смысл нашей жизни, не налагала на нас известных обязанностей.

– Что-то не совсем понятно.

– Очень просто! Всей моей заботливости едва достаёт для одних моих детей, а если её придется еще разделить с другими, то всем будет мало. Вот почему у меня и выходит, что нельзя любить, следует бежать от любви.

– Да это дико! Это просто дико!

– И очень честно, очень благородно, – вмешалась Анна Михайловна. – С этой минуты, Нестор Игнатьич, я вас еще более уважаю и радуюсь, что мы с вами познакомились. Дора сама не знает, что она говорит. Лучше одному тянуть свою жизнь, как уж бог ее устроил, нежели видеть около себя кругом несчастных, да слышать упреки, видеть страдающие лица. Нет, боже вас спаси от этого!

– Нет, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что говорите! Любовь, деньги, обеспечения... Фу, какой противоестественный винегрет! Все это очень умно, звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это *ce sont des*⁷ пустяки. Кто ведет свои дела умно и решительно, тот все это отлично уладит, а вы, милашечки мои, сами неудобь какая-то, оттого так и рассуждаете.

– Дарья Михайловна смотрит на все очень уж молодо, смело чересчур, снисходительно, – проговорил Долинский, относясь к Анне Михайловне.

– Крылышки у нее еще непомяты, – отвечала Анна Михайловна.

– Именно; а пуганая ворона, как говорит пословица, и куста боится.

– Вот, вот, вот! Это—самое лучшее средство разрешать себе все пословицами, то есть чужим умом! Ну,

⁷ Есть (франц.)

и поздравляю вас, и оставайтесь вы при своем, что *вороны куста боятся*, а я буду при том, что *соколу лес не страшен*. Ведь, это тоже пословица.

Долинский простился с Прохоровыми у вагона северной железной дороги, и они дали слово иногда писать друг Другу.

– Прощайте, пуганая ворона! – крикнула из окна Дорушка, когда вагоны тронулись.

– Летите, летите, мой смелый сокол.

Посмотрев вслед уносившемуся поезду, Долинский обернулся, и в эту минуту особенно тяжело почувствовал свое одиночество, почувствовал его сильнее, чем во все протекшие четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всех сторон. Он заехал на старую квартиру Прохоровых, чтобы взять оставленные там книги, и пустые комнаты, которые мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинский зашел в кафе, выпил два грога и, возвратясь домой, заснул крепким сном.

Опять он оставался в Париже один-одинешенек, утомленный, разбитый и безотрадно смотрящий на свое будущее.

«Вернуться бы уж, что ли, самому в Россию?» – подумал он, лежа на другое утро в постели.

«Да как вернуться? Того гляди, историю сделает.

Нет уж, – размышлял он, переворачивая, по своему обыкновению, каждый вопрос со всех сторон, – нужно иметь над собою власть и мыкать здесь свое горе. Все же это достойнее, чем не устоять против скуки и опять рисковать попасться в какую-нибудь гадкую историю».

Глава седьмая

Дора знает, что делает

Так по-прежнему скучно, тоскливо и одиноко прожил Долинский еще полгода в Париже. В эти полгода он получил от Прохоровых два или три малозначащие письма с шутивными приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, как доказательства, что там, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнят; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнее, что он оторван от родины и, как изгнанник какой-нибудь, не смеет в нее возвратиться без опасения для себя больших неприятностей.

Наконец, в один прекрасный день, Нестор Игнатьевич получил письмо, которое сначала его поразило, а потом весьма порадовало и дало ему толчок, которого давно ждала его робкая, нерешительная натура.

Письмо это с начала до конца было писано Дорушкой, без всякой сторонней приписки.

«Нестор Игнатьевич (писала Дора Долинскому)! Я никак не могу себе определить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу к вам это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моим и вашим друзьям, то есть Ане и Илье Макаровичу,

что вас непременно надо немедленно известить о том, о чем вы теперь узнаете из этого письма, то они подняли такой гвалт, что с ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться от всякого намерения посвятить вас в ваши же собственные дела. Но мой грешный разум и тайный голос моего сердца, которых я привыкла слушаться, склонили меня к преступлению против Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вам это письмо тайно от них и прошу вас это хорошенько запомнить.

Дело идет, конечно, о вас и заключается в том, что ваших детей, на воспитание которых вы высылаете деньги, уже четвертый год не существует на свете, а жена ваша тоже около года живет в Эмсе со старым богачом, откупщиком Штульцем. Дети ваши почти оба разом умерли от крупа, вскоре после вашего отъезда из Москвы, а у вашей жены за границую родился новый ребенок, на которого откупщик Штульц (какой-то задушевный приятель родственников вашей жены) дал очень серьезную сумму. Говорят, что этой суммой на целую жизнь прочно обеспечены и мать и ребенок.

Все эти аккуратно и достоверно собранные сведения привез нам Илья Макарович, который на днях ездил в Москву реставрировать какую-то вновь открытую из-под старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мне показались очень важными для вас, и я

настаивала, чтобы известить вас обо всем этом подробно; но и сестра, а за нею и милейший друг наш Журавка завопили: „нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, чтобы не *сразить* вас и не попасть самим в сплетники“. Я не могла с ними совладеть, но и не могла с ними согласиться, потому что все это, мне кажется, должно иметь для вас очень большое и, по моему, не совсем грустное значение. А для того, чтобы на свете не было сплетен, я думаю, самое лучшее дело – как можно более сплетничать. Это одно только может отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Нестор Игнатьевич, что я вас понимаю и не делаю ошибки, посылая к вам это конфиденциальное послание.

Пребываю к вам благосклонная Дора».

«P. S. Наш независимый Илья Макарович продолжает все более и более терять независимость от своей Грациэллы и приходит к нам довольно редко и то урывком».

В ответ на это письмо Долинский написал Доре: «Вы прекрасно сделали, Дарья Михайловна, что послушались самих себя и известили меня о происшествиях в моей семье. Сразить меня это никак не могло. Детей, разумеется, жалко, но если подумать, что их могло ожидать при семейном разладе родителей, то, может быть, для них самих лучше, что они умерли

в самые ранние годы. А что касается до моей жены, то я был всегда уверен, что она устроится самым лучшим и выгодным для нее образом. Я очень рад за нее и не сомневаюсь, что она поведет свои дела прекрасно. Для меня же теперь исчезают препятствия к возвращению на родину, и я через месяц надеюсь лично поблагодарить вас за оказанную мне услугу».

– Да ты, стало быть, в самом деле иногда знаешь, что делаешь, – сказала Анна Михайловна, когда Дора, получив письмо Долинского, сама открыла свой секрет.

Не прошло и месяца, как один раз, густыми осенними сумерками, Журавка влез в маленькую столовую Анны Михайловны, где сидели хозяйка и Дора, и закричал:

– Неудобь наше приехало.

– Долинский! Где же он? – спросили вместе обе сестры.

В эту же минуту в темной раме дверей показалась фигура без облика; но, взглянув на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разом закричали: «Нестор Игнатьевич, это вы?»

– Я, Анна Михайловна, – отвечал Долинский, целуя руки обеих сестер.

– Когда приехали?

– Сегодня в четыре часа.

– А теперь шесть; это очень мило, – похвалила Дорушка. – А мы вас здесь, знаете, как прозвали? «Неудобь». Долинский махнул рукой и сказал:

– Уж это хоть не спрашивай – Дарья Михайловна выдумала.

– Пф! Сразу, шельмец, узнал, – воскликнул Журавка, и тотчас же, нагнувшись к уху Анны Михайловны, прошептал:

– Вы нам, кумушка, чайшка дадите, а я тем часом тут слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; делишко есть у Пяти Углов.

– Летите, летите, – отвечала ему Анна Михайловна, и художник юркнул.

Обе хозяйки были необыкновенно радушны с Долинским. Они его внимательно расспрашивали, как ему жилось, что он думал, что видел?

Долинский давно не чувствовал себя так хорошо: словно он к самым добрым, к самым теплым родным приехал. Подали свечи и самовар; Дорушка села за чай, а Анна Михайловна повела Долинского показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помещалась в одном из лучших домов на Владимирском проспекте. Эта квартира состояла из шести прекрасных комнат в бельэтаже, с параднейшим подъездом с улицы. Самая большая комната с подъезда была занята магази-

ном. Здесь стояли шкапы, шифоньерки, подставки и два огромных, дорогих трюмо. За большим ореховым шкафом, устроенным по размерам этой комнаты и разделявшим ее на две ровные половины, помещался длинный липовый стол и около него шесть или восемь таких же чистеньких, некрашенных, липовых табуреточек. Половина этого отделения комнаты была еще раз переделена драпировкой из зеленого колена, за которой стояли три кровати, закрытые недорогими, серыми, байковыми одеялами. Здесь была спальня трех небольших девочек, отданных их родными Анне Михайловне для обучения мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя в это зашкафное отделение, на Долинского чрезвычайно благоприятно подействовала представившаяся ему картина. Над чистым липовым столом, заваленным кучею тюля, газа, лент и материи, висела огромная медная лампа, освещавшая весь стол. За столом, на табуретках, сидели четыре очень опрятные, милые девушки и три девочки, одетые, как институтки, в одинаковые люстриновые платья с белыми передниками. В одном конце стола, на легком деревянном кресле с решетчатой деревянной спинкой, сидела небольшая женская фигурка с взбитым хохлом и чертообразными мохрами наперед сетки.

– Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine, –

отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

Mademoiselle Alexandrine тотчас же, очень ловко и с большим достоинством, удостоила Долинского легкого поклона, и так произнесла свое *bonsoir, monsieur*,⁸ что Долинский не вообразил себя в Париже только потому, что глаза его в эту минуту остановились на невозможных архитектурных украшениях трех других девушек, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохол, и чертообразность сетки, всегда столь ненавистной русской швее «француженки».

Девочки были острижены в кружок и не могли усвоить себе заманчивой прически; но у одной из них волосенки на лбу были подрезаны и торчали, как у самого благочестивого раскольника. Это пострижение над нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху от воска, с помощью которого она старалась выстроить себе французский хохол на остриженной головке. В другом конце стола, против кресла, на котором сидела mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было место Доры. Никаких атрибутов старшинства и превосходства не было заметно возле этого места, даже подножная скамейка возле него стояла простая, де-

⁸ Добрый вечер, сударь (франц.).

ревянная, точно такая же скамейка, какие стояли под ногами девушек и учениц. Единственное преимущество этого места заключалось в том, что прямо против него, над черным карнизом драпировки, отделявшей спальню девочек, помещались довольно большие часы в черной деревянной рамке. По этим часам Даша вела рабочий порядок мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила выскакивать по дверному звонку и торчать в магазине, что, напротив, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому продажей и приемом заказов преимущественно заведывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидела за рабочим столом и дирижировала работой и выходила в магазин только в крайних случаях, так сказать, на особенно важные консилиумы. На ее же попечении были и три ученицы. Она не только имела за ними главный общий надзор, но она же наблюдала за тем, чтобы эти оторванные от семьи дети не терпели много от грубости и невежества других женщин, по натуре хотя и не злых, но утративших под ударами чужого невежества всю собственную мягкость. Кроме того, Дора, по воскресеньям и праздничным дням, учила этих девочек грамоте, счислению и рассказывала им, как умела, о боге, о людях, об истории и природе. Девочки боготворили Дарью Михайловну; взрослые мастерицы тоже очень ее любили и доверяли ей все свои

тайны, требующие гораздо большего секрета и внимания, чем мистерии иной светской дамы, или тайны тех бесплотных нимф, которые «так непорочны, так умны и так благочестия полны», что как мелкие потоки текут в большую реку, так и они катятся неуклонно в одну великую тайну: добыть себе во что бы то ни стало богатого мужа и роскошно пресыщаться всеми благами жизненного пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхождение. Из четырех девушек этой мастерской особенным расположением Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная девушка, у которой надо лбом не было французского хохла. Анне Анисимовне было от роду лет двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма грациозная блондинка, с голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губ, которые, в сочетании с немного выдающимся подбородком, придавали ее лицу выражение твердое, честное и решительное. Анна Анисимовна родилась крепостною девочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецком мосту в Москве и отпущена своей молодой барыней на волю. Имея девятнадцать лет, она совсем близко познакомилась с одним молодым, замотавшимся купеческим сыном и месяца через два приняла своего милого в свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку от ма-

газина, где работала. Три года она работала без отдыха, что называется, не покладая рук, денно и нощно. В эти три года бог дал ей трех детей. Анна Анисимовна кормила и детей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконец, кончил ее милый курс покаяния, получил радостное известие о смерти самодура-отца и удрал, обещая Анне Анисимовне не забывать ее за хлеб и соль, за любовь верную и за дружбу. О женитьбе, или хотя о чем-нибудь другом посущественнее словесной благодарности, и речи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чем подобном ни слова. Приходили с тех пор Анне Анисимовне не раз крутые времена с тремя детьми, и знала Анна Анисимовна, что забывший ее милый живет богато, губернаторов принимает, чуть пару в бане шампанским не поддает, но никогда ни за что она не хотела ему напомнить ни о детях, ни о старом долге. «Сам не помнит, так и не надо; значит, совести нет», – говорила она, и еще сильнее разрывалась над работой, которую и питала, и обогревала детей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ее мальчика в сыновья бездетная купеческая семья, обещала сделать его наследником всего своего состояния – Анна Анисимовна не отдала.

– Счастье у своего ребенка отнимаете, – говорили ей девушки.

– Ничего, – отвечала Анна Анисимовна, – зато совесть не отниму; не выучу бедных девушек обманывать, да детей своих пускать по миру.

Этой Анне Анисимовне Дорушка оказывала полнейшее уважение и своим примером заставляла других уважать.

Мертвая бледность некогда прекрасного, рано отцветшего лица и крайняя простота наряда этой девушки невольно остановили на себе мимолетное внимание Долинского, когда из противоположных дверей вошла со свечою в руках Дорушка и спросила:

– Правда, хорошо у нас, Нестор Игнатьич?

– Прекрасно, – ответил Долинский.

– Вот там мой трон, или, лучше сказать, мое президентское место; а это все моя республика. Аня, верно, уже познакомила вас с mademoiselle Alexandrine?

Долинский отвечал утвердительно.

– Ну, а я еще познакомлю вас с прочими: это – Полинька: видите, она у нас совсем перфская красна-девица. и если у вас есть хоть одна капля вкуса, то вы в этом должны со мной согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это, – продолжала Дора, – это Оля и Маша, отличающиеся замечательной неразрывностью своей дружбы и потому называемые «симпатичными попугаями» (девушки засмеялись); это все мел-

кота, пока еще не успевшая ничем отличиться, – сказала она, указывая на маленьких девочек, – а это Анна Анисимовна, которую мы все уважаем и которую советую уважать и вам. Она – самый честный человек, которого я знаю.

Долинский несколько смешался и протянул Анне Анисимовне руку; девушка торопливо положила на стол свою работу и с неловкой застенчивостью подавала Долинскому свою исколотую иголкою руку.

– Ну, пойдете дальше теперь, – позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту вошла Дора, и вслед за ними из мастерской послышался дружный, веселый смех нескольких голосов.

– Ужасные сороки и хохотушки, – проговорила, идя впереди со свечой, Дорушка, – а зато народ все искренний и пресердечный.

Тотчас за мастерской у Анны Михайловны шел небольшой коридор, в одном конце которого была кухня и черный ход на двор, а в другом две большие, светлые комнаты, которые Анна Михайловна хотела кому-нибудь отдать, чтобы облегчить себе плату за весьма дорогую квартиру. Посредине коридора была дверь, которую входили в ту самую столовую, куда Журавка ввел сумерками к хозяйкам Долинского. Эта комната служила сестрам в одно и то же время и за-

лой, и гостиной, и столовой. В ней были четыре двери: одна, как сказано, вела в коридор; другая—в одну из комнат, назначенных в наймы, третья в спальню Анны Михайловны, а Четвертая в уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бедно, но с большим вкусом и комфортно. Все здесь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тут для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться пред ними с какой-нибудь изящной стороны. Это жилье дышало той спокойной простотой, которая сразу дает себя чувствовать и которую, к сожалению, все реже и реже случается встречать в наше суетливое и суетное время.

– Очень хорошо у нас, Нестор Игнатьевич? – спрашивала Дора, когда все уселись за чай.

– Очень хорошо, – соглашался с нею Долинский.

Здесь нет мебели богатой,
Нет ни бронзы, ни картин,
И хозяин, слава богу,
Здесь не знатный господин —

проговорила Дора и с последними словами сердечно поцеловала свою сестру.

– Дорого только, – сказала Анна Михайловна.

– Э! Полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадим две

комнаты, так вовсе не будет дорого. За эти комнаты всякий охотно даст триста рублей в год.

– Это даже дешево, – сказал Долинский.

– Но ведь подите же с нами! – говорила Дора. – Наняли квартиру с тем, чтобы кому-нибудь эти две комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вот третий месяц не можем решиться. Мужчин боимся, женщин еще более, а дети на наше горе не нанимают; ну, кто же нам виноват, скажите пожалуйста?

– Ты, – отвечала Анна Михайловна, – сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсем для нас.

Из коридора показался Илья Макарович.

– А как вы, люди, мыслите? Я... как бы это вам помудренее выразиться? – начал, входя, художник.

– Крошечку выпил, – подсказала Дора.

– Да-с... в этом в самом густе.

– Об этом и говорить не стоило, – сказала, рассмеявшись, Дора.

Все взглянули на Илью Макаровича, у которого на щечках пылал румянец и волосы слиплись на потном челе.

– Нельзя, Несторка приехал, – проговорил, икнув, Журавка.

– Никак нельзя, – поддержала серьезно Дора. Все еще более засмеялись.

– Да уж так-с! – лепетал художник. – Вы сделайте милость... Не того-с... не острите. Я иду, бац на углу этакий каламбур.

– Хороший человек встречается, – сказала Дора.

– Да-с, именно хороший человек встречается к...

– И говорит, давай, говорит, выпьем! – снова под-сказала Дора.

– И совсем не то! Денкера приказчик, это... – Журавка икнул и продолжал: – Денкера приказчик, говорит, просил тебя привезти к нему; портретченко, говорит, жены хочет тебе заказать. Ну, ведь, волка, я думаю, ножки кормят; так это я говорю?

– Так.

– Я, разумеется, и пошел.

– И, разумеется, выпил.

– Ну, и выпили, и работу взял. Ведь нельзя же!.. А тут вспомнил, Несторка тут меня ждет! Друг, говорю, ко мне приехал неожиданно; позвольте, говорю, мне в долг пару бутылеченок шампанского. И уж извините, кумушка, две бутылеченки мы разопьем! Вот они, канашки французские! – воскликнул Журавка, торжественно вынимая из-под пальто две засмоленные бутылки.

Все глядели, посмеиваясь, на Илью Макаровича, на лице которого выражалось полнейшее блаженство опьянения.

– Хорошего, должно быть, о вас мнения остался этот Денкеров приказчик, – говорила Дора.

– А что же такое?

– Ничего; пришел говорить о заказе, сейчас натянулся и еще в долг пару бутыльченок выпросил.

– Да, две; и вот они здесь; вон они, заморские, за-смоленные... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писания не понимаете.

– Нет, понимаю, – шутила Дора. – Я понимаю, что дома вам нельзя, так вы вот...

– Тес! те, те, те... нет, ей-богу же для Несторки. Несторка... вам ведь он ничего, а мне он друг.

– И нам друг.

– Ну, нет-с, вы погодите еще! Я его от беды, от черта оторвал, а вы... нет... вы...

– «А вы... нет... вы», – передразнила, смешно кривляясь, Дора и добавила, – совсем пьян, голубчик!

– А это разве худо, худо? Ну, я и на то согласен; на то я художник, чтоб все худое делать. Правда, Нестор Игнатьич? Канашка ты, шельмец ты!

Журавка обнял и поцеловал Долинского.

– Вот видишь, – говорил, освобождаясь из дружеских объятий, Долинский, – теперь толкуешь о дружбе, а как я совсем разбитый ехал в Париж, так небось, не вздумал меня познакомить с Анной Михайловной и с mademoiselle Дорой.

– Не хотел, братишка, не хотел; тебе было нужно тогда уединение.

– Уединение! Все вздор, врет, просто от ревности не хотел вас знакомить с нами, – разбивала художника Дора.

– От ревности? Ну, а от ревности, так и от ревности. Вы это наверное знаете, что я от ревности его не хотел знакомить?

– Наверное.

– Ну, и очень прекрасно, пусть так и будет, – отвечал художник, налегая на букву *и* в умышленно портимом слове «прекрасно».

– Да, и очень прекрасно, а мы вот теперь с Нестором Игнатьичем вместе жить будем, – сказала Дора.

– Как это вместе жить будете?

– Так; Аня отдает ему те две комнаты.

– Да вы это со мною шутите, смеетесь или просто говорите? – спросил с эффектом Журавка.

– А вот отгадайте?

– Я и со своей стороны спрошу вас, Дарья Михайловна, вы это шутите, смеетесь, или просто говорите? – сказал Долинский.

Из шутки вышло так, что Анна Михайловна, после некоторого замешательства и нескольких минут колебания, уступила просьбе Долинского и в самом деле отдала ему свои две свободные комнаты.

– И очень прекрасно! – возглашал художник, когда переговоры кончилась в пользу перехода Долинского к Прохоровым.

– А прекрасно, – говорила Дора, – по крайней мере, будет хоть с кем в театр пойти.

– Прекрасно, прекрасно, – отвечал Журавка шутя, но с тенью некоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

После уничтожения принесенных Ильёй Макаровичем двух бутыльченок, он начал высказываться несколько яснее:

– Если б я был холостой, – заговорил он, – уж тебе б, братишка, тут не жить.

– Да вы же разве женаты?

– Пф! Не женат! Да ведь я же ей вексель выдал. Этого события между Ильёй Макаровичем и его Грациэллою до сих пор никто не ведал. Известно было только, что Илья Макарович был помешан на свободе любовных отношений и на итальяночках. Счастливый случай свел его где-то в Неаполе с довольно безобразной синьорой Луизой, которую он привез с собою в Россию, и долго не переставал кстати и некстати кричать о ее художественных талантах и страстной к нему привязанности. Поэтому известие о векселе, взятом с него итальянкою, заставило всех очень смеяться.

– Фу, боже мой! Да ведь это только для того, чтоб я не женился, – оправдывался художник.

Дорогою, по пути к Васильевскому острову, Журавка все твердил Долинскому:

– Ты только смотри, Нестор... ты, я знаю... ты человек честный...

– Ну, ну, говори яснее, – требовал Долинский.

– Они... ведь это я тебе говорю... пф! Это божественные души!.. чистота, искренность... доверчивость...

– Да ну, что ты сказать-то хочешь?

– Не... обеспокой как-нибудь, не оскорби.

– Полно, пожалуйста.

– Не скомпрометируй.

– Ну, ты, я вижу, в самом деле пьян.

– Это, друг, ничего, пьян я, или не пьян – это мое дело; пьян да умен, два угодя в нем, а ты им... бра-том будь. – Минут пять приятели проехали молча, и Журавка опять начал:

– Потому что, что ж хорошего...

– Фу, надоел совсем! Что, я сам будто не знаю, – отговорился Долинский.

– А знаешь, брат, так и помни. Помни, что кто за до-верие заплатит нехорошо, тот подлец, Нестор Игна-тьич.

– Подлец, Илья Макарович, – шутя отвечал Долин-

ский.

Оба приятеля весело рассмеялись и распростились у гостиницы, тотчас за Николаевским мостом.

На другой день, часу в двенадцатом, Долинский переехал к Прохоровым и прочно водворился у них на жительство.

– Вчера Илья Макарович целую дорогу все читал мне нотацию, как я должен жить у вас, – рассказывал за вечерним чаем Долинский.

– Он большой наш друг и, к несчастью его, совершенно слепой Аргус, – отвечала Дора.

– Он редкий человек и любит нас чрезмерно, – проговорила Анна Михайловна.

Глава восьмая

Пансионер

Нестор Игнатьевич зажил так, как еще не жилось ему ни одного дня с самого выхода из отцовского дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и всем окружающим совершенно его оставили в доме Анны Михайловны. Аккуратный, как часы, но необременительный, как несносная дисциплина, порядок в жизни его хозяек возвратил Долинского к своевременному труду, который сменялся своевременным отдыхом и возможными удовольствиями. Всякий день неизменно, в восемь часов утра, ему приносили в его комнату стакан кофе со свежю булкою; в два часа Дорушка звала его в столовую, где был приготовлен легкий завтрак, потом он проходил с Дорю (которой была необходима прогулка) от Владимирской до Адмиралтейства и назад; в пять часов садились за стол, в восемь пили вечерний чай и в двенадцать ровно расходились по своим комнатам.

В неделю раза два Долинский с Дорой бывали в театре. Дни у них проходили за делом, но вечерами они не отказывали себе в роздыхе и некоторых удовольствиях. Жизнь шла живо, ровно, без скуки, без задержки.

Пансионер совершенно привык к порядкам своего пансиона и удивлялся, как мог он жить иначе столько лет сряду!

Со смертью своей благочестивой матери, Нестор Игнатьевич разлучился со стройной домашней жизнью. Жизнь у дяди, в которой поверх всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластие его тетки, оставила в нем одни тяжелые воспоминания. Воспоминания о семейной жизни с женою и тещею, уничтожившими своею требовательностью всякую его свободу и обращавшими его в раба жениной суетности и своекорыстия, были еще отвратительнее. С тех пор Нестор Игнатьевич вел студенческую жизнь в Латинском квартале Парижа, то есть жил бездомником и отличался от прочих, истинных студентов только разве тем, что немножко чаще их просиживал вечера дома за книгою и реже таскался по ресторанам, кафе и балам Прадо. Впрочем, несмотря на это, Нестор Игнатьевич все-таки совсем отучился вовремя встать, вовремя лечь и в свое время погулять. Обращать светлый день в скучную ночь, и скучную ночь в бедный радостями день для него не составляло ничего необыкновенного. Он знал, что ему будет скучно на балу, потому что все удовольствия этого бала можно было всегда рассказать вперед – и все-таки он шел от скуки на бал и от скуки зевал здесь, пока не пустела

зала. От скуки он валялся в постели до самого вечера; между тем позарез нужно было изготовить срочную корреспонденцию, и потом вдруг садился, читал листы различных газет, брошюр и работал напролет целые ночи. Огромный расход сил и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась в сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, во все не обращали на себя внимания Долинского.

– Все равно, как ни живи, – все скучно, – говаривал он себе, когда нестройность жизни напоминала ему о себе утомлением, расстройством нервной системы, или неудачей догнать бесполезно потерянное время в работе.

Теперь он не мог надивиться, как в былое время у него недоставало досуга написать в неделю двух довольно коротких корреспонденции, когда нынче он свободно вел порученный ему целый отдел газеты и на все это не требовалось ни одной бессонной ночи. Нестор Игнатьевич не только успевал кончить все к шести часам вечера, когда к нему приходил рассылный из редакции, но даже и из этого времени у него почти всегда оставалось несколько свободных часов, которые он мог употребить по своему произволу. С шести часов он обыкновенно сидел в столовой и что-нибудь читал своим хозяйкам. Анна Михайловна любила чтение, хотя в последнее время за хлопотами и

недосугами читала далеко меньше, чем Дора. Эта перчитала бог знает сколько и, обладая невероятной памятью. обо всем имела собственное, иногда не совсем верное, но всегда вполне независимое мнение.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кроме Ильи Макаровича, у них почти никто не бывал, но к Долинскому кое-кто таки наворачивался, особенно из газетчиков. По семейному образу жизни, который Долинский вел у Прохоровых, его знакомые незаметным образом становились и знакомыми его хозяек. Газетчики для Дорушки были народ совершенно новый, и она очень охотно с ними знакомилась, но потом еще скорее начинала тяготиться этим знакомством и старалась от них отделяться. Особенно ее антипатией были два молодые газетчика: Спиридон Меркулович Вырвич и Иван Иванович Шпандорчук. Это были люди того нехитрого разбора, который в настоящее время не представляет уже никакого интереса. Нынче на них смотрят с тем же равнодушием, с каким смотрят на догорающий дом, около которого обломаны все постройки и огонь ничему по соседству сообщить не может; но было другое, *старое* время, года три-четыре назад, когда и у нас в Петербурге и даже частью в просторной Москве на Неглинной без этих людей, как говорят, и вода не святилась. Было это доброе, про-

стодушное время, когда в известных слоях петербургского общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь с Шпандорчуком или Вырвичем, и когда многими нехитрыми людьми ум и нравственные достоинства человека определялись тем, как этот человек относится к Шпандорчукам и Вырвичам. Такое положение заставляет нас несколько оторваться от хода событий и представить читателям образцы, может быть, весьма скудных размеров, выражающих отношение Доры, Анны Михайловны и Долинского к этому редкостному явлению петербургской цивилизации.

И Шпандорчук, и Вырвич в существе были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекие и бестактные. Оба они, прочитав известный тургеневский роман, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этот роман и при первом слове кстати сказала:

– Нет, вы совсем не нигилисты.

– Как это, Дарья Михайловна?

– Да так, не нигилисты, да и только.

– Как же, когда мы сами говорим вам, что мы в бога не веруем и мы нигилисты.

– Сами вы можете говорить что вам угодно, а все-таки вы не то, что тут названо нигилистом.

– Так что же мы такое по-вашему?

– Бог вас, господа, знает, что вы такое!

– Вот это-то и есть; вот такие-то люди, как мы, и называются нигилистами.

– Знаете, по-моему, как называются такие люди, как вы? – спросила, смеясь, Дора.

– Нет, не знаем; скажите, пожалуйста.

– А не будете сердиться?

– Сердиться глупо. Всякая свобода – наш первый принцип.

– Так видите ли, такие люди, как вы, называются *скучные люди*.

– А! А вам веселья хочется.

– Да не веселья, но помилуйте, что же это целую жизнь сообщать, в виде новостей, то, что каждому человеку давно очень хорошо известно: «А знаете ли, что мужик тоже человек? А знаете ли, что женщина тоже человек? А знаете ли, что богачи дают бедных? А знаете ли, что человек должен быть свободен? Знаете ли, что цивилизация навывдумывала пропасть вздор?» – Ведь это ж, согласитесь, скучно! Кто ж этого не знает, и какой же умный человек со всем этим давно не согласен? И главное дело, что все-то вы нас учите, учите... Право, даже страшно подумать, какие мы, должно быть, все умные скоро поделаемся! А в самом-то деле, все это нуль; на все это жизнь дунет – и все это разлетелось; все выйдет совсем не так, как написано в рецепте.

– Да вот, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

– Я! Боже меня сохрани! – отвечала Дора и как бы в доказательство тотчас же перекрестилась.

– Да что же дурного быть нигилисткой?

– Ничего особенно дурного и ничего особенно хорошего, только на что мне мундир? Я не хочу его. Я хочу быть свободным человеком, я не люблю зависимости.

– Да это и значит быть независимой. Вы сами не знаете, что говорите.

– Благодарю за любезность, но не верю ей. Я очень хорошо знаю, что я такое. У меня есть совесть и, какой случился, свой царь в голове, и, кроме их. я ни от кого и ни от чего не хочу быть зависимой, – отвечала с раздувающимися ноздревками Дора.

– Крайнее свободолюбие!

– Самое крайнее.

– Но можно найти еще крайнее.

– Например, можно даже стать в независимость от здравого смысла.

– А что ж! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою от здравого смысла, и так уж и слыть дураком или дурой, чем зависеть от этих господ, которые всех учат. Моя душа не дудка; и я не позволю на ней играть никому, – говорила она

в пылу горячих споров.

– Ну, а что же будет, если вы, в самом деле, наконец станете независимым от здравого смысла, – отвечали ей.

– Что? Свезут в сумасшедший дом. Все же, говори вам, это гораздо лучше, чем целый век слушать учителей. сбиться с толку и сделаться пешкой, которую, пожалуй, еще другие, чего доброго, слушать станут. Я жизни слушаюсь.

– Да ведь странны вы, право! Теорию ведь жизнь же выработала, – убеждали Дору.

– Нет-с; уж это извините, пожалуйста; этому я не верю! Теория—сочинение, а жизнь—жизнь. Жизнь— это то, что есть, и то, что всегда будет.

– Значит, у вас человек—раб жизни?

– Извините, у меня так: думай что хочешь, а делай что должен.

– А что же вы *должны*?

– Должна? Должна я прежде всего работать и как можно больше работать, а потом не мешать никому жить свободно, как ему хочется, – отвечала Дора.

– А не должны вы, например, еще позаботиться о человеческом счастье?

– То есть как же это о нем позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада: а всем, то есть целому человечеству – ничего

не могу сделать: ручки не доросли.

– Эх-с, Дарья Михайловна! – ручки-то у всякого доросли, да желанья мало.

– Не знаю-с, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умным, чтобы не поделаться еще худшей бестолочи.

– Так вы и решаете быть в сторонке?

– Мимо чего пойду, то сделаю – позволения ни у кого просить не стану, а то, говорю вам, надо быть очень умной.

– Нестор Игнатьич! Да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какие же, наконец, *ваши* на этот счет мнения? – затягивали Долинского.

– Это, господа, ведь все вещи решенные: «ищите прежде всего царствия Божия и правды Его, а вся сия приложатся вам».

– Фу ты, какой он! Так от него и прет моралью! Что это за царствие, и что это за правда?

– Правда? Внутренняя правда – *быть*, а не *казаться*.

– А царствие?

– Да что ж вы меня расспрашиваете? Сами возраст имате; чтите и разумеите.

– Это о небе.

– Нет, о земле.

– Обетованной, по которой потечет мед и млеко?

– Да, конечно, об обетованной, где несть ни раб, ни свободь, но всяческая и во всех один дух, одно желание любить другогю, как самого себя.

– Я за вас, Нестор Игнатьич! – воскликнула Дора.

– Да и я, и я! – шумел Журавка.

– И я, – говорили хорошие глаза Анны Михайловны.

– Широко это, очень широко, батюшка Нестор Игнатьич, – замечал Вырвич.

– Да как же вы хотите, чтобы такая мировая идея была узка, чтобы она, так сказать, в аптечную коробочку, что ли, укладывалась?

– То-то вот от ширины-то ее ей и не удастся до сих пор воплотиться-то; а вы поуже, пояснее формулируйте.

– Да любви мало-с. Вы говорите: идея не воплощается до сих пор потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нет, что все и во имя любви-то делается без любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Доры с Вырвичем и с Шпандорчуком обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпеть не могла этих споров, но, по своей страстной натуре, все-таки опять увлекалась и опять при первой встрече готова была спорить снова. Шпандорчук и Вырвич тоже не упускали случая сказать ей нарочно что-нибудь

почудней и снова втянуть Дорушку в споры. За глаза же они над ней посмеивались и называли ее «*философствующей вздержкой*».

Дора с своей стороны тоже была о них не очень выгодного мнения.

– Что это за люди? – говорила она Долинскому, – все вычитанное, все чужое, взятое напрокат, и своего решительно ничего.

– Да чего вы на них сердитесь? Они сколько видели, сколько слышали, столько и говорят. Все их несчастье в том, что они мало знают жизнь, мало видели.

– И еще меньше думали.

– Ну, думать-то они, пожалуй, и думают.

– Так как же ни до чего путного не додумаются?

– Да ведь это... Ах, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

– Это и неудивительно; но удивительно, как они Других учат, а сами как дети лепечут! Я по крайней мере нигде не видная и ничего не знающая человечка, а ведь это... видите... рассуждают совсем будто как большие!

Долинский и Дора вместе засмеялись.

– Нет, а вы вот что, Нестор Игнатьич, даром что вы такой тихоня, а прехитрый вы человек. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать перед ними? – говорила Дора.

– Да не в чем-с, когда вы и сами с ними справляетесь. Я би ведь так не соспорил, как вы.

– Отчего это?

– Да оттого, что за охота с ними спорить? Вы ведь их ничем не урезоните.

– Ну-с?

– Ну-с, так и говорить не стоит. Что мне за радость открывать перед ними свою душу! Для меня что очень дорого, то для них ничего; вас вот все это занимает серьезно, а им лишь бы слова выпускать; вы убеждаетесь или разубеждаетесь в чем-нибудь, а они много – что если зарядятся каким-нибудь впечатлением, а то все так...

– Это, выходит, значит, что я глупо поступаю, споря с ними?

Долинский тихо улыбнулся.

– Ммм! Какой любезный! – произнесла Дора, бросив ему в лицо хлебным шариком.

– Вы думаете, что для них ошибаться в чем-нибудь – очень важная вещь? Жизни не будет стоить; скажет: *ошибся*, да и дело к стороне; не изболит сердцем, и телом не похудеет.

– Ах, Нестор Игнатьич, Нестор Игнатьич! Кому ж, однако, верить-то остается? А ведь нужно же кому-нибудь верить, хочется, наконец, верить! – говорила задумчиво Дора.

– Веруйте смелее в себя, идите бодрее в жизнь; жизнь сама покажет, что делать: нужно иметь ум и правила, а не расписание, – успокаивал ее Долинский, и у них переменялся тон и заходила долгая, живая беседа, кончая которую Даша всегда говорила: за чем эти люди мешают нам говорить?

Долинский сам чувствовал, что очень досадно, за чем эти люди мешают ему говорить с Дорой, а эти люди являлись к ним довольно редко и раз от разу посещения их становились еще реже.

– Ну, какое сравнение разговаривать, например, с ними, или с простодушным Ильею Макаровичем? – спрашивала Дора. – Это – человек, он живет, сочувствует, любит, страдает, одним словом, *несет жизнь*; а те, точно кукушки, по чужим гнездам прыгают; точно ученые скворцы сверкочат: «Дай скворушке кашки!» И еще этакие-то кукушки хотят, чтобы все их слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свете! Вышло бы, что ни одной твари на земле нет глупее, как люди.

– Это мы вам обязаны за такое знакомство, – шутила она с Долинским. – К нам прежде такие птицы не залетали. А, впрочем, ничего – это очень назидательно.

– А не спорить я все-таки не могу, – говорила она в заключение.

Вырвич и Шпандорчук пробовали заводить с

Дорушкой речь о стесненности женских прав, но она с первого же слова осталась к этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть несколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла все эти статьи очень терпеливо и сказала:

– Пожалуйста, не носите мне больше этого сора.

– Неужто, – говорили ей, – вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за вас же, бьются за ваши же естественные права, которые у вас отняты?

– Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня их ровно столько же, сколько у вас, и отнять их у меня никто не может, – отвечала Дора.

– А вот не можете быть судьей.

– И не хочу; мне довольно судить самое себя.

– А других вы судите чужим судом?

– Нет, своим собственным.

– Спорщица! Когда ты перестанешь спорить! – останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личного участия в заходивших при ней длинных спорах.

– Не могу, Аня, за живое меня задевают эти молодые фразы, – горячо отвечала Дора.

– Но позвольте, ведь вы могли бы пожелать быть врачом? – возражал ей Шпандорчук.

– Могла бы.

– И вам бы не позволили.

– Совершенно напрасно не позволили бы.

– А все-таки вот взяли бы, да и не позволили бы.

– Очень жаль, но я бы нашла себе другое дело. Не только света, что в окне.

– Ну, хорошо-с, ну, положим, вы можете себе создать этакое другое независимое положение, а те, которые не могут?

– Да о тех и говорить нечего! Кто не умеет стать сам. того не поставите. Белинский прекрасно говорит, что том'. нет спасения, кто в слабости своей природы носит своего врага.

– Ах, да оставьте вы, сделайте милость, в покое вашего Белинского! Помилуйте, что же это, приговор, что ли. что сказал Белинский?

– В этом случае, да – приговор. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

– Что за Анна Анисимовна?

– А, это счастливое имя имеет честь принадлежать совершенно независимой швее из нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну в пример и охотно рассказывала ее несекретную историю.

– Вот видите! – говорили ей после этого рассказа развиватели, – а легко зато этой Анне Анисимовне?

– Ну, господа, простите меня великодушно! – за-

пальчиво отвечала Дора. – Кто смотрит, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тот ее не стоит и даже говорить о ней не должен.

– Да, женщина, почти каждая – раба; она раба и в семье, раба в обществе.

– Потому что она большей частью раба по натуре.

– То есть как это? Не может жить без опеки?

– *Не хочет-с*, не хочет сама себе помогать, продаст свою свободу за кареты, за положение, за прочие глупые вещи. Раба! Всякий, кто дорожит чем-нибудь больше, чем свободой, – раб. Не все ли равно, женщина раба мужа, муж раб чинов и мест, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры – все равны!

– Даже досюда идет!

– А еще бы! Ведь вы не смеете, быть не либералом?

– Потому что мы убеждены...

– Убеждены! – с улыбкой перебивала Дора. – Не смеете, просто не смеете. Не знаете, что делать; не знаете, за что зацепиться, если вас выключат из либералов. От жизни даже отрекаетесь.

– Вот то-то, Дарья Михайловна, – говорили ей, – не знаете вы, сколько труда в последнее время положено за женщину.

– Это правда. Только я, господа, об одном жалею, что я не писательница. Я бы все силы мои употребила

растолковать женщинам, что все ваши о нас попечения... просто для нас унизительны.

– Да что ж, Дарья Михайловна, *унизительно*, вы говорите? Позвольте вам заметить, что в настоящем случае вы несколько неосторожно увлеклись вашим самолюбием. Мы хлопочем вовсе и не о вас – то есть не только не о вас лично, а и вообще не об одних женщинах.

– ао себе – я это так и догадывалась.

– Да хотя бы-с и о себе! Пора, наконец, похлопотать и о себе, когда на нас ложится весь труд и тяжесть заработка; а женщины живут в тягость и себе, и другим – ничего не делают. Вопрос женский – общий вопрос.

– Да то-то вот; пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женским*.

– А как же прикажете его называть в вашем присутствии?

– *Барыньский, дамский* — одним словом, как там хотите, *только не женский*, потому что, если дело идет о том, чтобы русская женщина трудилась, так она, русская-то женщина, *monsieur* Шпандорчук, всегда трудилась и трудится, и трудится нередко гораздо больше своих мужчин. А это вы говорите о барышнях, о дамах – так и не называйте же ихнего вопроса нашим, *женским*.

– Мы говорим вообще о развитой женщине, которая

в наше время не может себе добыть хлеба.

– *Развившаяся до того, что не может добыть себе хлеба! Ха-ха-ха!..*

Дорушка неудержимо расхохоталась.

– Не смешите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши таким манером развившиеся женщины не в наше только время, *а во всякое время* будут без хлеба.

– Нет-с, это немножко не так будет. А впрочем, где же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и уж, разумеется, тоже и не судомойки же, а женщины?

– А-а! Это, господа, уж ищите, да-с, ищите, как голодный хлеба ищет. Женщина ведь стоит того, чтоб ее поискать повнимательнее.

– Но где-с? Где?

– А-а! Вот то-то и есть. Помните, как Кречинский говорит о деньгах: «Деньги везде есть, во всяком доме, только надо знать, где они лежат; надо знать, как их взять. Так точно и женщины: везде они есть, в каждом общественном кружочке есть женщины, *только нужно их уметь найти!*» – проговорила Дорушка, стучая внушительно ноготком по столу.

– Да и о чем собственно речь-то? – вмешался Долгинский. – Если об общем счастье, о мужском и о женском, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливее. если мы их завалим работой и заботой; а мужчина, который, действительно, *любит* женщину,

тот сам охотно возьмет на себя все тяжелейшее. Что там ни вводите, а любя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, так сказать, чтоб ей было лучше жить, а не буду производить над ней опыты, сколько она вытянет. Мне же приятно видеть ее счастливою и знать, что это я для нее устроил!

– Да-с, это прекрасно, только с одной стороны – со стороны поэзии; а вы забываете, что есть и другие точки, с которых можно смотреть на этот вопрос: например, с точки хлеба и брюха.

Долинский несколько смутился словом «брюхо» и отвечал:

– То есть вы хотите сказать: со стороны денег; ну, что же-с! Если женщина дает вам счастье, создает ваше благополучие, то неужто она не участвует таким образом в вашем труде и не имеет права на ваш заработок? Она ваш половинщик во всем – в горе и радостях. Как вы расцените на рубли влияние, которое хорошая женщина может иметь на вас, освежая ваш дух, поддерживая в вас бодрость, успокоивая вас лаской, одним словом – утешая вас своим присутствием и поднимая вас и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Может быть, не половина, а восемь десятых, даже все почти, что вы зарабатываете, будет принадлежать ей, а не вам, несмотря на то, что это будет заработано вашими руками.

– Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить в женщине вкус, то есть я хотел сказать, развить в ней любовь и к труду, и к свободе, чтоб она умела ценить свою свободу и ни на что ее не променивала.

– Да против этого никто ничего не говорит. Давай им бог и этой любви к свободе, и уменья честно достигать ее – одно другому ничуть не мешает.

– Кто ценит свою свободу, тот ни на что ее и так не променяет, тот и сам отстоит ее и совсем не по вашим рецептам, – равнодушно сказала Дора.

– А вы забываете наши милые законы, – заговорил, переменяя тон, Шпандорчук.

– Очень они мне нужны, ваши законы! Я сама себе закон. Не убиваю, не краду, не буяню – какое до меня дело закону?

– Ну, а если вы полюбите и закон станет вам поперек дороги?

– Что за вздор такой вы сказали! Где же есть для любви законы? Люблю – вот и все.

– И как же будете поступать?

– Как укажет мое чувство. Нет, все вы, господа, – рабы, – заканчивала Дора.

С нею обыкновенно никто из спорящих не соглашался и даже нередко ставили Дорушку в затруднительное положение заученными софизмами, ко всего чаще она наголову побивала свою живую и простую

речью всех своих ученых противников, и Нестор Игнатьевич ликовал за нее, молча похаживая по оглашенной спором комнате.

– Бедовая эта ученая швейка! – говорили о ней ее новые знакомые.

– Да, рассуждает!

– Придет, брат, видно, точно, шекспировское время, что мужик станет наступать на ногу дворянину и не будет извиняться. Я, разумеется, понимаю *дворянина мысли*.

– Ну, еще бы!

– Над ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно, – заключил Вырвич.

– Очень жаль, что вы без системы все читаете, – поучительно заявлял он ей один раз.

– Напротив, спросите Нестора Игнатьевича; я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себе.

– Нестор Игнатьич – известный старовер.

– А какая же новая-то есть вера? – спросил сквозь зубы Долинский.

– Вера в лучших людей и в лучшее будущее.

– Это самая старая вера и есть, – так же нехотя и равнодушно отвечал Долинский.

– Да-с, да это не о том, а о том, что Дарья Михайлов-па с вами, я думаю, в чем ведь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляет себе перево-

дить?

– Русских журналов я более не читаю, – отвечала за Делийского Дора.

– Это за что такая немилость?

– Нечего читать. Своих прежних писателей я всех знаю, а новых... да и новых, впрочем, знаю.

– Даже не читавши!

– А это вас удивляет? Тут ничего нет такого удивительного. Дело очень известное: все ведь почти они на один фасон! Один говорит: пусть женщина отдается по первому влечению, другой говорит – пусть никому не отдается; один учит, как наживать деньги, другой – говорит, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсем иначе, а сам живет еще иначе. Все одна докучная басня: «жили были кутыль да журавль; накосили они себе стожок сенца, поставили посереде поляца, не сказать ли вам опять с конца?» – зарядила сорока «Якова», и с тем до всякого.

– А у вашего Шекспира?

– А у моего Шекспира? А у моего Шекспира – вот что: я вот сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла «Ричарда»—и это меня освежило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью или нравоучение в лицах – я бы только разозлилась или еще больше устала.

– В Ричарде Третьем—жизнь!.. О, разум! – к тебе

взываю. Что это такое, эта Анна? Урод невозможный. Живая на небо летит за мертвым мужем, и тут же на шею вешается его убийце. Помилуйте, разве это возможно.

– Иль палец выломить *любя*, как леди Перси, – вставил со своей стороны Шпандорчук.

– Да... и палец выломить, – спокойно отвечала Дора.

– Так уж, последовательно идя, почему ж не свернуть *любя* и голову?

– Да... свернуть и голову.

– *Любя!*

Дорушка помолчала и, посмотрев на обоих оппонентов, медленно проговорила, качая своей головой:

– Эх, господа, господа! Какие у вас должны быть крошечные-крошечные страстишки-то! – Она приложила палец к концу ногтя своего мизинца и добавила, – вот такие должно быть, чупушные, малюсенькие; меньше воробьиного носка.

– Прекрасно-с! Ну, пусть там страсти, так и страсти; но зачем же в небо-то было лезть?

– Да что вы так этого неба боитесь? Не беспокойтесь, пожалуйста, никто живьем ни в небо не вскочит, ни в землю совсем не закопается.

Журавка обыкновенно фыркал, пыхал, подпрыги-

вал и вообще ликовал при этих спорах. Вырвич и Шпандорчук один или два раза круто поспорили с ним о значении художества и вообще говорили об искусстве неуважительно. Илья Макарович был плохой диалектик; он не мог соспорить с ними и за то питал к ним всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, он завидит их еще из окна, как сейчас же завертится, забегает, потирает свои руки и кричит: «Волхвы идут! волхвы, гадатели! Сейчас будут нам будущее предсказывать».

С появлением Вырвича и Шпандорчука Журавка стихал, усаживался в уголок и только тихонько пофыркивал. Но зато, пересидев их и дождавшись, когда они уйдут, он тотчас же вскакивал и шумел беспощадно.

– Кошлячки! Кошлячки! – говорил он о них, – отличные кошлячки! Славные такие, все как на подбор шершавенькие, все серенькие, такие, что хоть выжми их, так ничего живого не выйдет... То есть, – добавлял он, кипятясь и волнуясь, – то есть вот, что называется, ни вкуса-то, ни радости, oprичь самой гадости... Торчат на свете, как выветрелые шишки еловые... Тьфу, вы, сморчки ненавистные!

Долинский всей душой сочувствовал Доре, но вследствие ее молодости и детского ее положения при нежной, страстно ее любящей сестре, он привык

смотреть на нее только как на богато одаренное дитя, у которого все еще... не устоялось и бродит. Он очень любил Дору и с удовольствием исполнял каждое ее желание, но ко многим ее требованиям относился как к капризам ребенка и даже исполнял их с снисходительной улыбкой. Дорушка, при всем своем уме и прочих хороших качествах, действительно, иногда позволяла себе немножко покапризничать, и материнское снисхождение Анны Михайловны к этим капризам упрочивало за ее сестрою положение дитяти. В поведении Дорушки таки случались своего рода грешки и странности, и Анна Михайловна не без основания говаривала, что Дора про себя самое поет романс:

То без речей, то говорлива, То холодна, то жжет в ней кровь.

Отношения Долинского к Анне Михайловне были совершенно иные. Это было что-то вроде благоговейного почтения. Долинский даже переменялся в лице, когда Анна Михайловна относилась к нему с вопросом. Он смотрел на нее как на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривал с ней он, не сводя своего взора с ее прекрасных глаз; держался перед ней как перед идолом: ни слова необдуманного, ни шуточки веселой – словом, ничего такого, что он даже позволял себе в присутствии одной

Доры – он не мог сделать при Анне Михайловне. Если Анна Михайловна, которая любила походить в сумерки по комнате, заводила с Долинским речь о делах, он весь обращался в слух, во внимание, и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влечение о всех своих нуждах и заботах поговорить с Нестором Игнатьевичем. В его беседе не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинского ближе ложились к сердцу тихой Анны Михайловны, чем слова сестры и художника. В чувстве Долинского к Анне Михайловне преобладало именно благоговейное поклонение высоким и скромным достоинствам этой женщины, а вместе и глубокая, нежная любовь, чуждая всякого знакомства с страстью. Анна Михайловна очень уважала в Долинском хорошего человека, жалела о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговение к ней, которое она внушила этому человеку без всякого умысла, но которого, однако, не могла не заметить и которым не отказывало себе иногда скромно любоваться ее женское самолюбие.

Так прошел целый год. Все были счастливы, всем жилось хорошо, все были довольны друг другом. Илья Макарович, забегая раза два в неделю хватить водчонки, говорил Долинскому:

– Спасибо тебе, Несторка, отлично, братец, ты себя

ведешь, отлично!

Илье Макаровичу и даже пронизательной Доре и в ум не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинского с их сердечной стороны. А тем временем их тихие чувства крепили и крепили.

Задумал Долинский, по Дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повесть. Писал он неспешно, довольно долго, и по мере того, что успевал написать между своей срочной работой, читал по кусочкам Анне Михайловне и Дорушке.

Сначала Дора, внимательно следившая за медленно подвигавшеюся повестью, не замечала в ней ничего, кроме ее красот или недостатков в выполнении; но вдруг внимание ее стало останавливаться на сильном сходстве характера самого симпатичного женского лица повести с действительным характером Анны Михайловны. Еще немножко позже она заметила, что ее всегда ровная и спокойная сестра следит за ходом повести с страшным вниманием; увлекается, делая замечания; горячо спорит с Дорой и просто дрожит от радости при каждой удачной сценке. Дописал Долинский повесть до конца и стал выправлять ее и окончательно готовить к печати. Через неделю он прочел ее всю разом в совершенно отделанном виде.

– Да это у вас живая Аня списана! – вскрикнула, по окончании чтения, Дора.

Анна Михайловна и Долинский смутились. Дора посмотрела на них обоих и не заводила об этом более речи; но дня два была как-то задумчивее обыкновенного, а потом опять вошла в свою колею и шутила.

– Вот погоди, скоро его какой-нибудь приятель отвалит за эту повесть, – говорила она Анне Михайловне, когда та в десятый раз просматривала напечатанную в журнале повесть Долинского.

– За что же? – вся вспыхнув и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

– Будто ругают за что-нибудь. Так, просто, потому что это ничего не стоит.

Дорушка заметила, что сестра ее поражена мыслью о том, что Нестора Игнатьевича могут разбранить, обидеть и вообще не пожалеть его, когда он сам такой добрый, когда он сам так искренно всех жалеет.

– Гм! Так, видно, этому делу и быть, – произнесла Дора, долго посмотрев на Анну Михайловну и тихонько выходя из комнаты.

– Что ты, Дорушка, сказала? – спросила ее вслед сестра.

– Что так этому и быть.

– Какому, душка, делу?

– Да никакому, мой друг! Я так себе, бог знает, что сболтнула, – отвечала Дорушка и, возвратясь, поцеловала сестру в лоб и ласково разгладила ее волосы.

Глава девятая

Мальчик бобка

Прошло очень немного времени, как Доре представился новый случай наблюдать сестру по отношению к Долинскому.

Один раз, в самый ясный погожий осенний день, поздним утром, так часов около двенадцати, к Анне Михайловне забежал Журавка, а через несколько минут, как по сигналу, явились Шпандорчук и Вырвич, и у Доры с ними, за кофе, к которому они сошлись было в столовую, закипел какой-то ожесточенный спор. Чтобы положить конец этому прению и не потерять редкого в эту пору хорошего дня, Долинский, допив свою чашку, тихонько вышел и возвратился в столовую в пальто и в шляпе: на одной руке его была перекинута драповая тальма Доры, а в другой он бережно держал ее серенькую кастановую шляпу с черными марабу. Заметив Долинского, Дора улыбнулась и сказала:

– Pardon, господа, мой верный паж готов.

– Да-с, готов, – отвечал Долинский, – и полагает, что его благородной госпоже будет гораздо полезнее теперь пройтись по свежему воздуху, чем спорить и кипятиваться.

– Кажется, вы правы, – произнесла Дора, оборачи-

ваясь к нему спиной для того, чтобы тот мог надеть ей тальму, которую держал на своей руке.

Долинский раскрыл тальму и уже поднес ее к Дориным плечам, но вдруг остановился и, подняв вверх один палец, тихо произнес:

– Тсс!

Все посмотрели на него с некоторым удивлением, но никто не сказал ни слова, а между тем Долинский швырнул в сторону тальму, торопливо подошел к двери, которая вела в рабочую комнату, и, притворив ее без всякого шума, схватил Дорушку за руку и, весь дрожа всем телом, сказал ей:

– Вызовите Анну Анисимовну в мои комнаты! Да сейчас! Сейчас вызовите!

– Что такое? – спросила удивленная Дора.

– Зовите ее оттуда! – отвечал Долинский, крепко подернув Дорину руку.

– Да что? Что?

Вместо ответа Долинский взял ее за плечи и показал рукою на фронтон высокого надворного флигеля.

– Ах! – произнесла чуть слышно Дорушка и побежала к комнатам Долинского. – Душенька! Анна Анисимовна! – говорила она идучи, – подите ко мне, мой дружок, с иголочкой в Нестор Игнатьевича комнату.

По коридорчику вслед за Дашей прошумело ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тем все столпились у окна, а Долинский, шепнув им: «Видите, Бобка на карнизе!»—выбежал и, снова возвратясь через секунду, проговорил, задыхаясь – «Бога ради, чтоб не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтоб ничто не привлекало его внимания!»

Сказав это, Долинский исчез за дверью, и в это мгновение как-то никому не пришло в голову ни остановить его, ни спросить о том, что он хочет делать, ни подумать даже, что он может сделать в этом случае.

Общее внимание было занято карнизом. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленым листовым железом и отделяющему фронтоны флигеля и бельевую сушильню от верха третьего жилого этажа, преспокойным образом, весело и грациозно полз самый маленький, трехлетний сын Анны Анисимовны, всеобщий фаворит Борис} шка, или Бобка. Он полз на четвереньках по направлению от слухового окна, из которого он выбрался, к острому углу, под которым крыша соединяется с фронтоном. Перед ним, в нескольких шагах расстояния, подпрыгивал и взмахивал связанными крылышками небольшой сизый голубок, которого ребенок все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубок не делал никакой попытки разом отделаться от своего преследователя; чуть ребенок, подвинувшись на коленочках, распус-

кал над ним свою ручку, голубок вострепелся, взмахивал крылышками, показывая свои беленькие подмышки, припрыгивал два раза, потом делал своими красненькими ножками два вершковых шага, и опять давал Бобке подползать и изловчаться. Голубок отодвигался, и Бобка сейчас же заносил ножонку вперед и осторожно двигался на четвереньках. Тонкие железные листы, которыми был покрыт полусгнивший карниз, гнулись и под маленьким телом Бобки и, гнувшись, шумели; а из-под них на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобке оставалось два шага до соединения карниза с крышею, где он непременно бы поймал своего голубя, и откуда бы еще непременно полетел с ним вместе с десятисаженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбежна, потому что голубь бы непременно удалялся от него тем же аллюром до самого угла соединения карниза с крышей, где мальчик ни за что не мог ни разогнуться, ни поворотиться: надеяться на то, чтобы ребенок догадался двигаться задом, было довольно трудно, да и всякий, кому в детстве случалось путешествовать по так называемым «кошачьим дорогам», тот, конечно, поймет, что такой фортель был для Бобки совершенно невозможен. Еще две-три минуты, или какой-нибудь шум на дворе, который бы заставил его оглянуться вниз, или откуда-нибудь сердобольный

совет, или крик ужаса и сострадания – и Бобка бы непременно оборвался и лег бы с разможженным черепом на гладких голышах почти перед самым окном, у которого работала его бедная мать.

Но на Бобкино счастье во дворе никто не заметил его воздушного путешествия. И Журавка, выбежавший вслед за Долинским, совершенно напрасно, тревожно стоя под карнизом, грозил пальцем на все внутренние окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо против окна, из которого видно было каждое движение Бобки, преспокойно работала сечкой и распевала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярского чиновничка;
По головке его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинский, выйдя из комнаты, духом перескочил дворик и в одно мгновение очутился на чердаке за деревянным фронтоном.

– Бобка! – позвал он потихоньку сквозь доску, стараясь говорить как можно спокойнее и как раз у мальчиковой головы.

– А! – отозвался на знакомый голос юный Блонден.

– Гляди-ка сюда! – продолжал Долинский, имея в виду привлечь глаза мальчика к стене, чтобы он далее

не трогался и не глянул как-нибудь вниз...

– Говабь повзает, – говорил, весь сияя, Бобка.

– Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, как я его, шельму, сейчас изловлю!

– Ну, ну, ну, лови! – отвечал мальчик, и сам воззрился в одно место на нижней доске фронтона.

– Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчас.

Мальчик от радости оскалил беленькие зубенки и закусил большой палец своей левой руки.

В это же мгновение в слуховом окне показалась прелестная голова Долинского. Красивое, дышащее добротой и кротостью лицо его было оживлено свежей краской спокойной решимости; волнистые волосы его рассыпались от ветра и легкими, тонкими прядями прилипали к лицу, покрывающемуся от страха крупными каплями пота. Через мгновение вся его стройная фигура обрисовалась на сером фоне выцветшего фронтона, и прежде чем железные листы загромыхали под его ногами, левая рука Долинского ловко и крепко схватила ручонку Бобки. Правую руку он сильно держался за край слухового окна и в одну секунду бросил в него мальчика, и вслед за ним прыгнул туда сам.

Все это произошло так скоро, что, когда Долинский с Бобкой на руках проходил через кухню, кухарка еще

не кончила песню про любовничка – канцелярского чиновничка и рассказывала, как она.

Напоила его мятою, Обложила кругом ватою.

– Ах, скверный ты мальчик! – нервно вскрикнула Анна Михайловна при виде Бобки.

– Насилу поймал, – говорил весело Долинский.

– Боже мой, какой страх был!

Из коридора выбежала бледная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубок, но тотчас же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами в его розовые щеки.

– Миндаль вам за спасение погибавшего, – проговорил шутливо Вырвич, подавая Долинскому выколупнутую с булки поджаренную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

– Страшно! У вас голова могла закружиться, – говорила она, обращаясь к Долинскому.

– Нет, это ведь одна минута; не надо только смотреть вниз, – отвечал Долинский, спокойно кладя на стол поданную ему миндалинку, и с этими словами ушел в свою комнату, а оттуда вместе с Дашею прошел через магазин на улицу.

Через часа полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру в ее комнате, сильно встревоженной.

– Что это такое с тобой? – спросила она Анну Ми-

хайловну.

– Ах, Дорушка, не можешь себе вообразить, как меня разбесили!

– Ну?

– Да вот эти господа ненавистные. Только что вы ушли, как начали они рассуждать, следовало или не следовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня из терпения.

– Решили, что не следовало?

– Да! Решили, что дворника надо было послать; потом стали уверять меня, что здесь никакого страха нет и никакого риска нет; потом уж опять, как-то опять стало выходить, что риск был, и что потому-то именно не следовало рисковать собой.

– Да ведь они ничем и не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала речей умных.

– Уж именно! И что только такое тут говорилось!.. И о развитии, и о том, что от гибели одного мальчика человечеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитие обязывает человека беречь себя для жертв более важных, чем одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... расстроили меня.

– Что ты даже взялась за гофманские капли?

– Ну, да.

– Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалин жив; ни лбом не треснулся о землю, ни затылком, –

проговорила Дора, развязывая перед зеркалом ленты своей шляпы.

– И ты тоже! – нетерпеливо сказала Анна Михайловна.

– Господи, да что такое за «не тронь меня» этот Долинский.

– Не Молчалин он, а я не Софья Павловна.

– Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что с тобой на его счет уж и пошутить нельзя, – сухо проговорила, выходя из комнаты, Дора.

Через минуту Анна Михайловна вошла к Дорушке и молча поцеловала ее руку; Дора взяла обе руки сестры и обе их поцеловала также молча.

В очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще более поступком, который прямо не свойственен был ее характеру. Анна Михайловна и Дора как-то случайно знали, что Шпандорчук и Вырвич частенько заимствовались у Долинского небольшими деньжонками и что долги эти частью кое-как отдавались пополам с грехом, а частью не отдавались вообще и возрастали до цифр, хотя и небольших, но все-таки для рабочего человека кое-что значащих. Было известно также и то, что Долинский иногда сам очень сбивается с копейки и что в одну из таких минут он самым мягким и деликатным образом попросил их, не могут ли они ему отдать что-нибудь; но от-

вета на это письмо не было, а Долинский перестал даже напоминать приятелям о долге. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбивого Шпандорчука; ему непременно хотелось отомстить за нее Долинскому, хотелось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться с ним в долге и, поссорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплате. Но поссориться с Нестором Игнатьевичем бывало гораздо труднее, чем помириться с глупой женщиной. Шпандорчук пробовал ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмешливо отвечать на его вопросы, но Долинский хорошо знал, сколько все это стоит, и не удостоивал этих проделок никакого внимания. Шпандорчуку даже вид Долинского стал ненавистен.

– Какое это у вас лицо, гляжу я? – говорил один раз, прощаясь с ним, Вырвич.

– Какое лицо? – спросил, не понимая вопроса, Долинский.

– Да я не знаю, что такое, а Шпандорчук что-то уверяет, что у Долинского, говорит, совсем неблагоприятное лицо какое-то делается.

Вырвич откровенно захохотал.

– А это верно господин Шпандорчук не чувствует ли себя перед Нестором Игнатьевичем в чем-нибудь... неисправным? – тихо вмешалась Анна Михай-

ловна. – Все пустые люди, – продолжала она, – у которых очень много самолюбия и есть какие-то следы совести, а нет ни искренности, ни желания поправиться, всегда кончают этим, что их раздражают лица, напоминающие им об их собственной гадости.

Все это Анна Михайловна проговорила с таким холодным спокойствием и с таким достоинством, что Вырвич не нашелся сказать в ответ ни слова, и красненький-раскрас-ненький молча вышел за двери.

– Вот, брат, отделала тебя! – начал он, являясь домой, и рассказал всю эту историю Шпандорчуку.

– Кто вас просит сообщать мне такие мерзости, – взвизгнул Шпандорчук, неистово вскакивая с постели. – Я ей, негодяйке, просто... уши оболтаю на Невском! – Зарешил он, перекрутив и бросив на пол коробочку из-под зажигательных спичек.

С этих пор ни Вырвич, ни Шпандорчук не показывались в доме Анны Михайловны, и последний, встречаясь с нею, всегда поднимал нос как можно выше, по недостатку смелости задорно смотрел в сторону.

Глава десятая

Интересное домино

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарил семейный билет на маскарады дворянского собрания. Дорушка во что бы то ни стало хотела быть в этом маскараде, а Анне Михайловне, наоборот, смерть этого не хотелось и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинского было все равно: ехать ли в маскарад или просидеть дома.

– Охота тебе, право, Дора! – отговаривалась Анна Михайловна. – В благородном собрании бывает гораздо веселее – да не ездись, а тут что? Кого мы знаем?

– Я? Я знаю целый десяток франтих и все их грязные романы, и нынче все их перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая как взойдет в магазин – сейчас вот так начинает водить носом по потолку? Сегодня она потерпит самое страшное поражение.

– Полно вздоры затевать, Дора!

– Нет, пожалуйста, поедем.

И поехали.

О том, как зал сиял, гремели хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоит рассказывать: всему этому есть уж очень давно до подробности верно со-

ставленные описания.

Дорушка как только вошла в первую залу, тотчас же впиалась в какого-то конногвардейца и исчезла с ним в густой толпе. Анна Михайловна прошлась раза два с Долинским по залам и стала искать укромного уголка, где бы можно было усесться поспокойнее.

– Душно мне – уже устала; терпеть я не могу этих маскарадов, – жаловалась она Долинскому, который отыскиал два свободных кресла в одном из менее освещенных углов.

– Я тоже не большой их почитатель, – отвечал Нестор Игнатьевич.

– Духота, давка и всякого вздора наслушаешься – только и хорошего.

– Ну, ведь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ездят.

– Не понимаю этого удовольствия. Я, знаете, просто... боюсь масок.

– Боитесь!

– Да, дерзкие они... им все нипочем... Не люблю.

– Зато можно многое сказать, чего не скажешь без маски.

– Также не люблю и говорить с незнакомыми.

– Да, и со знакомыми так как-то совсем иначе говорится.

– Да это в самом деле. Отчего бы это?

Рассуждая, почему и отчего под маскою говорится совсем не так, как без маски, они сами незаметно заговорили иначе, чем говаривали вне маскарада.

Прошел час-другой, голубое домино Доры мелькало в толпе; изредка оно, проносясь мимо сестры и Долинского, ласково кивало им головою и опять исчезало в густой толпе, где ее неотступно преследовали разные фешенебельные господа и грандиозные черные домино. Дора была в ударе и бросала на все стороны самые едкие шпильки, постоянно увеличивавшие гонявшийся за нею хвост. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замечала времени. Несмотря на то, что они виделись с Долинским каждый день и, кажется, могли бы затрудняться в выборе темы для разговора, особенно занимательного, у них шла самая оживленная беседа. По поводу некоторых припомненных ими здесь известных маскарадных интриг, они незаметно перешли к разговору об интриге вообще. Анна Михайловна возмущалась против всякой любовной интриги и относилась к ней презрительно, Долинский еще презрительнее.

– Уж если случится такое несчастье, то лучше нести его прямо, – рассуждала Анна Михайловна. Долинский был с нею согласен во всех положениях и на эту тему.

– Или бороться, – говорила Анна Михайловна; До-

линский и здесь был снова согласен и не ставил борьбу с долгом, с привычным уважением к известным правилам, ни в вину, ни в порицание. Борьба всегда говорит за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всем, как попало, между тем, как обман...

– Гадость ужасная! – с омерзением произнесла Анна Михайловна. – Странно это, – говорила она через несколько минут, – как люди мало ценят то, что в любви есть самого лучшего, и спешат падать как можно грязнее.

– Таков уж человек, да, может быть, его в этом даже нельзя слишком и винить.

– Нет, все это очень странно... ни борьбы, ни уверенности, что мы любим друг в друге... что-то все-таки высшее... человеческое... Неужто ж уж это в самом деле только шутовство! Неужто уж так нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это с затруднением, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому без маски.

– Как же нельзя, если мы и в литературе и в жизни встречаем множество примеров такой любви?

– Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что эти волненья крови... интриги...

– Да, мне кажется, что вы совершенно правы.

– Как, Нестор Игнатьич, «кажется»! Я верю в это, –

отвечала Анна Михайловна.

– Да, конечно... Борьба... а не выйдешь из этой борьбы победителем, то все-таки знаешь, что я – человек, я спорил, боролся, но не совладал, не устоял.

– Нет, зачем? Чистая, чистая любовь и борьба – вел настоящее наслаждение: «бледнеть и гаснуть... вот блаженство».

– Долинский, здравствуй! – произнесло, остановясь перед ними, какое-то черное, кружевное домино.

Нестор Игнатьевич посмотрел на маску и никак не мог догадаться, кто бы мог его знать на этом аристократическом маскараде.

– Давай свою руку, несчастный страдалец! – звало его пискливым голосом домино.

Долинский отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

– Лжешь, совсем не интересная, – пищало домино. – я ее знаю – совсем не интересная. Пора уж вам наскучить друг другу.

– Иди, иди себе с богом, маска, – отвечал Долинский.

– Нет, я хочу идти с тобой, – настаивало домино. Долинский едва-едва мог отделаться от привязчивой маски.

– Вы не знаете, кто это такая? – спросила Анна Михайловна.

– Решительно не знаю.

– Долинский! – опять запищала та же маска, появляясь с другой стороны под руку с другой маской, покрытую звездным покрывалом.

Нестор Игнатьевич оглянулся.

– Оставь же, наконец, на минутку свое сокровище, – начала, смеясь, маска.

– Оставь меня, пожалуйста, в покое.

– Нет, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь! – решительно отвечала маска. – Ты мне очень дорог, пойми, ты – дорог мне, Долинский.

Маски слегка хихикали.

– Ах, уж оставь его! Он рад бы, видишь ли, и сам идти с тобой, да не может, – картавило звездное покрывало.

– Ты думаешь, что она его причаровала?

– О, нет! Она не чаровница. Она его просто пришила, *пришила его*, – отвечало, громко рассмеявшись, звездное покрывало, и обе маски побежали.

– Пойдемте, пожалуйста, ходить... Где Дора? – говорила несколько смущенная Анна Михайловна еще более смущенному Долинскому.

Они встали и пошли; но не успели сделать двадцати шагов, как снова увидели те же два домино, шедшие навстречу им под руки с очень молодым конно-

гвардейцем.

– Пойдемте от них, – сказала оробевшая Анна Михайловна и, дернув Долинского за руку, повернула назад.

– Чего она нас так боится? – спрашивало, нагоняя их сзади, черное домино у звездного покрывала.

– Она не сшила мне к сроку панталон, – издевалось звездное покрывало, и обе маски вместе с конногвардейцем залились.

– Возьмем его приступом! – продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинского звездное покрывало.

– Возьмем, – соглашалось домино.

Долинский терялся, не зная, что ему делать, и тревожно искал глазами голубого домино Доры. – Вот... Черт знает, что я могу, что я должен сделать? Если б Дора! Ах, если б она! – Он посмотрел в глаза Анне Михайловне – глаза эти были полны слез.

– Ну, бери, – произнесло сквозь смех заднее домино и схватило Долинского за локоть свободной руки.

В то же время звездное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинского.

Нестор Игнатьевич слегка рванулся: маски висели крепко, как хорошо принявшиеся пиявки, и только захотали.

– Ты не думаешь ли драться? – спросило его покрывало.

Долинский, ничего не отвечая, только оглянулся; конногвардеец, сопровождавший полонивших Долинского масок, рассказывал что-то лейб-казачьему офицеру и старичку самой благонамеренной наружности. Все они трое помирали со смеха и смотрели в ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунцовый бант на капюшоне Анны Михайловны робко жался к стене за колоннадою.

– Пустите меня бога ради! – просил Долинский и ворохнул руками тихо, но гораздо посерьезнее.

– Послушай, Долинский, будь паинька, не дурачься, а не то, mon cher,⁹ сам пожалеешь.

– Делайте, что хотите, только отстаньте от меня теперь.

– Ну, хорошо, иди, а мы сделаем скандал твоей маске. Долинский опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна по-прежнему жалась у стены, но из ближайших дверей показался голубой капюшон Доры. Конногвардеец с лейб-казакон и благонамеренным старичком по-прежнему веселились. Лицо благонамеренного старичка показалось что-то знакомым Долинскому.

– Боже мой! – вспомнил он, – да это, кажется, бла-

⁹ Мой дорогой (франц.).

годетель Азовцовых – откупщик, – и, оглянувшись на висевшее у него на правом локте черное домино, Долинский проговорил строго:

– Юлия Петровна, это вы мне делаете такие сюрпризы?

Он узнал свою жену.

– Ну, пойдете же, куда вам угодно, и, пожалуйста, говорите скорее, чего хотите вы от меня, бессовестная вы, ненавистная женщина!

Глава одиннадцатая

Звездочка счастья

Анна Михайловна, встретив Дору, упростила ее тотчас же уехать с маскарада.

– Я совсем нездорова – голова страшно разболелась, – говорила она сестре, скрывая от нее причину своего настоящего расстройства.

– Позовем же Долинского, – отвечала Дора.

– Нет, бог с ним – пусть себе повеселится.

Сестры приехали домой, слегка закусили и разошлись по своим комнатам.

Долинский позвонил с черного входа часа через два или даже несколько более. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столе в столовой горела свеча и стояла тарелка, покрытая чистой салфеткою, под которой лежал ломоть хлеба и кусок жареной индейки.

Нестор Игнатьевич взглянул на этот ужин и, дунув на свечку, тихонько прошел в свою комнату.

Минут через пять кто-то очень тихо постучался в его двери.

Долинский, азартно шагавший взад и вперед, остановился.

– Можно войти? – тихо произнес за дверью голос Анны Михайловны.

– Сделайте милость, – отвечал Долинский, смущаясь и оглянув порядок своей комнаты.

– Отчего вы не закусили? – спросила, входя, тоже несколько смущенная Анна Михайловна.

– Сыт – благодарю вас за внимание. Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закуске, но не знала, с чего начать.

– Садитесь, пожалуйста, – вы устали, – отнесся к ней Долинский, подвигая кресло.

– Что это было за явление такое? – спросила она, опускаясь в кресло и стараясь спокойно улыбнуться.

– Боже мой! Я просто теряю голову, – отвечал Долинский. – Я был причиною, что вас так тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

– Нет... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте об этом, Нестор Игнатьич. Это – совершенный вздор.

– Я дал бы дорого – о, я дорого бы дал, чтобы этого вздора не случилось.

– Эта маска была ваша жена?

– Почему вы это подумали?

– Так как-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствие, и я не хотела ни за что ехать – это все Даша упрямая виновата.

– Пожалуйста, забудьте этот возмутительный случай, – упрасивал Долинский, протягивая Анне Михайловне свою руку. – Иначе это убьет меня; я... не знаю, право... я уйду бог знает куда: я просто хотел уехать, хоть в Москву, что ли.

– Очень мило, – прошептала, качая с упреком головой, Анна Михайловна. – Вы лучше скажите мне, не было ли с *вами* чего дурного?

– Ничего. Она хочет с меня денег, и я ей обещал.

– Какая странная женщина!

– Бог с ней, Анна Михайловна. Мне только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошел за то, что вынесли вы сегодня. Вы не поверите, как мне это больно...

– Верю, верю, только успокойтесь и забудьте этот нехороший вечер, – отвечала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обе руки. – Верьте и вы, что из всего, что сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствие.

– Боже мой! Да что же у меня остается в жизни, кроме вашего спокойствия.

Анна Михайловна взглянула на Долинского и молча встала.

– Позвольте на одно слово, – попросил ее Долинский.

Анна Михайловна остановилась.

– Вы не сердитесь? – спросил Нестор Игнатьевич.

– Я уверена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня рассердило, – отвечала Анна Михайловна.

– Я вас всегда очень уважал, Анна Михайловна, а сегодня, когда мне показалось, что я более не буду вас видеть, не буду слышать вашего голоса, я убедился, я понял, что я страстно, глубоко вас люблю, и я решился... уехать.

– Зачем? – краснея и взглянув на дверь, отвечала Анна Михайловна. Долинский молчал.

– Вам никто не мешает... и...

– И что?

– Вы никогда не будете иметь права подумать, что вас любят меньше, – чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинский сжал в своих руках ее руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустив глаза, смотрела в землю.

В доме было до жуткости тихо, и сердце билось, точно под самым ухом. И он, и она были в крайнем замешательстве, из которого Анна Михайловна вышла, впрочем, первая.

– Пустите, – прошептала она, легонько высвобождая свою руку из рук Долинского.

Тот было тихо приподнял ее руку к своим устам, но

взглянул в лицо Анне Михайловне и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцеловала и быстро отодвинулась назад. Приложив палец к губам, она стояла в волнении у притолка.

– Ах! Не надо, не надо, Бога ради не надо! – заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинский сделал к ней один шаг, и, переведя дух, как тень, неслышно скользнула за его двери.

Прошел круглый год; Долинский продолжал любить Анну Михайловну так точно, как любил ее до маскарадного случая, и никогда не сомневался, что Анна Михайловна любит его не меньше. Ни о чем происшедшем не было и помину.

Единственной разницей в их теперешних отношениях от прежнего было то, что они знали из уст Друг друга о взаимной любви, нежно лелеяли свое чувство, «бледнели и гасли», ставя в этом свое блаженство.

Глава двенадцатая

Симпатические попугаи

В течение целого этого года не произошло почти ничего особенно замечательного, только Дорушкины симпатические попугаи, Оля и Маша, к концу мясоеда выкинули преуморительную штуку, еще более упрочившую за ними название *симпатических попугаев*. В один прекрасный день они сообщили Доре, что они выходят замуж.

– Обе *вместе*? – спросила, удивясь, Дора.

– Да; так вышло, Дарья Михайловна, – отвечали девушки.

– По крайней мере, не за одного хоть?

– Нет-с, как можно?

– То-то.

Они выходили за двух родных братьев, наборщиков из бывшей по соседству типографии.

Затеялась свадьба, в устройстве которой Даша принимала самое жаркое участие, и, наконец, в один вечер перед масленицей, симпатических попугаев обвенчали. Свадьба справлялась в двух комнатах, нанятых в том же доме, где помещался магазин Анны Михайловны. Анна Михайловна была посаженою матерью девушек; Нестор Игнатьевич посаженным от-

цом, Дорушка и Анна Анисимовна – дружками у Оли и Маши. Илья Макарович был на эту пору болен и не мог принять в торжестве никакого личного участия, но прислал девушкам по паре необыкновенно изящно разрисованных венчальных свеч, белого петуха с красным гребнем и белую курочку.

Магазин в этот день закрыли ранее обыкновенного, и все столпились в нем около Даши, под надзором которой перед большими трюмо происходило одеванье невест.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всем, начиная с башмака невест и до каждого бантика в их головных уборах. Наряды были подарены невестам Анной Михайловной и частью Дорой, из ее собственного заработка. Она также сделала на свой счет два самых скромных, совершенно одинаковых белых платья для себя, и для своего друга—Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обе были одеты одинаково, как две родные сестры.

– Что это за прелестное создание наша Дора! – заговорила Анна Михайловна, взойдя в комнату Долинского, когда был окончен убор.

– Да, что уж о ней, Анна Михайловна, и говорить! – отвечал Долинский. – Счастливый будет человек, кого она полюбит.

Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:

– Вот и правда.

– Господа! Симпатические попугаи! – позвала, спешно приотворив дверь и выставив свою головку, Дора. – Чего ж вы сюда забились? – Пожалуйте благословлять моих попугаев.

Кончилось благословение и венчание, и начался пир. Анна Михайловна пробыла с час и стала прощаться; Долинский последовал ее примеру. Их удерживали, но они не остались, боясь стеснять своим присутствием гостей жениховых, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была *хозяйка*, все-таки Долинский – *барин*.

Дорушка была совсем иное дело. Она умела всегда держать себя со всеми как-то особенно просто, и невесты были бы очень огорчены, если бы она оставила их торжественный пир, ранее чем ему положено было окончиться по порядку.

В комнатах была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этим, и под звуки плохонького квартета танцевала с наборщиками две кадрили.

В квартире Анны Михайловны не оставалось ни души; даже девочки были отпущены веселиться на свадьбе. Двери с обоих подъездов были заперты, и Анна Михайловна, с работою в руках, сидела на мягком диване в комнате Долинского.

Везде было так тихо, что через три комнаты было

слышно, как кто-нибудь шмыгал резиновыми калошами по парадной лестнице. Красивый и очень сторожкий кинг-чарльз Анны Михайловны Риголетка, непривыкшая к такой ранней тишине, беспрестанно поднимала голову, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.

– Успокойся, успокойся, Риголеточка, – уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и насилу заснула.

– Что это за жизнь без Доры-то была бы какая скучная, – сказала после долгой паузы Анна Михайловна, относясь к настоящему положению.

– Да, в самом деле, как без нее тихо.

– Я там было села у себя, так даже как будто страшно, – .молвила Анна Михайловна и после непродолжительного молчания добавила: – Ужасно дурная вещь одиночество!

– И не говорите. Я так от него настрадался, что до сих пор, кажется, еще никак не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала и с едва заметной улыбкой сказала:

– А уж, кажется, пора бы.

– Впрочем, человек никогда не бывает совершенно счастлив, – проговорила она, вздохнув, через несколько времени.

– Сердце будущим живет.

– А вот это-то и нехорошо. Ведь вот я же счастлива. Долинский промолчал. Он стоял у печки и грелся.

– А вы, Нестор Игнатьич? – спросила она, улыбнувшись, и положила на колена свою работу.

– Я очень счастлив и доволен.

– Чем?

– Судьбой, и чем хотите, – отвечал весело Долинский.

– А я, знаете, чем и кем более всего довольна? – Анна Михайловна несколько лукаво посмотрела искомса на молчавшего Долинского и договорила, – вами.

Долинский шутливо поклонился.

– В самом деле, Нестор Игнатьич, – продолжала краснея и волнуясь, Анна Михайловна, – вы мне доказали истинно и не словами, что вы меня, действительно, любите.

Долинский также шутливо поклонился еще ниже.

– Я думала, что так в наше время уж никто не умеет любить, – произнесла она, мешаясь, как переконфуженный ребенок.

Долинский подошел к Анне Михайловне, взял и поцеловал ее руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку в своей.

– Вы – хороший человек, – прошептала она и подняла к его плечу свою свободную руку.

В это же мгновение Риголетка насторожила уши и со звонким лаем кинулась к черному входу. Послышался сильный и нетерпеливый стук.

– Посмотрите, пожалуйста, кто это? – произнесла Анна Михайловна, вздрогнув и скоро выбрасывая из своей руки руку Долинского.

Долинский пошел в кухню и там тотчас же слышался голос Даши:

– Чего это вы до сих пор не отпираете! Десять часов стучусь и никак не могу достучаться, – взыскивала она с Долинского.

– Не слышно было.

– Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услышали, – отвечала она, пробегая.

– Сестра! – позвала она.

– Ну, – откликнулась Анна Михайловна из комнаты Долинского.

Дорушка вбежала на этот голос и, остановясь, спросила:

– Что это ты такая?

– Какая? – мешаясь и еще более краснея, проговорила Анна Михайловна.

– Странная какая-то, – проронила скороговоркой Дора и сейчас же добавила: – Дай мне десять рублей, у них недостает чего-то.

Анна Михайловна пошла в свою комнату и достала

Даше десять рублей.

– Не бегай ты так, Дора, бога ради, в одном платье по лестницам, – попросила она Дорушку, но та ей не ответила ни слова.

Анна Михайловна, проводив сестру до самого порога, торопливо прошла прямо в свою комнату и заперла за собою дверь.

Глава тринадцатая

Маленькие неприятности начинают несколько мешать большому удовольствию

После сочетания симпатических попугаев, почти целый дом у Анны Михайловны переболел. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась и на другой же день после этой свадьбы закашляла и захрипела, а на третий слегла. Стали Дорушку лечить, а она стала разнемогаться и, наконец, заболела самым серьезным образом. Долинский и Анна Михайловна не отходили от ее постели. Болезнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошим. В доме это все чувствовали и, кажется, только боялись произнести слово *чахотка*; но когда кто-нибудь произносил это слово случайно, все оглядывались на комнату Даши и умолкали. Так прошло около месяца. Наконец, стало Даше чуть-чуть будто полегче – Анна Михайловна простудилась и захворала. Болезнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болезни чувствовала себя настолько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчас же, как Анна Михайловна начала обмогаться,

Дора опять сошла в постель и еще посерьезнее прежнего.

– Ну, уж теперь, кажется, будет кранкен, – сказала она сама.

Характер Доры мало изменялся и в болезни, но все-таки она жаловалась, говоря:

– Не знаете вы, господа, сколько нужно силы над собой иметь, чтобы никому не надоедать и не злиться.

Иногда, впрочем, и Дорушка не совсем владела собою и у нее можно было замечать движения беспокойные, которых бы она, вероятно, не допустила в здоровом состоянии. Это не были ни дерзости, ни придирки, а так... больная фантазия. Во время болезни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногах, она, например, один раз ужасно рассердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила в слабо освещенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавший на комодe зонтик и кинулась за собачкой. Риголетка из комнаты Анны Михайловны бросилась в столовую, где Долинский пил чай, и спряталась у него под стулом. Даша в азарте достала ее из-под стула и несколько раз больно ударила ее зонтиком.

– Дорушка! Дарья Михайловна! – останавливал ее Долинский.

– Даша! Что это с тобой? – слышался из спальни

голос Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись в спальне Анны Михайловны, сама спокойно села к самовару.

– Ну, за что вы били бедную собачку? – обрезонивал ее тихо и кротко Долинский.

– Так, для собственного удовольствия... За то, что она любит меня меньше, чем вас, – отвечала запальчиво Дора.

– Достойная причина!

– Пусть не лает на меня, когда я вхожу в сестриную комнату.

– Темно было, она вас не узнала.

– А зачем она вас узнает и не лает? – возразила Даша, с раздувающимися ноздερками.

– О, ну, бог с вами! Что вам ни скажешь, все невпопад, за все вы готовы сердиться, – отвечал, покраснев, Долинский.

– Потому что вы вздор все говорите.

– Ну я замолчу.

– И гораздо умнее сделаете.

– Даже и уйду, если хотите, – добавил, беззвучно смеясь, Долинский.

– Отправляйтесь, – серьезно проговорила Даша. – Отправляйтесь, отправляйтесь, – добавила она, сво-

дя его за руку со стула.

Нестор Игнатьевич встал и тихонько пошел в комнату Анны Михайловны. Чуть только он переступил порог этой комнаты, из-под кровати раздалось сердитое рычание напуганной Риголетки.

– Ага! Исправилась? – отнесся Долинский к собачке. – Ну, Риголеточка, утешь, утешь Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

– Ммм! Дурак, настоящий дурак, – произнесла, смотря на Долинского, Дора и, соблазненная его искренним смехом, сама тихонько над собой рассмеялась.

Так время подходило к весне; Дорушка все то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинский и Анна Михайловна по-прежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь от всякого чужого глаза, но, однако, тем не менее никто не верил этому пуризму, и в мастерской, при разговорах об Анне Михайловне и Долинском, собственные имена их не употреблялись, а говорилось просто: *сама и ей-ный*.

Глава четырнадцатая

Капризы

Наконец на дворе запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всяким днем становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладан. Доктор, который ее пользовал, отказался брать деньги за визиты.

– Вы мне лучше платите в месяц, – сказал он, – я буду заезжать к больной и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сделать не могу.

– У нее чахотка? – спросил Долинский.

– Несомненная.

– Долго она может жить? Доктор пожал плечами и отвечал:

– Болезнь в сильном развитии.

С четвертой недели поста Даша вовсе не вставала с постели. В доме все приняло еще более грустный характер. Ходили на цыпочках, говорили шепотом.

– Господи! Вы меня уморите прежде, чем смерть придет за мною, – говорила больная. – Все шушукуют, да скользят без следа, точно тени могильные. Да поживите вы еще со мною! Дайте мне послушать человеческого голоса! Дайте хоть поглядеть на живых

людей!

Ухода и заботливости о Дорушкином спокойствии было столько, что они ей даже надоедали. Проснувшись как-то раз ночью, еще с начала болезни, она обвела глазами комнату и, к удивлению своему, заметила при лампаде, кроме дремлющей на диване сестры, крепко спящего на плетеном стуле Долинского.

– Кто это, Аня? – спросила шепотом Дорушка, указывая на Долинского.

– Это Нестор Игнатьич, – отвечала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Доре ложку лекарства.

Дорушка выпила микстуру и, сделав гримаску, спросила, глядя на Долинского:

– Зачем эта мумия тут торчит?

– Он все сидел... и как удивительно он спит!

– Еще упадет и перепугает.

– Бедняжка! Три ночи он совсем не ложился.

– Спасибо ему, – отвечала тихо Дора.

– Да, преуморительный; сегодня встал, чтобы дать тебе лекарства, налил и сам всю целую ложку со сна и выпил.

Анна Михайловна беззвучно рассмеялась.

– Мирское челобитье в лубочке связанное, – проговорила, глядя на Долинского, Дора.

– Голубиное сердце, – добавила Анна Михайловна. В другой раз Даше все казалось, что о ней никто не

хочет позаботиться, что ее все бросили.

Анна Михайловна не отходила от сестры ни на минуту. В магазине всем распорядилась m-lle Alexandrine, и там все шло капром да в кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого внимания. Она выходила из комнаты сестры только в сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочем, они всегда сидели вместе. Анна Михайловна работала в ногах у сестры, а Нестор Игнатьевич читал вслух какую-нибудь книгу. Больная лежала и смотрела на них, иногда слушая, иногда далеко летая от того, о чем рассказывал автор.

Настал канун Вербного воскресенья. В этот вечер в магазине никого не было. Мастерицы разошлись, девочки спали на своих постельках. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновению, заготавливала на живую нитку разные работы. Она очень спешила, потому что заказов к празднику было множество. Нестор Игнатьевич сидел за тем же столиком возле Анны Михайловны и правил какие-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологом не было слышно даже ее тихого дыхания. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьем стального пера да щелканьем иглы, прокалывавшей крепкую шелковую материю, больная начала что-то нашептывать.

Нестор Игнатьевич и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнее и внятнее. Наконец, она произнесла совершенно внятно:

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

– Господи! Как глупо так умереть.

– Она бредит? – спросил шепотом Долинский.

– Должно быть, – шепотом же отвечала ему Анна

Михайловна.

– Что вы там все шепчетесь? – тихо проговорила

больная.

– Что ты, Даша? – спросила ее Анна Михайловна, как будто не расслышав ее вопроса.

– Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или как над покойником.

– Бог знает что тебе все приходит в голову! Нам просто показалось, что ты бредишь; мы не хотели тебя разбудить.

– Нет, я не брежу; я не спала. Откройте мне занавес, – сказала Даша, ударив рукой по пологу. Долинский встал и откинул половину полога.

– Все, все отбросьте, вот так! – сказала больная. – Ну, говорите теперь, – добавила она, оправив на себе кофту.

– О чем прикажете говорить, Дарья Михайловна? – спросил Нестор Игнатьевич.

– Не умеете говорить! Ну, прочитайте мне что-нибудь Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробик ребенку, ужин отцу» прочтите.

Долинский знал, что Даша любила в Некрасове, и знал, что чтение этих любимых вещей очень сильно ее волновало и вредило ее здоровью.

– Некрасова-то нет дома, – отвечал он.

– Куда же это он уехал?

– Я его дал одному знакомому.

– Все врет! Как вы все без меня изоврались! – говорила Даша, улыбаясь через силу, – а особенно вы и Анна. Что ни ступите, то солжете. Ну, вот читайте мне Лермонтова—я его никому не отдала, – и Даша, достав из-под подушки роскошно переплетенное издание стихотворений Лермонтова, подала его Долинскому.

– «Мцыри», – сказала Даша. Нестор Игнатьевич прочел «Мцыри».

– «Боярин Орша», – сказала больная снова, когда Долинский дочитал «Мцыри».

Он прочел «Боярина Оршу», а она ему заказывала

новое чтение. Так прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для детей» и, наконец, несколько глав из «Демона».

– Ну, довольно, – сказала Даша. – Хорошенького понемножку. Дайте-ка мне мою книгу.

Долинский подал ей книжку; она вложила ее в футляр и сунула под подушку. Долго-долго смотрела она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмяглые губки и вдруг совершенно спокойным голосом сказала:

– Поцелуйтесь, пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и с упреком сказала:

– Что ты это говоришь, Даша?

– Что ж я сказала? Я сказала: поцелуйтесь, пожалуйста.

Долинскому и Анне Михайловне было до крайности неловко, и они оба не находили слов.

– Что ты, с ума сошла, Дора! – могла только проронить Анна Михайловна.

– Какие вы смешные! – проговорила, улыбаясь, больная. – Ведь вы же любите друг друга!

– Что вы это говорите? Что вы говорите! – повторял с упреком переконфуженный Долинский, глядя на еще более сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась к стене, не удостоив этих

упреков ни малейшего внимания и, помолчав с мину-
ту, опять сказала:

– Да поцелуйтесь, что ли! Мне так хочется видеть,
как вы любите друг друга.

– Даша! Тебе верно хотелось видеть, как я плачу,
так ты как нельзя лучше этого достигла, – сказала
вполголоса Анна Михайловна – и, сбросив с колен ра-
боту, быстро вышла из комнаты. Слезы текли у нее по
обеим щекам.

Долинский посмотрел ей вслед и остался молча на
своем месте.

– Вот чудачки! – тихо заговорила Дора и начала до-
садливо кусать губки. Это означало, что Даша одина-
ково недовольна и другими, и сама собой.

– Смешно! – воскликнула она через минуту с тою
же досадой и с явным желанием вызвать на разговор
Долинского.

– Да, кошке игрушки, а мышке слезки, – ответил, не
поднимая глаз от бумаги, Долинский. Даша вспыхну-
ла.

– Э! Уж хоть вы, по крайней мере, перестаньте, по-
жалуйста, комонничать! – крикнула она запальчиво на
Долинского.

– Что такое значит *комонничать*? Извините, пожа-
луйста, я даже слова такого не знаю, – отвечал сухо
Долинский.

– Русское слово.

– Никогда не слышал в моей жизни.

– Мало ли чего вы еще не слышали в вашей жизни! В

это время в комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно села за свою работу. Глаза у нее были заплаканы.

Дора посмотрела на сестру, слегка поморщила свой лоб и попросила ее переложить себе подушки.

– Ну, а теперь уйдите от меня, – сказала она не оправившись от смущения голосом сестре и Долинскому.

– Я останусь с тобою, – отвечала ей Анна Михайловна.

– Нет, нет! Идите оба: «мне вид ваш ненавистен», – тихо улыбаясь, шутила Дора. – Нет, в самом деле, мне хочется быть одной... спать хочется. Идите себе с богом.

Глава пятнадцатая

Присказка кончается и начинается сказка

На третий день праздника приехал доктор, поговорил с больной и, прописав ей малиновый сироп с какой-то невинной примесью, сказал Анне Михайловне, что в этом климате Даше остается жить очень недолго и что как последнее средство продлить ее дни, он советует немедленно повезти ее на юг, в Италию, в Ниццу.

– Природа нередко делает чудеса, – утешал он Анну Михайловну.

– А для нее, доктор, возможно еще такое чудо?

– Отчего нет? Природа чародейка, ее аптека всем богата.

– Как же это сделать? – спрашивала Анна Михайловна Долинского.

– Надо ехать в Ниццу.

– Да не то, что надо. Об этом уж и говорить нечего, что надо; а как ее везть? Как ее уговорить ехать?

– В самом деле: кто же ее повезет? Кому с нею ехать?

– Или мне, или вам. Об этом после подумаем. Без

меня тут все стало – да это бог с ними, пусть все пропадет; а как ее приготовить?

– Хотите, я попробую? – вызвался Долинский.

– Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтоб не перепугать ее. Она все-таки еще, может быть, не знает, что ей так худо.

– Лучше вместе, заведем разговор сегодня вечером.

– И прекрасно.

Но вечером они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третий, и на десятый вечер. Все смелости у них недоставало. Даше, между тем, стало как будто полегче. Она вставала с постели и ходила по комнате. Доктор был еще два раза, торопил отправлением больной в Италию и подтрунивал над нерешимостью Анны Михайловны. Приехав в третий раз, он сказал, что решительно весны упускать нельзя и, поговорив с больной в очень удобную минуту, сказал ей:

– Вы теперь, слава богу, уж гораздо крепче, *meille Dorothee*; вам бы очень хорошо было теперь проехаться на юг. Это бы вас совсем оживило и рассеяло.

Больная посмотрела на него долгим, пристальным взглядом и сказала:

– Что ж, я не против этого.

– Так и поезжайте.

– Это не от меня зависит, доктор. Надо знать, как сестра, или, лучше, как ее средства.

– Сестра ваша совершенно согласна на эту поездку.

– Вы с ней разве говорили?

– О! Да. Давно, несколько дней назад говорил.

– Что ж это они мне ни слова не сказали! Все боятся, что умру, – добавила она с грустной улыбкой.

– Они вас очень любят.

– Очень любят, – подтвердила задумчиво больная.

– Так вы поедете? – спросил ее снова доктор.

– Пусть везут, пусть везут. Пусть что хотят со мной делают: только пожить бы немножко.

– Поживете! – отвечал доктор спокойно, берясь за шляпу.

– Немножко?

Доктор протянул ей руку и, не отвечая на вопрос, сказал:

– Так до свидания, m-lle Dorothee!

Даша удержала его руку и опять спросила его:

– Так немножко?

– Что немножко?

– Поживу-то?

– Поживете, поживете, – отвечал доктор, чтобы что-нибудь отвечать.

– Ну, а не хотите сказать правды, так и бог с вами, –

сказала Даша. – Заезжайте ж хоть проститься.

– Непременно.

– То-то; а то ведь, пожалуй, уж не увидимся до радостного утра.

Доктор ушел, а Даша позвала сестру, попеняла ей за нерешительность и объявила, что она с большим удовольствием готова ехать в Италию.

Поездка была отложена до первого дня, когда доктор найдет Дашу способной выдержать дорогу. Из аптеки ей приносили всякий день укрепляющие лекарства, а Анна Михайловна, собирая ее белье, платье, все осматривала, поправляла и укладывала в особый ящик.

– Золотая ты моя! Точно она меня замуж снаряжает, – говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила из своей комнаты, но доктор надеялся, что она на днях же будет в состоянии выехать за границу. Вечером в тот день, когда доктор высказал свое мнение, Анна Михайловна сидела у конца письменного стола в комнате Нестора Игнатьевича. Она сводила счета и беспрестанно над ними задумывалась. Денег было мало. Дашина болезнь и зашедшие во время этой болезни беспорядки серьезно расстроили дела Анны Михайловны, державшиеся только ее неусыпными заботами и бережливостью.

– Ну, что? – спросил Долинский, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итог.

– Плохо, – улыбаясь, ответила Анна Михайловна.

– Сколько же?

– Всего в сборе около тысячи рублей, около двух тысяч в долгах; тех теперь и думать нечего собрать. Из тысячи, четыреста сейчас надо отдать, рублей триста надо здесь на месяц...

В это время за дверью кто-то запел медведя, как поют его маленькие дети, когда они думают кого-нибудь испугать:

Я скрипу-скрипу медведь,
Я на липовой ноге,
В сафьяном сапоге.

– Кто бы это? – сказали в один голос оба, и Долинский пошел к двери.

Не успел он взяться за ручку, как дверь сама отворилась и ему предстала Дорушка, в белом пеньюаре и в больших теплых вязаных сапогах. В одной руке она держала свечку, а другою опиралась на палочку.

– Дарья Михайловна, что вы это делаете? – вскрикнул Нестор Игнатьевич. – Ведь вам еще не позволено выходить.

– Молчите, молчите, – запыхавшись и грозя пальчиком, отвечала Даша. – После будете рассуждать, а теперь давайте-ка мне поскорее кресло. Да не туда, а вон к камину. Ну, вот так. Теперь подбросьте побольше

угля и одените меня чем-нибудь тёплым – я все зябну.

Нестор Игнатьевич поставил Даше под ноги скамейку, набросал в камин из корзины нового кокса, а Анна Михайловна взяла с дивана беличий халат Долинского и одела им больную.

– Ишь, какой он нежоха! Какой у него халатик мягенький, – говорила Даша, проводя ручкой по нежному беличьему меху. – И как тут все хорошо! И в мастерской так хорошо, и везде... везде будто как все новое стало. Как я вылежалась-то, боже мой, руки-то, руки-то, посмотрите, Нестор Игнатьич? Видите? – спросила она, поставив свои ладони против камина. – Насквозь светятся.

– Поправитесь, Дорушка, – сказал Долинский.

– А?

– Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

– Да, поправлюсь.

– Чего ты на меня так смотришь? – спросила она сестру, которая забылась и не умела скрыть всего страдания, отразившегося в ее глазах, устремленных на угасающую Дашу. – Не смотри так, пожалуйста, Аня, это мне неприятно.

– Я так, Даша, задумалась.

– О чем тебе думать?

– Так, о делах. Вышла маленькая пауза.

– Сколько я в нынешнем году заработала? – проговорила Даша, глядя на огонь. – Рублей двадцать?

– Что это тебе вздумалось, Даша?

– А на лечение мое, я думаю, бог знает сколько вышло?

– Да я не считала, Даша, и что это тебе приходит в голову.

– Нет, ничего, я так это.

– Даша, Даша, как тебе не грешно, за что ты меня обижаешь? Неужто ты думаешь, что мне жаль для тебя денег?

– Кто ж думает, что тебе жаль? Я только думаю. есть ли у тебя чего жалеть, покажите-ка мне, что вы считали?

Анна Михайловна подала Даше исписанную карандашом бумажку.

– Что ж это значит, денег почти что нет! – сказал? Даша, положив счет на колени.

– Есть около четырехсот на поездку, – отвечала Анн? Михайловна.

– Около семисот, потому что у меня есть триста.

– Вам же надо высылать их? Долинский поморщился и отвечал:

– Нет, не надо.

– Как же не надо, когда надо?

– Надо высылать еще через пять месяцев.

– Куда ему высылать нужно? – спросила Даша, смотря в камин прищуренными глазками.

Ей никто не отвечал. Нестор Игнатьевич стоял у печи, заложив назад руки, а сестра разглаживала ногтем какую-то ни к чему не годную бумажку.

– А, это пенсия за беспорочную службу той барыне, которая все любит *очень*, а деньги больше всего, – сказала, подумав, Дора, – хоть бы перед смертью посмотреть на эту особу; полтинник бы, кажется, при всей нынешней бедности заплатила.

– Дорушка, – вполголоса проговорила Анна Михайловна.

– Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинского. Долинский слышал слово от слова все, что сказала Даша насчет его жены, и сердце его не сжалось той мучительной болью, которой оно сжималось прежде, при каждом касающемся ее слове. Теперь при этом разговоре он оставался совершенно покойным.

– А вы вот о чем, Дорушка, поговорите лучше, – сказал он, – кому с вами ехать?

– В самом деле, мы все толкуем обо всем, а не решим, кому с тобой ехать, Даша.

– Ведь паспорта нужно взять, – заметил Нестор Игнатьевич.

– Киньте жребий, кому выпадет это счастье, – шутила Дора. – Тебе, сестра, будет очень трудно уехать. Alexandrine твоя, что называется, пустельга чистая. Тебе положиться не на кого. Все тут без тебя в разор пойдет. Помнишь, как тогда, когда мы были в Париже. Так тогда всего на каких-нибудь три месяца уезжали и в глухую пору, а теперь... Нет, тебе никак нельзя ехать со мной.

– Да это что! Пусть идет как пойдет.

– За эту готовность целую твою ручку, только ведь и там без денег макарон не дадут, а денег без тебя брать неоткуда.

Все задумались.

– Верно уж съездите вы с нею, – сказала Анна Михайловна, обращаясь к Долинскому.

– Вы знаете, что я никогда не думал отказываться от услуг Дорушке.

– Поедьте, мой милый! – сказала Даша, обернув к нему свое милое личико и протянув руку.

Долинский скоро подошел к креслу больной, поцеловал ее руку и отвечал:

– Поедьте, поедьте, Дорушка. Я только боюсь, сумею ли я вас успокоить!

– Вы не боитесь чахотки? – спросила Даша, едва удерживая своими длинными ресницами слезы, наполнившие ее глаза.

– Нет, не боюсь, – отвечал Долинский.

– Ну, так дайте, я вас поцелую. – Она взяла руками его голову и крепко поцеловала его в губы.

– Женщины отсюда брать не надо. Мы везде найдем женскую прислугу, – соображал Нестор Игнатьевич.

– Не надо, не надо, – говорила Даша, махая рукой, – ничего не надо. Мы будем жить экономно в двух комнатах. Можно там найти квартиру в две комнаты и невысоко?

– Можно.

– Ну, вы будете работать, пишете корреспонденции, начинайте другую повесть. Говорят, за границей хорошо писать о родине. Мне кажется, что это правда. Никогда родина так не мила, как тогда, когда ее не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встает и рисуется в памяти. Будете мне читать, что напишете; будем мараить, поправлять. А я буду лечиться, гулять, дышать теплым воздухом, смотреть на голубое небо, спать под горячим солнцем. Ах, вот я уж, право, как будто чувствую, кажется, как я там согреюсь, как прилетит в мою грудь струя нового, ласкового воздуха. Да скорей, скорей уж, что ли, везите меня с этого «милого севера в сторону южную».

Глава шестнадцатая

Дело темной ночи

Через три дня все было готово и на завтра назначен выезд. Вечером пили чай в комнате Даши. О чтении никто не думал, но все молчали, как это часто бывает перед разлукою у людей, которые на прощанье много-много чего-то хотели бы сказать друг другу и не могут; мысли рассыпаются, разговор не вяжется. Они или не говорят вовсе, стараясь *насмотреться* друг на друга, или говорят о пустяках, о вздорах, об изломанной ножке у кресла, словом обо всем, кроме того, о чем бы им хотелось и следовало говорить. Только опытное, искусенное жизнью ухо сумеет иногда подслушать в небрежно оброненном слове таких разговоров целую идею, целую цепь идей, толпящихся в голове человека, обронившего это слово. В комнате у Даши пробовали было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

– Пишите чаще, – говорила Анна Михайловна, положив свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мешая давно остывший стакан чаю.

– Будем писать, – отвечал Долинский.

– Не ленитесь, пожалуйста.

– Я буду писать аккуратно всякую неделю.

– Ты наблюдай за ним, Даша.

– За Дорушкой за самой нужно наблюдать, – отвечал, смеясь, Долинский.

– Ну, и наблюдайте друг за другом, а главное дело, Нестор Игнатьич... то, что это я хотела сказать?.. Да, берегите, бога ради, Дору. Старайтесь, чтоб она не скучала, развлекайте ее...

Разговор опять прервался. Рано разошлись по своим комнатам. Завтра, в восемь часов, нужно было ехать, и Дашу раньше уложили в постель, чтоб она выспалась хорошенько, чтоб в силах была провести целый день в дороге.

Долинский тоже лег в постель, но как было еще довольно рано, то он не спал и просматривал новую книжку. Прошел час или два. Вдруг дверь из коридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинский опустил книгу на одеяло и внимательно посмотрел из-под ладони.

В его первой комнате быстро мелькнула белая фигура. Долинский приподнялся на локоть. Что это такое? Спрашивал он себя, не зная, что подумать. На пороге его спальни показалась Анна Михайловна. Она была в белом ночном пеньюаре, но голова ее еще не была убрана по ночному. При первом взгляде на ее лицо видно было, что она находится в сильнейшем волнении, с которым никак не может справиться.

– Что вы? Что с вами? – спрашивал, пораженный ее посещением и ее расстроенным видом Долинский.

– Ах, боже мой! – ответила Анна Михайловна, отчаянно заломив руки.

– Да что же такое? Что? – допрашивался Долинский.

– Ах, не знаю, не знаю... я сама не знаю, – проговорила со слезами на глазах Анна Михайловна. – Я... ничего... не знаю, зачем это я хожу... Зачем я сюда пришла? – добавила она со страданием на лице и в голосе, и, опустившись, села в ногах Долинского и заплакала.

– О чем? О чем вы плачете? – упрасивал ее Долинский, дрожа сам и целуя с участием ее руки.

– Не знаю сама; я сама не знаю, о чем я плачу, – тихо отвечала Анна Михайловна и, спустя одну короткую секунду, вдруг вздрогнула – страстно его обняла, и Долинский почувствовал на своих устах и влажное, и горячее прикосновение какого-то жгучего яда.

– Слушай! – заговорила страстным шепотом Анна Михайловна. – Я не могу... Ты никого не люби, кроме меня... потому что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинский дрожащею рукой обнял ее за талию.

– Тебя одну, всегда, весь век, – прошептал он сохнувшим языком.

– Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду, –

лепетала Анна Михайловна, страстно целуя его в глаза, щеки и губы. – Я буду еще больше любить тебя! – добавила она с истерической дрожью в голосе и, как мокрый вьюн, выскользнула из рук Долинского и пропала в черной темноте ночи.

Глава семнадцатая

Опять ничего не видно

Извозчичья карета, нанятая с вечера, приехала в семь часов утром. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась к самовару, то бралась помогать девушке одевать сестру, то входила в комнату Долинского. Взойдет, посмотрит по сторонам, как будто она что-то забыла, и опять выйдет.

– Как тебе не стыдно так тревожиться! – говорил Долинский, взглянув на нее, и покачал головой.

– Ах! Не говори ничего, бога ради, – отвечала Анна Михайловна и, махнув рукой, опять вышла из его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Девушки вынесли извозчику два чемодана и картонку. Даша целовала девушек и особенно свою «маленькую команду». Все плакали. Анна Михайловна стояла молча, бледная, как мраморная статуя.

– Прощай, сестра! – сказала наконец, подойдя к ней, Даша.

– Прощай, – тихо проговорила Анна Михайловна и начала крестить Дашу. – Лечись, выздоравливай, возвращайся скорей, – говорила она, целуя сестру за каждым словом.

Сестры долго целовались, плакали и наконец поцеловали друг у друга руки.

Нестор Игнатьевич подошел и тоже поцеловал ее руку. Он не знал, как ему проститься с нею при окружавших их девушках.

– Дайте, я вас перекрещу, – сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы и, положив рукою символическое знаменье на его лице, спокойно взяла его руками за голову и поцеловала. Губы ее были холодны, на ресницах блестели слезы.

Даша вошла первая в карету, за ней села Анна Михайловна, а потом Долинский с дорожной сумкой через плечо.

Девушки стояли у дверец с заплаканными глазами и говорили:

– Прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Нестор Игнатьич. Ворочайтесь скорее.

Девочки плакали, заложа ручонки под бумажные шейные платочки, и, отирая по временам слезы уголками этих же платочков, ничего не говорили.

Извозчику велели ехать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, девушки еще раз крикнули: «Прощайте!»—а Даша, высунувшись из окна, еще раз перекрестила в воздухе девочек, и экипаж завернул за угол.

На станцию приехали вовремя. Долинский отпра-

вился к кассе купить билеты и сдать в багаж, а Анна Михайловна с Дашею уселись в уголке на диван в пассажирской комнате. Они обе молчали и обе страдали. На прекрасном лице Анны Михайловны это страдание отражалось спокойно; хорошенькое личико Даши болезненно подергивалось, и она кусала до крови свои губки.

Подошел Долинский и, укладывая в сумку билеты, сказал:

– Все готово. Остается всего пять минут, – добавил он после коротенькой паузы, взглянув на свои часы.

– Дайте мне свои руки, – тихо сказала Анна Михайловна сестре и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрела на путешественников и сказала:

– Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное: что бы ни случилось, все пишите мне.

– Пожалуйста садитесь! – крикнул кондуктор, отворяя двери на платформу.

Долинский взял саквояж в одну руку и подал Даше другую. Они вышли вместе, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили, и она остановилась против вагона, в который вошли Долинский с Дорой. Усевшись, они выглянули в окно. Анна Михайловна стояла прямо перед окном в двух шагах. Их разде-

лял барьер и узенький проход. В глазах Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнее, как часто успокаиваются люди в самую последнюю минуту разлуки.

– Смотри же, Даша, выздоравливай, – говорила она громко сестре.

– А ты не грусти, – отвечала ей Даша.

– Ворочайтесь оба скорее! Ах, Нестор Игнатьич! Я забыла спросить, что делать с письмами, которые будут приходить на ваше имя?

– Отвечай на них сама, – сказала Даша. Анна Михайловна засмеялась.

– Да, право! Что там такими пустяками нарушать наше спокойствие.

Раздался третий свисток, вагоны дернулись, покатились и исчезли в густом облаке серого пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойной – даже она сама не могла надивиться своему спокойствию. Она хлопотала в магазине, распорядилась работами, обедала вместе с m-lle Alexandrine, и только к вечеру, когда начало темнеть, ей стало скучнее. Она вошла в комнату Даши – пусто, вошла к Долинскому – тоже пусто. Присела на его кресле, и невыносимая тоска, словно как нежнейший друг, так и обняла ее из-за мягкой спинки. В глазах у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое детство!»—подумала она и поспешно отерла слезы.

Так просидела она здесь больше двух часов, молча, спокойно, не сводя глаз с окна, и ей все становилось скучнее и скучнее. Одиночество сухим чучелом выросло в холодном полумраке белесоватой полярной ночи, в которую смотришь не то как в день, не то как в ночь, а будто вот глядишь по какой-то обязанности в седую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла в кухню, позвала кухарку и девочек. С ними она отставила шкаф от дверей, соединявших ее комнату с комнатой Долинского, отставила комод от дверей, соединявших ее спальню со спальней Даши, отворила все эти двери и долго-долго ходила вдоль откывшейся анфилады.

Была уже совсем поздняя ночь. Луна светила во все окна, и Анне Михайловне не хотелось остаться ни в одной из трех комнат. Тут она лелеяла красавицу Дору и завивала ее локоны; тут он, со слезами в голосе, рассказывал ей о своей тоске, о сухом одиночестве; а тут... Сколько над собою выказано силы, сколько уважения к ней? Сколько времени чистый поток этой любви не мутился страстью, и... и зачем это он не мутился? *Зачем* он не замутился... И какой он... странный человек, право!..

Наконец далеко за полночь Анна Михайловна уста-

ла; ноги болели и голова тоже. Она поправила лампаду перед образом в комнате Даши и посмотрела на ее постельку, задернутую чистым, белым пологом, потом вошла к себе, бросила блузу, подобрала в ночной чепец свою черную косу и остановилась у своей постели. Очень скучно ей здесь показалось.

– Тоска! – произнесла про себя Анна Михайловна и прошла в комнату Долинского.

Здесь было так же пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диван и на свету тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшного, беспокойного, и в восемь часов утра она проснулась, держа у груди обнятую во сне подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дело. В комнатах Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все оставила в старом порядке. Казалось, что жильцы этих комнат только что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За беспрестанной работой она не замечала, как дни бежали за днями. Письма от Даши и Долинского начали приходить аккуратно, и Анна Михайловна была спокойна насчет путешественников.

Сама она никуда почти не выходила, и у нее никто почти не бывал иначе, как по делу. Только не забы-

вал Анну Михайловну один Илья Макарович Журавка, которого, впрочем, в этом доме никто и не считал гостем.

Часть вторая

Глава первая Маленький человек с просторным сердцем

В этом романе, как читатель мог легко видеть, судя по первой части, все будут люди очень маленькие – до такой степени маленькие, что автор считает своей обязанностью еще раз предупредить об этом читателя загодя. Пусть читатель не ожидает встретиться здесь ни с героями русского прогресса, ни со свирепыми ретроgrадами. В романе этом не будет ни уездных учителей, открывающих дешевые библиотеки для безграмотного народа, ни мужей, выдающих субсидии любовникам своих сбежавших жен, ни гвоздевых постелей, на которых как-то умеют спать образцовые люди, ни самодуров-отцов, специально занимающихся угнетением гениальных детей. Все это уже описано, описывается и, вероятно, еще всему этому пока не конец. Еще на днях новая книжка одного периодического журнала вынесла на свет повесть, где снова действует такой *организм*, который материнское

молоко чуть не отравило, который чуть не заporоли в училище, но который все-таки выкарабкался, открыл библиотеку и сейчас поскорее поседел, стал топить горе в водке и дал себе зарок не носить новых сапог, а всегда с заплатками. Благородный *организм* этот развивает женщин, говорит самые ехидные речи и все-таки сознает, что он пришел в свет не вовремя, что даже и при нем у знакомого этому *организму* лакея *насекомые* все-таки *могут отъесть голову*. Таковы были его речи.

Ни уездного учителя с библиотекой для безграмотного народа, ни седого в тридцать лет женского развивателя, ни образцового бессребреника, словом – ни одного гражданского героя здесь не будет; а будут люди со слабостями, *люди дурного воспитания*. И потому кто хочет слушать что-нибудь про тиранов или про героев, тому лучше далее не читать этого романа; а кто и за сим не утратит желания продолжать чтение, такого читателя я должен просить о небольшом внимании к маленькому человечку, о котором я непременно должен здесь кое-что порассказать.

Самый проникательный из моих читателей будет тот, который отгадает, что выступающий маленький человек есть не кто иной, как старый наш знакомый Илья Макарович Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы с художни-

ком по нашему рассказу, здесь будет нелишним сказать еще пару слов о его теплой личности. Илье Макаровичу Журавке было лет около тридцати пяти; он был белокур, с горбатым тонким носом, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и таким курьезным ротиком, что мало привычный к нему человек, глядя на собранные губки Ильи Макаровича, все ожидал, что он вот-вот сейчас свистнет.

Илья Макарович был чистый хохол до самой невозможной невозможности. Он не только не хотел зарабатывать нового карбованца, пока у него в кармане был еще хоть один старый, но даже при виде сала или колбасы способен был забывать о целом мире, и, чувствуя свою несостоятельность оторваться от съедаемого, говаривал: «а возьмить, будьтэ ласковы, або ковбасу от менэ, або менэ от ковбасы, а то або я зьим, або вона менэ зьист». Но несмотря на все чистокровное хохлачество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свет с самой белокурейшей немецкой физиономией. Физиономия эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его беспрестанно принимали за немца и начинали говорить с ним по-немецки, тогда как он относился к доброй немецкой расе с самым глубочайшим презрением и объяснялся по-немецки непозволительно гадко. Ходил по ост-

рову такой анекдот, что будто, работая что-то такое в Дрезденской галерее, Журавка хотел объяснить своему профессору несовершенства нарисованной где-то собаки и заговорил:

– Herr Professor... Hund...¹⁰

– Bitte sehr halten Sie mich nicht für einen Hund,¹¹ – отвечал профессор.

– Aber ist sehr schlechter Hund... Professor,¹² – поправлялся и выяснял Илья Макарович.

Снисходительное великодушие немецкого профессора иссякло; он поднял свой тевтонский клюв и произнес с важностью:

– Ich hore Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben Sie endlich, dass ich kein Hund bin!¹³

Илья Макарович покраснел, задвигал на носу свои очки и задумал было в тот же день уехать от немцев.

Но, на несчастье свое, этот маленький человек имел слабость, свойственную многим даже и очень великим людям: это—слабость подвергать свои решения, составленные в пылу негодования, долгому позднему раздумыванию и передумыванию.

¹⁰ Господин профессор... Собака (нем.)

¹¹ Очень прошу не считать меня собакой (нем.).

¹² Собака очень плохая профессор (нем.).

¹³ Вы меня в десятый раз называете собакой. Поймите же наконец, что я не собака! (нем.)

Очень многих людей это вредное обыкновение от одного тяжелого горя вело к другому, гораздо большему, и оно же сыграло презлую шутку с Ильёй Макаровичем.

Журавка, огорченный своим пассажем с немецким языком у профессора, прогулялся за город, напился где-то в форштадте пива и, успокоясь, возвращался домой с новой решимостью уже не ехать от немцев завтра же, а прежде еще докончить свою копию, и тогда тотчас же уехать с готовой работой. Идет этак Илья Макарович по улице, так сказать, несколько примиренный с немцами и успокоенный – а уж огни везде были зажжены, и видит – маленькая парикмахерская и сидит в этой парикмахерской прехорошенькая немочка. А Илья Макарович, хоть и не любил немцев, но белокуренькие немочки, с личиками Гретхен и с руками колбасниц нашей Гороховой улицы, все-таки дощупывались до его художественного сердца.

Журавка остановился под окном и смотрит, а Гретхен все сидит и делает частые штычки своей иголкой, да нет-нет и поднимет свою головку с русыми кудерками и голубыми глазками.

– Ах, ты шельменок ты этакой; какие у нее глазенки, – думает художник. – Отлично бы было посмотреть на нее ближе. – А как на тот грех, дверь из парикмахерской вдруг отворилась у Ильи Макаровича под са-

мым носом и высокий седой немец с физиономией королевско-прусского вахмистра высунулся и сердито спрашивает: «Was wollen Sie hier, mein Herr?»¹⁴

«Черт бы тебя побрал!» – подумал Журавка и вместо того, чтобы удирать, остановился с вопросом:

– Я полагаю, что здесь можно остричься? Илье Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что он, как художник, носил длинную гривку, составлявшую, до введения в Российской Империи нигилистической ереси, исключительную привилегию василеостровских художников. И нужно вам знать, что Илье Макарович так дорожил своими лохмами, что не расстался бы ни с одним вершком их ни за какие крендели; берег их как невеста свою девичью честь.

Но не бежать же было в самом деле Илье Макаровичу от немца! Во-первых, это ему показалось нечестным (проклятая щепетильность); во-вторых, ведь и черт его знает, чем такой вахмистр может швырнуть вдогонку.

– Черт его возьми совсем! – подстригусь немножко. Немножко только – совсем немножко, этвас... бисхен, – лепетал он заискивающим снисхождения голосом, идучи вслед за немцем и уставляясь глазами на Гретхен.

¹⁴ Что вам здесь нужно, сударь? (нем.).

Немец посадил Илью Макаровича так, что он не мог вполне наслаждаться созерцанием своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

– Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zuschneiden, mein Herr?¹⁵ – спросил пунктуальный немец.

– Ja, bitte,¹⁶ – твердо ответил Илья Макарович, не сводя глаз с шьющей Гретхен.

– Nichts über den Kamm soll bleiben?¹⁷ – спросил немец снова.

Илья Макарович не понял и сильно сконфузился: не хотелось ему сознаться в этом при Гретхен.

– Ja,¹⁸ —отвечал он наугад, чтоб отвязаться.

– Oder nichts für den Kamm?¹⁹ – пристает опять вах-мистр, не приступая к своей работе.

«Черт его знает, что это такое значит», – подумал Журавка, чувствуя, что его всего бросило в краску и на лбу выступает пот.

– Ja,²⁰ – махнул он на смелость.

– Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?²¹

¹⁵ Как прикажете вас подстричь, сударь? (нем.).

¹⁶ Да, пожалуйста (нем.).

¹⁷ Вас покороче? (нем.).

¹⁸ Да (нем.).

¹⁹ Или подлиннее? (нем.).

²⁰ Да (нем.).

²¹ Так покороче или подлиннее? (нем.)

«Oder» и «oder».²² показали Илье Макаровичу, что тут одним «ja» не отделаешься.

«Была, не была», – подумал он и смело повторил последнюю часть немецкой фразы: «Nichts fur den Kamm!»²³

Немец откашлянулся и с особенным чувством, с треском высморкался в синий бумажный платок гамбургского изготовления и приятельским тоном дорфбарбира произнес:

– Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden²⁴

По успокоительному тону, которым были произнесены эти слова, Илья Макарович сообразил, что лингвистическая пытка его кончается. Он с одобряющей миной отвечал твердо: – Recht wohl!²⁵ – и, ничем не смущаемый, начал опять любоваться своей Далилой.

Да, это была новая Далила, глядя на которую наш Сампсон не замечал, как жречески священнодействовавший немец прибрал его ganz akkurat до самого черепа. Илья Макарович все смотрел на свою Гретхен и не замечал, что ножницы ее отца снесли с его головы всю его художественную красу. Когда Журавка взглянул в стоявшее перед ним зеркало, он даже не ахнул,

²² Или (нем.)

²³ Покороче (нем.).

²⁴ Я вас очень аккуратно подстригу (нем.)

²⁵ Вот и ладно! (нем.)

но только присел книзу. Он был острижен под щетку, так что если бы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковке, то за стеною можно бы подумывать, что немец поцеловал его в темя.

— Sehr hupsch! Sehr akkurat!²⁶ — произнес немец, окончив свое жреческое священнодействие и отходя полюбоваться издали своей работой.

Илья Макарович встал, заплатил белокурой Далиле пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертелась на его оголенной голове и беспрестанно напоминала ей о ее неслыханном в василеостровской академии позоре.

— Нет, я вижу, нечего тут с этими чертями делать! — решил Илья Макарович, и на другой же день бросил свою копию и уехал от немцев в Италию, но уехал, — увы! — не с художественной гривкой, а с форменной стрижкой прусского рекрута.

Бедный Илья Макарович стыдился убежать от немца, а должен был более полугода бесстыдно лгать, что у него было воспаление мозга.

Характер у Ильи Макаровича был необыкновенно живой и непостоянный; легкость в мыслях, как говорил Хлестаков, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и доброта безграничная. Илья Макарович выше всего на свете ставил дружбу и това-

²⁶ Очень красиво! Очень аккуратно! (нем.).

рищество. Для друга и товарища он был готов идти в огонь и в воду. Однако Илья Макарович был очень обидчив, и только одна Дора владела секретом рас-
трунивать его, соблюдая меру, чтобы не переходить его терпения. От других же Илья Макарович всем очень скоро и очень легко обижался, но сердился редко и обыкновенно довольно жалостным тоном говорил только:

– Ну, да, да, я знаю, что я смешон: но есть люди и смешней меня, да над ними не смеются.

В жизни он был довольно смешной человек. По суетливости и легкости в мыслях он, например, вдруг воображал себя механиком и тут в его квартире сейчас же появлялся верстак, чертежи, циркуля; потом, словно по какому-то волшебному мановению, все это вдруг исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьем, английский штуцер за штуцером, старинный самопал и, наконец, барочная, медная пушка. Обзаводясь этим арсеналом, Илья Макарович воображал себя Дирслейером или Ласкаро. Как зачарованный швабский поэт, сидел он, скорчась мопсом, чистил и смазывал свои смертоносные оружия, лил из свинца разнокалиберные пули и все собирался на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочем, оканчивались всегда пальбою в цель на Смоленском поле или подстреливанием ворон, печально скитаю-

щихся по заживо умершим деревьям, которые торчат за смоленским кладбищем. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно перед другим, то повышение в чинах, то понижение.

– Это подлое ружьенко, – говорил он насчет какого-нибудь ружья, к которому начал иметь личность за то, что не умел пригнать пуль к его калибру – и опальное ружье тотчас теряло тесменный погон и презрительно ставилось в угол.

Илья Макарович кипятился непомерно и ругался с ружьенком на чем свет стоит.

– А этот штуцеришко бардзо добрый! – весь сияя отзывался он в другой раз о штуцере, механизм которого дался ему разгадать себя с первого раза.

И добрый штуцеришко внезапно же получал красивую полосу экипажного басона и вешался на стене над кроватью Ильи Макаровича.

Раз Илья Макарович купил случайно пару орлов и одного коршуна и решил заняться приручением хищных птиц. Птицы были посажены в железную клетку и приручение их началось с того, что коршун разодрал Илье Макаровичу руку. Вследствие этого несчастного обстоятельства, Илья Макарович возымел к коршуну такую же личность, какую он имел к своему ружью, и все приручение ограничивалось тем, что он не оказывал никакого внимания своим орлам,

но зато коршуна раза три в день принимался толкать линейкой.

– Нет, она понимает, подлая птица, – говорил он людям, увещевавшим его прекратить бесполезную личность к коршуну. – О! О! Видите, як туляется, подлец, по клетке! – указывал он на бедную птицу, которая искала какого-нибудь убежища от преследующей ее линейки.

В Италии Илья Макарович обзавелся итальянкой, m-lle Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявших ему в итальянках каких-то особенных, художественных существ. Не прошло года, как Илья Макарович возымел некоторую личность и против своей Луизы; но с Луизой было не так легко справиться, как с ружьем или с коршуном. Илья Макарович было заегозился, только вскоре осел и замолк. Синьора Луиза была высока; изжелта-смугла, с очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характер у нее был смелый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавших семейный быт Журавки, во всех домашних неприятностях более обвиняли синьору Луизу, но в существе и синьора Луиза никак не могла ужиться в ладу с Ильею Макаровичем. В ладу с ним могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умела бы не плесть всякое лыко в строку и проходить

мимо его смешных сторон с веселой шуткой, а не с высокомерной доктриной и не ядовитым шипением. Конечно, синьоре Луизе бывало не очень весело, когда Илья Макарович последний рубль, нужный завтра на базар, употреблял на покупку орлов да коршунов, или вдруг, ни уха ни рыла не смысля в музыке, обзаводился скрипкой и начинал нарезать на ней лазаревские концерты; но все же она слишком обижала художника и неделикатно стесняла его свободу. По крайней мере, она делала это так, как нравственно развитая и умная женщина ни за что бы не сделала.

– Над Ильею Макаровичем нельзя иногда не смеяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно, – говорила Дора, когда заходила речь о художнике.

Синьора Луиза недолюбливала ни Анну Михайловну, к которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться от самого веселого смеха, когда итальянка с отчаянием рассказывала о каком-нибудь новом сумасбродстве Ильи Макаровича. Не смеяться над этими рассказами точно было невозможно, и Дора не находила ничего ужасного в том, что Илья Макарович, например, являлся домой с каким-нибудь трехрублевым полированным столиком; два или три дня он обдувал, обтирал этот столик, не позволяя к нему ни притраги-

ваться, ни положить на него что-нибудь – и вдруг этот же самый столик попадал в немилость: Илья Макарович вытаскивал его в переднюю, ставил на нем сушить свои калоши или начинал стругать на нем разные палки и палочки. Дора сама была раз свидетельницей, как Илья Макарович оштрафовал своего грудного ребенка. Ребенок захотел груди и в отсутствии синьоры Луизы раскричался, что называется, благим матом. Илья Макарович урезонивал его тихо, потом стал кипятиться, начал угрожать ему розгами и вдруг, вынув его из колыбели, положил на подушке в угол.

Даша расхохоталась.

– Нет, его надо проучить, – оправдывался художник. – О! О! О! Вот-вот, видите! Нет, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимает, – говорил он Доре, когда ребенок замолчал, уставя удивленные глазки в пестрый карниз комнаты.

Дора взяла наказанного ребенка и положила обратно в колыбель, и никогда не переставала преследовать Илью Макаровича этим его обдуманном поступком.

Более всего у Ильи Макаровича стычки происходили за детей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремление заниматься воспитанием своего потомства, и тотчас двухлетняя девочка определялась к растиранию красок, трехлетний сын пла-

вил свинец и должен был отливать пули или изучать механизм доброго штуцера; но синьора Луиза поднимала бунт и воспитание детей немедленно же прекращалось.

Илья Макарович в качестве василеостровского художника также не прочь был выпить в приятельской беседе и не прочь попотчевать приятелей чем бог послал дома, но синьора Луиза смотрела на все это искоса и делала Илье Макаровичу сцены немилосердные. Такой решительной политикой синьора Луиза, однако, вполне достигла только одного, чего обыкновенно легко достигают сварливые и ревнивые женщины. Илья Макарович совсем перестал ее любить, стал искусно скрывать от нее свои маленькие шалости, чаще начал бегать из дома и перестал хвалить итальянок. Детей своих он любил до сумасшествия и каждый год хоть по сто рублей клал для них в сохранную казну. Кроме того, он давно застраховал в трех тысячах рублен свою жизнь и тщательно вносил ежегодную премию.

На сердце и нрав Ильи Макаровича синьора Луиза не имела желаемого влияния. Он оставался по-прежнему беспардонно добрым «товарищеским» человеком, и все его знакомые очень любили его по-прежнему. Анну Михайловну и Дорушку он тоже по-прежнему считал своими первыми друзьями и готов был для

них хоть лечь в могилу. Илья Макарович всегда рвался услужить им, и не было такой услуги, на которую бы он не был готов, хотя бы эта услуга и далеко превосходила все его силы и возможность.

Этот-то Илья Макарович в целом многолюдном Петербурге оставался единственным человеком, который знал Анну Михайловну более, чем все другие, и имел право называться ее другом.

Глава вторая

Темные предчувствия

Был пыльный и душный вечер. Илья Макарович зашел к Анне Михайловне с синьорой Луизой и засиделись.

– Что это вы, Анна Михайловна, такие скупые стали? – спросил, поглядев на часы, художник.

– Чем, Илья Макарович, я стала скупа? – спросила Анна Михайловна.

– Да вот десять часов, а вы и водчонки не дадите.

– Que diu?²⁷

– спросила итальянка, строго взглянув глазами на своего сожителя.

Илья Макарович дмухнул два раза носом и пробурчал что-то с весьма решительным выражением.

– Вот срам! Какая я в самом деле невнимательная! – сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя к двери.

– Пойдите! Пойдите! – крикнул Илья Макарович. – Я ведь это так спросил. Если есть, так хорошо, а нет – и не нужно.

– Пойдите, я посмотрю в шкафу.

²⁷ Что такое? (итал.).

– Пойдемте вместе! – крикнул Илья Макарович и засеменил за Анной Михайловной.

В шкафу нашлось немного водки, в графинчике, который ставили на стол при Долинском.

– Вот и отлично, – сказал художник, – теперь бы кусочек чего-нибудь.

– Да вы идите в мою комнату – я велю туда подать что найдут.

– Нет, зачем хлопотать! Не надо! Не надо! Вот это что у вас в банке?

– Грибы.

– Маринованные! Отлично. Я вот грибочком закушу. Илья Макарович тут же, стоя у шкафа, выпил водочки и закусил грибочком.

– Хотите еще рюмочку? – сказала Анна Михайловна, держа в руках графин с остатком водки. – Пейте, чтоб уж зла не оставалось в доме.

Илья Макарович мыкнул в знак согласия и, показав через плечо рукою на дверь, за которой осталась его сожительница, покачал головой и помотал в воздухе пальцами.

Анна Михайловна рассмеялась, как умеют смеяться одни женщины, когда хотят, чтобы не слышали их смеха, и вылила в рюмку остаток водки.

– За здоровье отсутствующих! – возгласил Илья Макарович.

– Да пейте, бестолковый, скорей! – отвечала шепотом Анна Михайловна, тихонько толкнув художника под руку.

Журавка как будто спохватился и, разом вылив в рот рюмку, чуть было не поперхнулся.

– А грибочки бардзо добрые, – заговорил он, громко откашливаясь за каждым слогом.

Анна Михайловна, закрыв рот батистовым платком, смеялась от всей души, глядя на «свободного художника, потерявшего свободу».

– Ахтителные грибочки, – говорил Илья Макарович, входя в комнату, где оставалась его итальянка.

Синьора Луиза стояла у окна и смотрела на стену соседнего дома.

– Пора домой, – сказала она, не оборачиваясь.

– Ту минуту, ту минуту. Вот только сверну сигареточку, – отвечал художник, доставая из кармана табак и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи в карман своего платья и села.

– Чего вы торопитесь? – спросила она по-французски.

– Да вон, синьора приказывает, – отвечал по-русски и пожимая плечами Илья Макарович.

– Пора, дети скучать будут. Не улягутся без меня, – отвечала синьора Луиза.

– А что-то наш Несторушка теперь подделывает? – спросил Илья Макарович, которого две рюмчонки, видимо развеселили.

– А бог его знает, – вздохнув, отвечала Анна Михайловна.

– Теперь хорошо в Италии!

– Да, я думаю.

– А у нас-то какая дрянь! Бррр! Колорит-то! Колорит-то! Экая гадость. А едят они вам?

– Вот только десятый день что-то нет писем, и это меня очень тревожит.

– Не случилось ли чего с Дарьей Михайловной?

– Бог знает. Писали, что ей лучше, что она почти совсем здорова и ни на что не жалуется, а, впрочем, всего надумаешься.

– Не влюбился ли Несторушка в итальяночку какую? – посмеиваясь и потирая руки, сказал художник.

Анна Михайловна слегка смешалась, как человек, которого поймали на самой сокровенной мысли.

– Что ж, очень умно сделает. Пусть себе влюбляется хоть и не в итальянку, лишь бы был счастлив, – проговорила она с самым спокойным видом.

– Нет, Анна Михайловна! На свете нет лучше женщин, как наши русские, – сказал, вздохнув, Журавка.

– В самом деле? – спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

– Да, право! Где всем этим *тальянкам* до нашей, до русской! Наша русская как полюбит, так и пригреет, и приголубит, и пожалеет, а это все...

– Qua?²⁸ —спросила синьора Луиза, услышав несколько раз повторенное слово «итальянка».

– Квакай, матушка, – отвечал Илья Макарович, и без того недовольный тем, что его почти насильно уводят домой. – Научись говорить по-русски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась есть вместо апельсин, а говорить в пять лет не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! – добавил он, взяв шляпу и подав свернутую кренделем руку подруге своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Илье Макаровичу и поцеловала синьору Луизу, оскалившую при сем случае свои длинные зубы, закусившие русского маэстро.

– Колорит-то, колорит-то какой! – говорил Журавка, вертясь перед окном передней. – Буря, кажется, будет. Ему смерть не хотелось идти домой. Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

– Да, в одиннадцатой линии, как говаривал Нестор Игнатьич, того и гляди, что к ночи соберется буря.

– Да, сострил шельмец, чтоб ему самому вымокнуть.

– Будет с него, батюшка мой, и того, что было. Ита-

²⁸ Что? (итал.).

льянке наскучил этот разговор, и она незаметно толкнула Журавку локтем.

– Сейчас, матушка! – отвечал он и, обратись к Анне Михайловне, спросил – А что, барыня-то его бомбардирует?

– Нет, теперь, слава богу, не пишет – успокоилась. Анна Михайловна лгала.

– Экая егарма! – сказал Журавка, дмухнув носом.

– Вот вам и русская.

– Кой черт это русская! Вы вот русская, а это черт, а не русская.

– Идите уж, полно толковать, – сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и несколько раз еще толкнула локтем Журавку, который не замечал этого, слагая свой панегирик некогда сильно захаянной им русской женщине. – Идите, а то того и гляди, что гром грянет и перекреститься не успеете.

Журавка махнул рукой и потащил за двери свою сиеньору; а Анна Михайловна, проводив гостей, вошла в комнату Долинского, села у его стола, придвинула к себе его большую фотографию и сидела как окаменелая, не замечая, как белобрюхой, холодной жабой проползла над угрюмыми, каменными массаами столицы бесстыдно наглая, петербургская летняя ночь.

Часто Анне Михайловне выпадали такие ночи, и так тянулось до осени. Письма из-за границы начали при-

ходить все как-то реже. Сначала вместо двух писем в неделю Анна Михайловна стала получать по одному, а там письмо являлось только раз в две недели и даже еще реже. И все письма эти стали казаться Анне Михайловне как-то странными. Долинский извещал в них, что Дорушке лучше, что Дорушка совсем почти выздоровела, а там говорил что-то о хорошей итальянской природе, о русских за границей, а о себе никогда ни слова. Дорушка же только делала приписки под его письмами и то не всегда.

– Что это значит? – думала Анна Михайловна. – Дорушке лучше, Дорушка почти здорова и от Дорушки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинский забыл меня? Неужто они оба...

Анна Михайловна бледнела от своих догадок и ужасно страдала, но письма в Италию писала ровные, теплые, без горечи и упрека. Она не писала *им* ни чаще, ни реже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо в заграничный ящик. Иногда вся сила ее над собою истощалась; горячая натура брала верх над разумом. и Анна Михайловна хотела завтра же взять паспорт и лететь в Ниццу, но бессонная ночь проходила в размышлениях и утром Анна Михайловна говорила себе: зачем? к чему? Чему быть, тому уж не миновать, – прибавляла она в

раздумье.

Так все и ползло и лезло скучное время.

Глава третья

Шпилька

Перед Новым годом у Анны Михайловны была куча хлопот. От заказов некуда было деваться; мастерицы работали рук не покладывая; а Анна Михайловна немножко побледнела и сделалась еще интереснее. В темно-коричневом шерстяном платье, под самую шею, перетянутая по талии черным шелковым поясом, Анна Михайловна стояла в своем магазине с утра до ночи, и с утра до ночи можно было видеть на противоположном тротуаре не одного, так двух или трех зевак, любовавшихся ее фигурой.

– Если б я была хоть вполовину так хороша, как эта дура, – рассуждала с собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну, – что бы я только устроила... Tiens, oui! Oui... une petite maisonnette et tout ça.²⁹

Анна же Михайловна, разумеется, ко всем поклонениям своей красоте оставалась совершенно равнодушной.

Она держала себя с большим достоинством. С таким тактом встречала она своих то надменных, то

²⁹ Вот-вот! Маленький домик и все такое (франц.).

суетливых заказчиц, так ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушение бомонда потретировать модистку с высоты своего величия, что засмотреться на нее было можно.

В один из таких дней магазин Анны Михайловны был полон существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпеливо слушала пустые вопросы и отвечала на них со «вниманием, щадя пустое самолюбие и смешные претензии. В час в дверь вошел почтальон. Письмо было из-за границы; адрес надписан Дашею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre inimediatement,³⁰ — сказала Анна Михайловна.

— Oh! Je vous en prie, lisez! Faites moi la grace de lire,³¹ — отвечала ей гостья.

Анна Михайловна отошла к окну и поспешно разорвала конверт. Письмо все состояло из десяти строк, написанных Дашиной рукой: Дорушка поздравляла сестру с новым годом, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей с новым годом нового счастья. На сделанный когда-то Анной Михайловной вопрос: когда они думают возвратиться, Даша теперь коротко отвечала в *post scriptum*:

³⁰ Прошу прощения, я должна тотчас, прочесть это письмо (франц.).

³¹ Прошу вас, читайте! Окажите такую любезность (франц.).

„Возвращаться мы еще не думаем. Я хочу еще пожить тут. Не хлопочи о деньгах. Долинский получил за повесть, нам есть чем жить. В этом долге я надеюсь с ним счестся“.

Долинский только приписывал, что он здоров и что на днях будет писать больше. Этим давно уже он обыкновенно оканчивал свои коротенькие письма, но обещанных больших писем Анна Михайловна никогда „на днях“ не получала. Последнее письмо так поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положив его в карман, она подошла к оставленным ею покупательницам совершенно растерянная.

– Не от mademoiselle Доры ли? – спросила ее давняя заказчица.

– Да, от нее, – отвечала как могла спокойнее Анна Михайловна.

– Здорова она?

– Да, ей лучше.

– Скоро возвратится?

– Еще не собирается. Пусть живет там; там ей здоровее.

– О, да, это конечно. Россия и Италия—какое же сравнение? Но вам без нее большая потеря. Ты не можешь вообразить, chere Vera, – отнеслась дама к своей очень молоденькой спутнице, – какая это гени-

альная девушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкус, какая простота и отчетливость во всем, что бы она ни сделала, а ведь русская! Удивительные руки! Все в них как будто оживает, все изменяется. Вообще артистка.

– Где же она теперь? – спросила m-lle Vera.

– В Ницце, – отвечала Анна Михайловна.

– В Ницце?!

– Да, в Ницце.

– Я тоже провела это лето с матерью в Ницце.

– Это m-lle Vera Онучина, – назвала дама девушку.

Анна Михайловна поклонилась.

– Очень может быть, что я где-нибудь встречала там вашу сестру.

– Очень немудрено.

– С кем она там?

– С одним... нашим родственником.

– Если это не секрет, кто это такой?

– Долинский.

– Долинский, его зовут Нестор Игнатьевич?

– Да, его так зовут.

– Так он ей не муж?

– Нет. С какой стати?

– Он вам родственник?

– Да, – отвечала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и, чтобы отклонить ее от допроса, са-

ма спросила – Так вы знали... видели мою сестру у Ницце, вы ее знали там?

– Une tete d'or!³² Кто же ее не знает? Вся Ницца знает une tete d'or.

– Это, верно, ее там так прозвали?

– Да, ее все так зовут. Необыкновенно интересное лицо; она ни с кем не знакома, но ее все русские знают и никто ее иначе не называет, как une tete d'or. Мой брат познакомился где-то с Долинским, и он бывал у нас, а сестра ваша, кажется, совсем дикарка.

– Нну... это не совсем так, – произнесла Анна Михайловна и спросила:

– Здорова она на вид?

– Кажется; но что она прекрасна, это я могу вам сказать наверно, – отвечала, смеясь, незнакомая девушка.

– Да, она хороша, – сказала Анна Михайловна и рассеянно спросила – А господин Долинский часто бывал у вас?

– О, нет! Три или четыре раза за все лето, и то брат 'его затаскивал. У нас случилось много русских и Долинский был так любезен, прочел у нас свою новую повесть. А то, впрочем, и он тоже нигде не бывает. Они всегда вдвоем с вашей сестрой. Вместе бродят по окрестностям, вместе читают, вместе живут, вме-

³² Золотая голова! (франц.).

сте скрываются от всех глаз!.. кажется, вместе дышат одной грудью.

– Как я вам благодарна за этот рассказ! – проговорила Анна Михайловна, держась рукой за стол, за которым стояла.

– Мне самой очень приятно вспомнить обворожительную *tete d'or*. А знаете, я через месяц опять еду в Ниццу с моей маман. Может быть, хотите что-нибудь передать им?

– *Merci bien*.³³ Я им пишу часто. Светская дама со светской девицей вышли.

– Как она забавно менялась в лице, – заметила девица.

– Ну, да еще бы! Это ее *amant*..³⁴

– Я так и подумала. Какой оригинальный случай. Дамы засмеялись.

– Ив каком, однако, странном кружке вращаются эти господа! – пройдя несколько шагов, сказала *m-lle Vera*.

– И, та *chere*!³⁵ В каком же по-твоему кружке им должно вращаться?

– А он умен, – в раздумье продолжала девица.

– Мало ли, мой друг, умных людей на свете?

³³ Большое спасибо (франц.).

³⁴ Любовник (франц.)

³⁵ Моя дорогая (франц.).

– И довольно интересен, то есть я хотела сказать, довольно оригинален.

Дама взглянула на девицу и саркастически улыбнулась.

– Не настолько, однако, надеюсь, интересен, – пошутила она, – чтобы приснился во сне mademoiselle Вере.

– М-м-м... за сны свои, та chere Barbe, никто не отвечает, – отшутилась m-lle Вера, и они обе весело рассмеялись, встретились со знакомым гусаром и заговорили ни о чем.

Глава четвертая

Туманная даль близится и яснее

Как только дамы вышли из магазина, Анна Михайловна написала к Илье Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, в котором напечатана последняя повесть Долинского, и ждала его с нетерпением. Илья Макарович через два часа прибежал из своей одиннадцатой линии, немножко расстроенный и надутый, и принес с собою книжку.

– Что же это Несторка-то! – начал он, только входя в комнату.

– А что? – спросила Анна Михайловна, перелистывая с нетерпением повесть.

– И повести вам не прислал?

– Верно, у него у самого ее нет. Не скоро доходит за границу.

Илья Макарович заходил по комнате и все дмухал сердито носом.

– Читали вы повесть? – спросила Анна Михайловна.

– Читал, как же не прочесть? Читал.

– Хороша?

– Хорошую написал повесть.

– Ну, и слава богу.

– Денег он пропасть зарабатывает какую!

– Еще раз слава богу.

– А что, он вам пишет?

– Пишет, – медленно проговорила Анна Михайловна. Илья Макарович опять задмухал.

– Водчонки пропустить хотите? – спросила Анна Михайловна, не подымая глаз от книги.

– Нет, черт с ней! Чаишки разве; так от скуки – могу.

Анна Михайловна позвонила. Подали самовар.

– Вы на меня не в претензии? – спросила она Илью Макаровича.

– За что?

– Что я при вас читаю.

– Сделайте милость!

– Скучно без них ужасно, – сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

– И чего они там сидят?

– Для Даши.

Илья Макарович опять задмухал.

– Знаете, что я подозреваю? – сказал он. – Это у него все теперь эти *идеи* в голове бродят.

– Попали пальцем в небо.

Илья Макарович хотел употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.

– А вот что, Анна Михайловна! – сказал он, прой-

дьясь несколько раз по комнате и снова остановись перед хозяйкой, сидевшей за чайным столом над раскрытою книгою журнала.

– Что, Илья Макарович?

Художник долго смотрел ей в глаза и, наконец, с добродушной улыбкой произнес:

– Махну-ка я, Анна Михайловна, в Италию.

– Это же ради каких благ?

– Еще раз перед старостью небо теплое увидеть. Душу свою обогрею.

– Э, не сочиняйте-ка вздоров! У кого душа тепла, так везде она будет тепла, и под этим небом.

Илья Макарович не умел сказать обиняком то, что он думал.

– Их посмотрю, – сказал он прямо.

– Ну, и что ж будет?

Илья Макарович долго молчал, менялся в лице и моргал глазами.

– Обрезонить надо человека; вот что будет! – наконец вымолвил он с таинственным придыханием.

– Это вы Долинского хотите обрезонивать! Он не мальчик, Илья Макарович. Ему уже не двадцать лет, сам понимает, что делает.

– И ее, – еще тише продолжал художник.

– Ее?

Илья Макарович сделал самую строгую мину и кач-

нул в знак согласия головою.

– Дашу? – переспросила его Анна Михайловна.

– Ну, да.

– Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! – от-
вечала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

– Слово надо сказать; одно слово иногда заставля-
ет человека опомниться, – таинственно произнес ху-
дожник.

– Кому же это вы будете говорить, что вы будете
говорить, и по какому праву, наконец, Илья Макарыч?

– Право! С подлецом нечего разбирать прав!

– Пожалуйста, только не горячитесь.

– Нет-с, я не горячусь и не буду горячиться, а я толь-
ко хочу ему высказать все, что у меня накопело на
сердце, только и всего; и черт с ним после.

Анна Михайловна махнула рукой.

– Да и ей тоже-с. Воля милости ее, а пусть слушает.
А уж я наговорю!

– Даше?

– Да-с.

– О, Аркадия священная! Даже не слова человече-
ские, а если бы гром небесный упал перед нею, так
она... и на этот гром, я думаю, не обратила бы вни-
мания. Что тут слова, когда, видите, ей меня не жаль;
а ведь она меня любит! Нет, Илья Макарович, когда
сердце занялось пламенем, тут уж ничей разум и ни-

какие слова не помогут!

– Так что ж они о себе теперь думают! – грозно крикнул и привскочил с места Журавка.

– А ничего не думают!

– Как же ничего не думают?

– А так—зачем думать?

– Как зачем думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что же это такое вы сами-то наконец говорите?

– Я вам говорю, что они ничего не думают.

– Да что же он-то такое? После этого ведь он же выходит подлец! – Илья Макарович в азарте стукнул кулаком по столу и опять закричал: —Подлец!

– За что вы его так браните? Ну, что от этого Поправится или получшеет?

– Зачем же он сбил девушку? Анна Михайловна улыбнулась.

– Чего вы смеетесь?

– Над вами, Илья Макарыч! Ничего-то вы не разумеете, хоть и в Италии были.

– Чего-с я не разумею? Анна Михайловна промолчала.

– Нет-с, позвольте же, Анна Михайловна, если уж начали говорить, так вы извольте же договаривать: чего это-с я не разумею?

– Да как вы можете утверждать, что он ее с чего-ни-

будь сбивал? – сказала Анна Михайловна.

Илья Макарович дмухнул носом и, помолчав, спросил:

– Так как же это по-вашему было?

– Дору никто не собьет и... никто Илью Макаровича ни от чего не удержит.

Журавка опять забежал.

– Да... однако ж... позвольте, на что же это она бьет, в чью же-с голову она бьет?! – спросил он, остановившись.

– Любит.

– Да-ну-те-ж бо, бог с вами, Анна Михайловна, что ж будет из такой любви?

– Что из любви бывает – радость, счастье и жизнь.

– Да ведь позвольте... мы ведь с вами старые друзья. Ведь... *вы* его наконец любите?

– Ну-с; так что же далее? – произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.

– И он вас любил?

– Положим.

– Ничего не понимаю! – крикнул, пожав плечами, Илья Макарович и опять ожесточенно забежал, мотая по временам головою и повторяя с ажитацией, – ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

– А как же это вы, однако, поняли, что там что-то

есть? – спросила после паузы Анна Михайловна с целью проверить свои соображения чужими.

– Да так, просто. Думаю себе иной раз, сидя за мольбертом: что он там наконец, собака, делает? Знаю, ведь он такой олух царя небесного; даже прекрасного, шельма, не понимает; идет все понурый, на женщину никогда не взглянет, а женщины на него как муха на мед. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лице.

– Да, – уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинского и опять невинно смущаясь.

– Не полюбить-то его почти нельзя!

– Нельзя, – сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

– То есть именно, и говорю, черт его знает, каналью, ну, нельзя, нельзя.

– Нельзя, – подтвердила Анна Михайловна несколько серьезнее.

– Ну, вот и думаю: чего до греха, свихнет он Дорушку!

– Ничего я не вижу отсюда, а совершенно уверена... Да, Илья Макарыч, о чем это мы с вами толкуем, а?.. разве они не свободные люди?

Художник вскочил и неистово крикнул:

– А уж это нет-с! Это извините-с, бо он, низкий он человек, должен был помнить, что он оставил!

– Эх, Илья Макарыч! А еще вы художник, и „свободный художник“! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смелая! Мало вам адвокатов?

– То есть черт его знает, Анна Михайловна, ведь в самом деле можно с ума сойти! – отвечал художник, заламывая на брюшке свои ручки.

– То-то и есть. Вспомните-ка ее песенку:

То горделива, как свобода,
То вдруг покорна, как раба.

– Да, да, да... то есть именно, я вам, Анна Михайловна, скажу, это черт знает что такое!

Долго Анна Михайловна и художник молчали. Одна тихо и неподвижно сидела, а другой все бегал, а то дмухал носом, то что-то вывертывал в воздухе рукою, но, наконец, это его утомило. Илья Макарович остановился перед хозяйкой и тихо спросил:

– Ну, и что ж делать, однако?

– Ничего, – так же тихо ответила ему Анна Михайловна.

Художник походил еще немножко, сделал на одном повороте руками жест недоумения и произнес:

– Прощайте, Анна Михайловна.

– Прощайте. Вы домой прямо?

– Нет, забегу в Палкин, водчонки хвачу.

– Что ж вы не сказали, здесь бы была водчонка, –

спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ее то и дело покрывалось пятнами.

– Нет, уж там выпью, – рассуждал Журавка.

– Ну, прощайте.

– А написать ему можно? – шепотом спросил художник, снова возвращаясь в комнату в шинели и сапогах.

– Ни, ни, ни! Чужая собака под стол, знаете половицу? – отвечала Анна Михайловна, стараясь держаться шутивого тона.

– Господи боже мой! Какая вы дивная женщина! – воскликнул восторженно Журавка.

– Такая, которую всегда очень легко забыть, – отшутилась Анна Михайловна.

Глава пятая

Немножко назад

С тех пор как Долинский с Дарьей Михайловной отъехали от петербургского амбаркадера варшавской железной дороги, они проводили свое время в следующих занятиях: Дорушка утерла набежавшие слезы и упорно смотрела в окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотелось, – глядя на нее, решить было трудно. Долинский тоже молчал. Он попробовал было заговорить с Дашей, но та кинула на него беглый взгляд и ничего ему не ответила. Подъезжая к Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ехать не может. Отыскали в гостинице номер с передней. Долинский приготовил чай и спросил ужин.

Даша ни к чему не притронулась.

– Ну, так ложитесь спать, – сказал ей Долинский.

– Да, я спать хочу, – отвечала Даша.

Она легла на кровати в комнате, а Долинский завернулся в шинель и лег на диванчике в передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинский приписывал это слабости и болезненной раздраженности. Он не беспокоил ее никакими вопросами.

– Прощайте, моя милая нянюшка! – слабо прогово-

рила через перегородку Даша, полежав минут пять в постели.

– Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

– Вам там скверно, Нестор Игнатьич?

– Нет, Дорушка, – хорошо.

– Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было о чем вспомнить.

– Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утром довольно поздно. Долинский нашел женщину, которая помогла Даше одеться, и велел подать завтрак. Даша кушала с аппетитом.

– Нестор Игнатьич! – сказала она, оканчивая завтрак, – вот сейчас вам будет испытание, как вы понимаете наставления моей сестры. Что она приказала вам на мой счет?

– Беречь вас.

– А еще?

– Служить вам.

– А еще?

– Ну, что ж еще?

– Право, не знаю, Дарья Михайловна.

– Вот память-то!

– Да что же? Она просила исполнять ваши желания, и только.

– Ну, наконец-то! *Исполнять мои желания*, а у ме-

ня теперь есть желание, которое не входило в наши планы: исполните ли вы его?

– Что же это такое, Дорушка?

– Свезите меня в Варшаву. Смерть мне хочется посмотреть поляков в их городе. У вас там есть знакомые?

– Должны быть; но как же это сделать? Ведь это нам составит большой расчет, Дорушка, да и экипажа нет.

– Как-нибудь. Вы не поверите, как мне этого хочется. Фактор в Вильно нашел старую, очень покойную коляску, оставленную кем-то из варшавян, и устроил Долинскому все очень удобно. Железная дорога тогда еще была не окончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ехали без неприятностей, и Даша была очень счастлива.

– Люблю я, – говорила она, – ехать на лошадях. Отсталая женщина – терпеть не могу железных дорог и этих глупых вагонов.

Долинский смеялся и рассказывал ей разные неприятности путешествия на лошадях по России.

– Все это может быть так; я только один раз всего ехала далеко на лошадях, когда Аня взяла меня из деревни, но терпеть не могу, как в вагонах запирают, прихлопнут, да еще с наслаждением ручкой повертят: дескать, не смеешь вылезть.

Дорога шла очень приятно. Даша много спала в по-

койном экипаже и говорила, что она оживает. В самом деле, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крепче и дышала свободнее.

В Варшаве они разместились очень удобно в большом номере, состоявшем из трех комнат. Долинский отыскал много знакомых поляков с Волыни и Подолии и представил их Даше. Даша много с ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинский нашел тоже пани Свентоховскую, известную варшавскую модистку, с которой Анна Михайловна и Даша познакомились в Париже и которую принимали у себя в Петербурге. Пани Свентоховская, женщина строгая и ультракатоличка, приехала к Даше, когда Долинского не было дома, и рассыпалась перед Дорой в поздравлениях и благожеланиях.

– Да с чем вы меня поздравляете? – спросила Даша.

– Как с чем? С мужем!..

– С каким мужем? – рассмеявшись, спросила ее Даша.

– А пан Долинский!

Даша еще громче рассмеялась.

– Да как же вы едете? – спросила несколько обиженная ее смехом полька.

– Простите мне, мой ангел, этот глупый смех, – отвечала Даша, обтирая выступившие у нее от хохота

слезы, и рассказала пани Свентоховской, как устроилась ее поездка. Солидная пани Свентоховская покачала головой.

– Что ж, вы разве находите это очень уж неприличным? А будто приличнее было бы оставить меня умирать для приличия?

– Не то, что очень неприлично, а...

– А что?

– Оно... небезопасно.

Даша опять захохотала и, немного покраснев, сказала:

– Какие пустяки!

Когда пришел Долинский, не застав уже пани Свентоховской, Даша встретила его веселым смехом.

– Чего вы так смеетесь, Дора? – осведомился Долинский.

– Знаете, Нестор Игнатьич, что вы в опасности.

– В какой опасности?

– В опасности.

– Полноте шалить, Дора! Скажите толком, – отвечал несколько встревоженный Долинский.

– Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вам угрожаю я. *Я, своей собственной персоной!*

Даша рассказала опасения madame Свентоховской.

И он и она усердно смеялись.

Вечером Даша и Долинский долго просидели у пани Свентоховской, которая собрала нескольких своих знакомых дам с их мужьями, и ни за что не хотела отпустить петербургских гостей без ужина. Долинский ужасно беспокоился за Дашу. Он не сводил с нее глаз, а она превесело щебетала с польками, и на ее милом личике не было заметно ни малейшего признака усталости, хотя час был уже поздний.

– Домой пора, Дора, – не раз шептал ей Долинский.

– Погодите – невежливо же уехать?

– Заболеете.

– Ах! Как вы мне надоели с вашим менторством.

Долинский отходил прочь.

Вернулись домой только во втором часу. Войдя в номер, Долинский взял Дашу за обе руки и сказал:

– Смерть я боюсь за вас, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

– Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, – отвечала она, пожимая его руки.

– А вы слышали, что о вас говорили паны? – спросил Долинский, усадив Дору в кресло.

– Нет. Что они говорили?

– Говорили: какая хорошенькая московка! Даша сделала гримасу и сказала:

– Это мы и без них знали;—а потом спросила – А вы слышали, что о вас говорили пани?

– Нет.

Даша рассмеялась.

– Говорили, что вы Анин „коханок“.

– Кому это они говорили?

– Сами с собой говорили.

– Ворона весть принесла.

– Ворона, именуемая панею Свентоховскою.

– А ей кто доложил?

– Ах, Нестор Игнатъич! Слухом, сударь, земля полнится!

Долинский ничего не отвечал.

– А странный вы господин! – начала, подумав, Даша. – Громами гремите против предрассудков, а самим ух как жутко становится, если дело начистоту выходит! Что же вам! Разве вы не любите сестры или стыдитесь быть ее, как они говорят „коханком“?

– Да мне все равно, только... зачем? Я ведь знаю, что у этих господ значит *коханек*. – Мне это, конечно, все равно, а...

– А кому ж неравно? Уж не за сестру ли вы печальтесь? Мы с ней люди простые, в пансионах не воспитывались: едим пряники неписанные.

– Да я ж ведь ничего и не сказал, кажется.

– А только подумал! – отвечала с иронией Даша. – Нет. Нестор Игнатъич, крепко еще, верно, сидят в нас бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотреть на свечу, а Долинский молча прошелся несколько раз по комнате и сказал:

– Ложитесь спать, Даша. Даша не отвечала.

– Идите в постель, Дора, – повторил через минуту Долинский.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя из комнаты, громко продекламовала:

О, жалкий, слабый род! О, время
Полупорывов, долгих дум
И робких дел! О, век! О, племя!
Без веры в собственный свой ум!

Глава шестая

Все обстоит благополучно

Путешественники наши пробыли в Варшаве пять дней и написали Анне Михайловне два длинных письма. На шестой день панна Свентоховская проводила их на железную дорогу. Усаживая Дашу в вагон, она шепнула ей несколько слов, на которые та отвечала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя несколько слабою. Закачало ее, и потому Долинский решился вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Даше было гораздо лучше, и она хохотала над Долинским, представляя, какое у него длинное лицо бывает, когда она охнет.

– Смотрите, Нестор Игнатьич, – говорила она, – чтоб в самом деле не вышло на слова пани Свентоховской. В самом деле, как она говорит, „небеспечно“ вам, кажется, разгуливаться со мной по белу свету. Чего доброго, влюбитесь вы в меня. В два-то года, живя вместе, вы меня не рассмотрели хорошенько, а теперь вот делать вам нечего, со скуки как раз злой недуг приключится. Вот анекдот-то выйдет! Хоть со света бежи тогда.

– Что вы выдумываете, Дорушка!

– А что ж! Все под богом ходим. Разве уж в меня и

влюбиться нельзя?

– Какая вы хорошенькая! – смеясь, воскликнул Долинский.

– Вот то-то и оно! В Варшаве, в царстве женской красоты таковою признана.

– А кстати, Дора, я и забыл вас спросить: как вам понравилась Варшава?

– Очень хороший, типический город.

– А варшавяне?

– Мужчины или женщины?

– Те и другие?

– Одним словом на это отвечать нельзя.

– Ну, можете двумя словами.

– В поляках мне одно только нравится, а в польках одно только не нравится.

– Значит, в мужчинах вы заметили только одну добродетель, а в женщинах только один порок?

– Не то совсем. Мужчины почти точно такие же, как и наши; даже у этих легкости этой ненавистной, пожалуй, как будто, еще и больше—это мне противно; но они вот чем умнее: они за одним другого не забывают.

– Как это, Дорушка?

– А так! У них пеню время, а молитве час. Они не требуют, чтоб люди уродами поделались за то, что их матери не в тот, а в другой год родили. У них божие идет богу, а кесарево кесареви. Они и живут, и ду-

мают, и любят, и не надоедают своим женщинам одной докучною фразою. Мне, вы знаете, смерть надоели эти наши ораторы! Все чувства боятся! Сердчишек не дал бог, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могут мешать? Будто любовь чему-нибудь мешает.

Даша разгорячилась.

– Шуты святочные! – сказала она с презрением и стала смотреть в окошко вагона.

– Ну, а о женщинах-то польских что же вы, Даша, расскажете?

Даша обернулась с веселой улыбкой.

– Прелесть! Я не знаю, где у вас царь в голове был, Долинский?

– Когда?

– Когда вы черт знает как обрешетились. Долинский ничего не отвечал, и по лицу его пробежала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинского. Она тронула его пальчиком по губам и сказала:

– У-У, бука! Стыдно дуться! Городничий поедет и губы отдавит.

Долинский вздохнул.

– А знаете же, что я одно только невзлюбила в польках? – заговаривала Дора.

– Что? – спросил в свою очередь Долинский, про-

ведя рукою по лбу.

– Отгадайте!

– Бог вас знает, Дорушка! – отвечал Долинский, все еще не вошедший в свою тарелку.

– Ну, отгадайте!

– Да, право, не знаю.

Даша нагнулась, и, пристально посмотрев в глаза Долинского, спросила:

– Вы, кажется, все еще дуетесь?

– Нет, за что же?

– То-то. Видели вы, как поляки лошадей запрягают?

– Видел.

– Ну, как?

– В шоры.

– Нет, вот тут на голову – как это называется?

Даша приложила ладони к своим вискам.

– Наглазники.

– Ну, да, наглазники. Вот эти самые наглазники есть у польских женщин. По дороге они идут хорошо, а в сторону ничего не видят. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

– Как это, Дорушка?

– А так: или строгость, или уж распущенность, есть своеволие, а между тем свободы честной нет.

– А у наших есть?

– Ну, как же равнять! – отвечала, качая головкой,

Дора.

– Способнее, полагаете, наши к честной свободе-то?

– Еще бы! Как их можно и сравнивать в этом отношении! У наших, действительно, смелость; наши женщины—хорошие женщины; они, действительно, хотят быть честно свободными.

– Да много ли их?

– Разумеется, немного пока; а погодите, я уверена, что с нашими женщинами будет жить легче, чем со всякими другими. Ведь неплохо и теперь живется с ними? – добавила она, улыбаясь.

– Хорошо, Дорушка, – отвечал спокойно Долинский.

– А что, кого вспомнили? Долинский улыбнулся и отвечал:

– Какая вы наблюдательная, Дора!

– А вы это только теперь заметили?

– Только теперь.

– Ну, да! Ведь я недаром говорила, что в два года вы меня хорошенько не рассмотрели!

Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

– Что-то она теперь подделывает?

На другой день, по приезде в Ниццу, Долинский оставил Дашу в гостинице, а сам до изнеможения бегал, отыскивая квартиру. Задача была немалая. Даша хотела жить как можно дальше от людных улиц и

как можно ближе к морю. Она хотела иметь комнату в нижнем этаже, с окнами в сад, невысоко и недорого.

После долгих поисков, наконец, нашлась такая квартира у старой француженки, m-me Бюжар. Это были три комнатки в маленьком флигельке, с окнами, выходящими на уединенный садик. M-me Бюжар, старушка с очень добродушным лицом, взялась приносить постояльцам обед и два раза в день навещать их и исполнять все, что будет нужно для больной русской синьоры. Сама старушка, вместе с двумя желтенькими курочками и черным голландским петухом, жила в крошечной комнатке в другом флигельке, выходившем в тот же садик. Квартира очень понравилась Даше, и вечером того же дня они в нее переехали. Даша заняла большую комнату с двумя большими окнами, а Долинский поместился в маленьком кабинетике... Кроме того, у них было нечто вроде зальца, разделявшего собою их комнаты. На другой день Долинский пригласил лучшего доктора, который осмотрел больную и с покойным видом объявил, что она вовсе не в таком положении, как им кажется. Сделав необходимые гигиенические наставления Доре, доктор уехал, обещав навещать ее через два дня в третий. M-me Бюжар оказалась драгоценным существом. Она услуживала синьоре Доре с искренним радушием и со всегдашней французской веселостью. Впрочем, Даша и

мало требовала услуг. Утром она открывала окошечко и кричала: „m-me Бюжар!“ Из другого окна ей весело откликались словом: „Signora Dorra!“ и старуха, переваливаясь, бежала и помогала ей сделать что нужно. Утром старуха убирала их комнаты да приносила обед. Больше Долинский и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своих тихих и непривередливых жильцов. Жизнь началась очень приятная. Долинский отдыхал после срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотелось, а Даша поправлялась не по дням, а по часам, и опять стала делаться той же обворожительной, розовой ундиной, какую она была до своей несчастной болезни. Только алые пятна все еще не сходили с ее нежных щечек. Днем Долинский читал Даше вслух или работал. Он написал Другую повесть и совсем приготавливал ее к отсылке в Россию. Писанная на свободе повесть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повесть. Она знала, что автор часто говорит в ней о самом себе и о людях, помявших его в своих перчатках. Она заставляла Долинского по несколько раз повторять ей некоторые места и часто над многими крепко и долго задумывалась.

Глава седьмая

На устах и в сердце

В десятый раз они перечитывали знакомую рукопись, и в десятый раз Даша заставляла его повторять знакомые места. Наступал вечер, Дорушка взяла из рук Долинского тетрадь, долго читала сама глазами и, задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить пером на марже.

– Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вам тут рисовать вовсе не полагается.

Даша молча замарала все начерченное ее пером, отбросила с недовольной гримаской рукопись, встала, надела на себя широкополую соломенную шляпу и, подавая руку Долинскому, несколько сурово сказала:

– Пойдемте гулять.

Долинский взял фуражку, и они отправились к обыкновенному пункту своих вечерних прогулок. Во все время дороги они оба молчали и, дойдя до холмика, с которого всегда любовались морем, оба молча присели на зеленую травку. Вид отсюда был самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась пред ними безбрежная водная равнина, и вечернее солнце тонуло в краснеющей ряби тихого мо-

ря. Необыкновенно сладко дразнить здесь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала, Долинский сбросил верхнее пальто и кинул его на траву. Даша на нем прилегла и как бы уснула. Молчанию и думам ничто не мешало.

– Странно как это! – сказала Даша, не открывая глаз.

– Что такое? – как бы оторвавшись от другой думы, спросил Долинский.

– Так, бог знает, что приходит в голову. Вот, например... сколько чепухи на свете?

– Не мало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

– Я это и без вас знаю, – отвечала Дора и опять замолчала.

– Не понимаю я, – начала она через несколько минут, – как это делается все у людей... все как-то шиворот-навыворот и таранты-на-вон. Клянут и презирают за то, что только уважать можно, а уважают за то, за что отвернуться хочется от человека. Трусые!

– Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

– Так, потому что это все от трусости. En gros³⁶ все их пугает, а en detail³⁷ – все ничего. Даст человек золотую монету за удовольствие, которого ему хочется, –

³⁶ В целом (франц.).

³⁷ По мелочам (франц.).

его назовут мотом; а разменяет ее на пятиалтынные и пятиалтынниками разбросает – только погаже как-нибудь – ничего. Как это у них там все в головах? Все кверху ногами.

– Подите же с ними! – тихо отвечал Долинский.

– Ведь это ужасное несчастье.

– Да, это не *счастье!*

– Но как же это делается? Я, например, совсем не понимаю. как это разменяться, стать мельче, чем я есть?

– Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, один человек сам боится раскутиться на весь капитал, а другой и предлагал свою целую золотую монету, да взамен ее получил кое-что из мелочи, вот и пошла в обоих случаях в обороте одна мелочь, на которую уж нельзя выменять снова целой монеты; недостает уж нескольких пятиалтынных.

– Какие у людей маленькие душонки! – сказала Даша с презрительной гримаской.

– У кого же они больше?

– Да у *никого*. Это-то и скверно, что ни у кого. Даша задумалась и, помолчав, спросила:

– А вы, Нестор Игнатъич, много набрали мелочишки в сдачу?

– Есть безделица.

– А зачем?

– Бог его знает, зачем? Да и тут ваша милая метафора не годится. Не руками берут эту, как мы сказали, сдачу; а сама она как-то после оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

– Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

– Я это понимаю. Мне вот только непонятны эти люди маленькие со своими программками. Счастья они не дают никому, а со всех все взыскивают.

– Кому ж они понятны?

– Как вы думаете: ведь я уверена, что это более все глупая сентиментальность делает?

– И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предрассудки, разум, с детства изуродованный, страхи пустые, безволие, привычка ценить пустые удобства, да и многое, многое другое.

– Да, разум, с детства изуродованный, – это особенное несчастье.

– Огромное и почти всегда вечное.

– Вы как же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастер, но я хочу знать, как вы думаете: нужно идти против всех предрассудков, против всего, что несогласно с моим разумом и с моими понятиями о жизни?

– На это, Дорушка, я полагаю, сил человеческих не достанет.

– Но как же быть?

– Самому только не подчиняться предрассудкам, не обращать внимания на людей и их узкую мораль, стоять смело за свою свободу, потому что вне свободы нет счастья.

– А вам скажут, что жизнь дана не для счастья, а для чего-то другого, для чего-то далекого, неосязаемого.

– Что ж вам до этого? Пусть говорят. На погосте живучи, всех не переплачешь, на свете маясь, всех не переслушаешь. В том и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, как говорят, с петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмотреть счастья, где оно есть, и не искать его там, где оно кому-то представляется.

– Да-с, да: в этом штука, в этом штука!

– Мне так кажется, а впрочем, может быть, я и неправ.

– Нет, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вам все это не мешает жить на свете?

– Что такое?.. Путаница-то эта?

– Путаница-то.

– Ну, как вам сказать?

– Да так: чувствуете вы, например, себя свободным от всех предрассудков?

– Теперь я чувствую себя очень свободным.

– А прежде?

– Да и прежде. Впрочем, я, по каким-то счастливым

случайностям, давно приучил себя смотреть на многое по-своему; но только именно все мне как-то очень беспокойно было, жилось очень дурно.

– Вы очень много любили людей?

– Да, меня учили любить людей, и я, точно, очень любил их.

– А теперь?

– Вы знаете, что я зла никому не делаю или, по крайней мере, стараюсь его не делать.

– Только уж не привязываетесь к людям?

– Я люблю человечество.

– Как мне надоела эта петербургская фраза! Так говорят те, которые ровно никого и ничего не любят; а бы не такой человек. Вы мне скажите, какая разница в ваших теперешних чувствах к людям с теми чувствами, которые жили в вас прежде?

– Близких людей у меня нет.

– Совсем?

– Кроме Анны и вас.

– А прежние привязанности?

– Растоптали их, теперь они засыпались.

– А мать?

– Я ее очень люблю, но ведь ее нет на свете.

– Но вы ее все-таки любите?

– Очень. Моя мать была женщина святая. Таких женщин мало на свете.

– Расскажите мне, голубчик Нестор Игнатьич, что-нибудь про вашу матушку, – попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря в глаза Долинскому.

– Долго вам рассказывать, Дорушка.

– Нет, расскажите.

Долинский хотел очертить свою мать и свое детское житье в киевском Печерске в двух словах, но увлекаясь, начал описывать самые мелочные подробности этого житья с такою полнотою и ясностью, что перед Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что, лежа здесь, в Ницце, на берегу моря, она слышит из-за синих ниццских скал мелодический гул колоколов Печерской лавры и видит живую Ульяну Петровну, у которой никто не может ничего украсть, потому что всякий, не крадучи, может взять у нее все, что ему нужно.

– Какой вы художник! Как хорошо вы все это рассказываете! – перебивала она не раз Долинского.

И выслушав, как Долинский, вдохновившийся воспоминанием о своей матери, говорил в заключение:

– У нас в доме не знали, что такое попрек, или ссора; нам не твердили, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, а учили, что всякое неправое стяжание – прах; нам никогда не говорили: „наживай да берегай“, а говорили: „отдавай, помогай, не ропщи и веруй, что сколько тебе чего нужно, столько

для тебя есть на свете“.

Дорушка воскликнула:

– Какое прелестное, какое завидное детство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать так же, как вы?

Долинский молча пожал руку Доры.

– Вы знаете, – продолжал он, увлекаясь, – люди восторгаются „Галубом“; в нем видели идеал; по поводу его написаны лучшие статьи о нравственно развитом человеке, а Тазит только не столкнул врага, убийцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуть врага, но у которой не *могло быть врага*, потому что она вперед своей христианской индульгенцией простила все людям, она не вдохновит никого, и могила ее, я думаю, до сих пор разрыта и сровнена, и сын ее вспоминает о ней раз в целые годы; даже черненькое поминанье, в которое она записывала всех и в которое я когда-то записывал моею детскою рукою ее имя – и оно где-то пропало там, в Москве, и еще, может быть, не раз служило предметом шуток и насмешек... Господи, какие у нас бывают женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое понимание истины сердцем! Моя мать, например, едва умевшая писать имена в своем поминанье, и этот Шпандорчук или Вырвич...

– Зачем вы их троих вспоминаете вместе? – произ-

несла чуть слышно, отворачиваясь в сторону, Дора. Слезы обильным ручьем текли у нее по обеим щекам.

– А я, ее дитя, вскормленное ее грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за врагов, – что я такое?.. Поэзию, искусства, жизнь как будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачем нет мира в костях моих? Что я, наконец, такое? Вырвич и Шпандорчук по всему лучше меня.

– Вы лучше их, – произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

– Они могут быть полезнее меня.

– Вы всегда будете полезнее их, – опять так же спешно оторвала Дора.

– Вы знаете... вот мы ведь друзья, а я, впрочем, никогда и вам не открывал так мою душу. Вы думаете, что я только слаб волею... нет! Во мне еще сидит какой-то червяк! Мне все скучно; я все как будто не на своем месте; все мне кажется... что я сделаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будет поправить.

– Что ж это такое? – спросила, медленно поворачиваясь к нему лицом, Дора.

– Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастье. Ах, мне не надо жить с людьми! Мне не надо встречаться с ними! Это все, что как-нибудь улыбается мне,

этого всего не будет. Я не умею жить. Все это, что есть в мире хорошего, это все не для меня.

– Вас любят.

– И из этого ничего не будет, – отвечал, покачав головой, Долинский. – Я верю в мои предчувствия.

– А они говорят?

– Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этот враг мой...

– Близок?

– Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою гибель.

– Не говорите этого! – сказала строго Дора.

– Пусть только бы скорее, истомы хуже смерти.

– Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мне! – сердито крикнула, вся изменившись в лице. Дора, и, окинув Долинского грозным, величественным взглядом, прошептала: *пророк!*

Ни один трагик в мире не мог бы передать этого страшного, разлетевшегося над морем шепота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна в эту минуту.

– Зато, – начал Долинский, когда Дора, пройдясь несколько раз взад и вперед по берегу, снова села на свес места, – кончается мое незабвенное детство и с ним кончается все хорошее.

– Да... ну, продолжайте: какова была, например,

любовь вашей жены вначале хотя? – расспрашивала, слясь успокоиться, Дора.

– А кто ее знает, что это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то небескорыстное.

– Не понимаю.

– Ну и слава богу.

– Нет, вы расскажите это.

– Говорю вам, что бескорыстья не было в этой любви. Не знаете, как любят как арендную статью?

– Все по *праву* требуют, а не по сердцу.

– Ну, вот вы и понимаете!

– А брат ваш?

– Я его очень любил, но мы как-то отвыкли друг от Друга.

– Зачем же? Зачем же отвыкать?

– Разъехались, разбросало нас по разным местам.

– Как будто места могут разорвать любовь?

– Поддержать ее не умели.

– Это дурно.

– Да, хорошего ничего нет.

– Кто же это: вы ему перестали писать или он вам?

– Нет, он.

– А вы ему писали?

– Писал долго, а потом и я перестал. Дорушка задумалась.

– Ну, а сестра? – спросила она после короткой па-

узы.

– Сестра моя?.. Бог ее знает! Говорят, так себе...

барыня...

– По „правилам“ живет, – смеясь сказала Даша.

– По „правилам“, – смеясь же отвечал Долинский.

– Эгоистка она?

– Нет.

– А что же?

– Я вам сказал: барыня.

– Добрая?

– Так... не злая.

– Не злая и не добрая?

– Не злая и не добрая.

– Господи! В самом деле, с какою вы обстановкою жили после матери! Страшно просто.

– Теперь все это прошло, Доружка. Теперь я жив) с хорошими людьми. Вот, Анна Михайловна – хорошие человек; вы – золотой человек.

– Анна—хороший, а я—золотой! Что же лучше золотой или хороший?

– Обе вы хорошие человеки.

– Значит, „обе лучше“. А которую вы больше любите?

– Вас, конечно.

– Ну, то-то.

Они рассмеялись и, наговорившись досыта, пошли

ДОМОЙ.

Глава восьмая

Любовь до слез горячих

Тихое однообразие ниццской жизни Доры и ее спутника продолжалось не нарушаемое ничем ни с одной стороны, но при всем этом оно не было тем утомительным *semper idem*,³⁸ при котором всякое чувство и всякое душевное настроение способно переходить в скуку. Один недавно умерший русский писатель, владевший умом обаятельной глубины и светлости, человек, увлекавшийся безмерно и соединявший в себе крайнюю необузданность страстей с голубиною кротостью духа, восторженно утверждал, что для людей живых, для людей с *искрой божией* нет *semper idem*, и что такие, живые люди, оставленные самим себе, никогда друг для друга не исчерпываются и не теряют великого жизненного интереса; остаются друг для друга вечно, так сказать, недочитанною любопытною книгою. От слова до слова я помнил всегда оригинальные, полные самого горячего поэтического вдохновения речи этого человека, хлеставшие бурными потоками в споре о всем известной старенькой книж-

³⁸ Всегда то же самое (лат.).

ке Saint-Pierre „Paul et Virginie“,³⁹ и теперь, когда история событий доводит меня до этой главы романа, в ушах моих снова звучат эти пылкие речи смелого адвоката за право духа, и человек снова начинает мне представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотела ни о каких знакомствах и ни о каких разнообразиях. Когда Долинский случайно познакомился где-то в кафе с братом Веры Александровны Онучиной, Кириллом, и когда Кирилл Александрович сделал Долинскому визит и потом еще навестил его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этим знакомством, но точно как будто боялась его, тревожилась, находила себя в каком-то неловком, непрямом положении. А Кирилл Онучин не был совсем же неприятный аристократ, ни демократический фат, ни лев, ни фронт дурного тона. Это был человек самый скромный и вообще тип у нас довольно редкий. По происхождению, состоянию, а равно по тонкости и белизне кожи, сквозь которую видно было, как благородная кровь переливается в тоненьких, голубых жилках его висков, Кирилл Онучин был аристократ, но ни одного аристократического стремления, ни одного исключительного порока и недостатка, свойственного большинству наших русских патрициев, в Кирилле Онучине не было и запаха,

³⁹ Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (франц.).

и тени. В собственной семье он был очень милым и любимым лицом, но лицом-таки ровно ничего не значащим; в обществе, с которым водилась его мать и сестра, он значил еще менее.

– Кирилл Онучин?.. Да как бы это вам сказать, что такое Кирилл Онучин? – отвечал вам, разводя врозь руками всякий, у кого бы вы ни вздумали осведомиться об этом экземпляре.

В существе же длинный и кротчайший Кирилл Александрович был страстный ученый, любивший науку для науки, а жизнь свою как средство знать и учиться. Он почти всегда или читал, или писал, или что-нибудь препарировал. В жизни он был самый милый невежда, но в ботанике, химии и сравнительной анатомии – знаток великий. Скромнейшим образом возился он с листочками да корешочками, и никому решительно не была известна мера его обширных знаний естественных наук; но когда Орсини бросил свои бомбы под карету Наполеона III, а во всех кружках затолковали об этих ужасных бомбах и недоумевали, что это за состав был в этих бомбах, Кирилл Александрович один раз вызвал потихоньку в сад свою сестру, стал с ней под окном каменного грота, показал крошечную, черненькую грушку, величиною в маленький женский наперсток и, загнув руку, бросил этот шарик на пол грота. Страшный взрыв потряс не только все стены грота.

та, но и земляную, заросшую дерном насыпь, которая покрывала его старинные своды.

– Вот видишь, только это в крошечном размере, а то, верно, в большом, – рассказывал Кирилл Александрович перепуганной его опытом сестре, и никому более не говорил об этом ни одного слова.

Этот смирный человек решительно не мог ничем произвести в Доре дурное впечатление, но она, очевидно, просто-напросто не хотела никаких знакомств. Ей просто не хотелось иметь перед глазами и на слуху ничего способного каждую минуту напомнить о России, с воспоминанием о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о котором лучше всего не хотелось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствию за это новое знакомство с Онучиными, Дора выбила этот клин другим клином: заменила знакомство Онучиных знакомством с дочерью молочной сестры madame Бюжар, прехорошенькой Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина с добрым, живым французским лицом, покрытым постоянно сильным загаром, придававшим живым и тонким чертам еще большую свежесть. Ей было около двадцати двух лет, но она уже имела пятилетнего сына, которого звали Пьеро, и второго, грудного, Жана. Муж Жервезы, прехорошенький парисик, щеголявший все-

гда чистенькой рубашкой, ярким галстуком и кокетливой курткой, был огородник. У них был свой очень маленький крестьянский домик, в трех или четырех верстах от города. Домик этот стоял на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долине, с которой несло вечной свежестью. Жервеза и Генрих (ее муж) были собственники. Собственность их состояла из этого домика, с крошечным двориком, крошечным огородцем гряд в десять или пятнадцать и огороженным лужком с русскую тридцатную десятину. Это было наследственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла с собою своему молоденькому мужу. Потом у них на этом лужке гуляли четыре очень хорошие коровы, на дворе стояла маленькая желтенькая тележка с красными колесами и небольшая, лопоухая мышастая лошадка, более похожая на осла, чем на лошадь. Если прибавим к этому еще десятка полтора кур, то получим совершенно полное и обстоятельное понятие о богатстве *молочной красавицы*, как называли Жервезу горожане, которым она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошаденке молоко от своих коров и яйца от своих кур. Муж Жервезы бывал целый день дома только в воскресенье. В простые дни он обыкновенно вставал с зарею, запрягал жене лошадь и с зеленою шерстяною сумою за плечами уходил до вечера работать на чу-

жих, больших огородах. Жервеза в эту же пору усаживалась между кувшинами и корзинами в свою крошечную тележку и катила на своей лопоушке в нежащийся еще во сне город. Старший сын ее обыкновенно оставался дома с мужниной сестрою, десятилетней девочкой Аделиной, а младшего она всегда брала с собой, и ребенок или сладко спал, убаюкиваемый тихой тряскою тележки, или при всей красоте природы с аппетитом сосал материнo молоко, хлопал ее полненькой ручонкой по смуглой груди и улыбался, заирая из-под косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась к madame Бюжар, и, оставив у нее ребенка, отправлялась развозить свои продукты, а потом заезжала к ней снова, выпивала стакан кофе, брала ребенка и с купленным для супу куском мяса спешила домой. Дорушка несколько раз видела у madame Бюжар Жервезу, и *молочная красавица* ей необыкновенно нравилась.

– Это Марии, – говорила она Долинскому, – а не мы, Марфы, кажется, только и стоящие одного упрека... Может быть, только мы и выслужим за свое марфунство.

– Опять новое слово, – заметил весело Долинский, – то раз было *комонничать*, а теперь *марфунствовать*.

– Всякое слово хорошо, голубчик мой, Нестор Игнатьич, если оно выражает то, что хочется им выразить. Академия наук не знает всех слов, которые нужны, – отвечала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатиями, Дора совсем полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто и говорила, что она отдыхает с нею духом и не может на нее налюбоваться.

В то время, когда с Долинским познакомился Кирилл Онучин, у Жервезы случилось горе: муж ее, впервые после шести лет, уехал на какую-то очень выгодную работу на два или на три месяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

– Он у меня такой недурненький, такой ласковый, а я одна остаюсь, – наивно жаловалась она тетке Бюжар и Дорушке.

– Ай, ай, ай, ай! – говорила ей, качая седою головою, старушка Бюжар.

– Ну, да! Хорошо вам рассуждать-то, – отвечала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было в самом деле такое грациозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самым этим горем. Дорушка переменяла место прогулок и стала навещать Жервезу. Когда они пришли к „молочной красавице“ в первый раз, Жервеза ужинала с сыном и

мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Доре; краснела, не знала, как их посадить и чем угостить.

– Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше, – успокоивала ее Дора. – Совершенно французская идиллия из повести или романа, – говорила она, выходя с Долинским за калитку двора, – благородная крестьянка, коровки, дети, куры, молоко и лужайка. Как странно! Как глупо и пошло мне это представлялось в описаниях, и как это хорошо, как спокойно ото всего этого на самом деле. Жервеза, возьмите, милая, меня жить к себе.

– Oh, mademoiselle, как это можно! Мы не умеем служить вам; у нас... тесно, беспокойно, – уверяла „молочная красавица“.

– А вот, mademoiselle Дора думает, что у вас-то именно очень спокойно.

– Oh, non, monsieur!⁴⁰ Коровы, куры утром кричат, дети плачут; мой Генрих тоже встает так рано и начинает рубить дрова, да нарочно будит меня своими песнями.

– Но теперь ваш Генрих не рубит вам дров и не поет своих песен?

– Да, теперь он, бедный, не поет там своих песенок.

– А, может быть, и поет, – пошутила Дора.

⁴⁰ О, нет, мосье! (франц.)

– Поет! Ах, нет, не поет он. Вы ведь не знаете, mademoiselle, как он меня любит: он такой недурненький и всегда хочет целовать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему там чистит его белье, кто ему починит, если разорвется его платье, и мне так хочется плакать, мне делается так грустно... когда я только подумую, что...

– Кто-нибудь другой там вычистит его белье и его поцелует?

– Mademoiselle! Зачем вы мне это говорите? – произнесла, бледнея, „молочная красавица“, и кружка заходила в ее дрожащей руке. – Вы знаете что-нибудь, mademoiselle? – спросила она, делая шаг к Доре и быстро вперяя в нее полные слез и страха глаза.

– Что вы! Что вы, бедная Жервеза! Успокойтесь, друг мой, я пошутила, – говорила встревоженная Дора, вставая и целуя крестьянку.

– Честное слово, что вы пошутили?

– Даю вам честное слово, что я пошутила и что я, напротив, уверена, что Генрих любит вас и ни за что вам не изменит.

– Уверен в этом, mademoiselle, никто не может быть, но я лучше хочу сомневаться, но... вы никогда, mademoiselle, так не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю детей и хозяйство, и пойду сейчас, возьму его назад, оттуда, если я что-нибудь узнаю.

– Однако, как плохо шутить-то! – проговорила по-русски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

– Ведь я ему верна, mademoiselle Дора, я ему совсем верна; я против него даже помыслом не виновата, и я люблю его, потому что он у меня такой недурненький и ласковый, и потом ведь мы же с ним, mademoiselle, венчались; он не должен сделать против меня ничего дурного. Прекрасно еще было бы! Нет, если я тебя люблю, так ты это знай и помни, и помни, и помни, – говорила она, развеселясь и целуя за каждым словом своего ребенка. – Вы ведь знаете, мы шесть лет женаты, и мы никогда, решительно никогда не ссорились с моим Генрихом.

– Это редкое счастье, Жервеза.

– Ах правда, mademoiselle, что редкое! Мы оба с Генрихом такие... как бы вам сказать? Мы оба всегда умно ведем себя: мы целый день работаем, а уж зато, когда он приходит домой, mademoiselle, мы совсем сумасшедшие; мы все целуемся, все целуемся.

Дора и Долинский оба весело рассмеялись.

– Ах, pardon, monsieur, что я это при вас рассказываю!

– Пожалуйста, говорите, Жервеза; это так редко удается слышать про счастье.

– Да, это правда, а мы с Генрихом совсем сума-

сшедшие: как я ему только отворяю вечером дверь, я схожу с ума, и он тоже.

– А что вы думаете, Жервеза, об этом господине? *Недурненький* он или нет? – говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезе на Долинского.

„Молочная красавица“ посмотрела на Нестора Игнатъича, который был без сравнения лучше ее Генриха, и улыбнулась.

– Что же? – переспросила ее Дора.

– Генрих лучше всего мира! – отвечала ей на ухо Жервеза. – Он так меня целует, – шептала она скороговоркой, – что у меня голова так кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню после.

На первой полуверсте от дома молочной красавицы Дорушка остановилась раз шесть и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Марии.

– Да-с, однако, шутить-то с вашей Марией не очень легко: за ухо приведет и скажет: нет, *ты мой муж*; помни это, голубчик! – говорил Долинский.

– Ну, да, да, это очень наивно; но ведь она на это имеет право: видите, она зато вся живет для мужа и в муже.

– Вы это оправдываете?

– Извиняю. Если бы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; если бы она любила в муже самое

себя, а не его, тогда это, разумеется, было бы неизвинительно; но когда женщина любит истинно, тогда ей должно прощать, что она смотрит на любимого человека как на свою собственность и не хочет потерять его.

– А если она ревнует, лежа как собака на сене?

– Тогда она собака на сене.

– Видите, – начала, подходя к городу, Дора, – почему я вот и назвала таких женщин Мариями, а нас – многоречивыми Марфами. Как это все у нее просто и все выходит из одного *люблю*. – Почему *люблю*? – Потому, что он такой недурненький и ласковый. А совсем нет! Она любит потому, что *любит его*, а не себя, и потом все уж это у нее так прямо идет – и преданность ему, и забота о нем, и боязнь за него, а у нас пойдет марфунство: как? да что? да, может быть, иначе нужно? И пойдут эти надутые лица, супленье, скитанье по углам, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, так все и пойдет просто из любви, а начнут вот этак пещися и молвить о многом – и все пойдет как ключ ко дну.

– Правда в ваших словах чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, стало быть, самая верная; но ведь вот какая тут история: думаешь о любви как-то так хорошо, что как ни повстречаешься с нею, все обыкновенно не узнаешь ее!.. Все

она беднее чем-то. И опять хочется *настоящей любви*, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

– Есть любовь Жервез, – подсказала Дора.

– Любовь Жервез? Я не корю ее, но почему вы знаете, чего здесь более – любви, или привязанности и страсти, или убеждения, что все это так быть должно. Ох, настоящая любовь—большое дело! Она скромна, она молчит... Нет, настоящая любовь... нет ее, кажется, нигде даже.

Дорушка тихо повернулась лицом к Долинскому.

– Настоящая любовь, – сказала она, – верно там, где нет нас?

– Может быть.

– И где мы не были, пожалуй?

– Да это будет одно и то же.

– Ай, ай, ай, на каких вещах вы даете ловить себя, Долинский! – протянула Дора и дернула за звонок у ворот своего дома.

– Вы, кажется, вчера вывели из нашего разговора какое-то новое заключение? – спрашивал ее на другой день Нестор Игнатьич.

– Новое!.. никакого, – отвечала, улыбнувшись, Дора.

Дней через пять Дора снова вздумала идти к Жервезе. Проходя мимо одной лавки, они закупили для детей фруктов, конфет, лент для старшей девоч-

ки, кушак для самой молочной красавицы и вышли с большим бумажным конвертом за город.

Не нужно много трудиться над описанием этих си-не-розовых вечеров береговых мест Средиземного моря: ни Айвазовского кисть, ни самое художественное перо все-таки не передают их верно. Вечер был божественный, и Дора с Долинским не заметили, как дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинский нагнулся, чтобы сбить углом платка пыль, насевшую на его лакированный ботинок, из растворенного низенького и очень широкого окна послышалось какое-то очень стройное пение: женский, довольно слабый контральт и детские, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла к окну и остановилась за густым кустом, по которому сплошную сеть ползли синие усы винограда; Долинский так же тихо последовал за Дорой и остановился у ее плеча.

– Тес! – произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь к Долинскому, погрозила ему пальцем.

Чистенькая белая комната молочной красавицы была облита нежным красным светом только что окунувшегося в море горячего солнца; старый ореховый комод, закрытый белой салфеткой, молящийся бронзовый купидон и грустный лик Мадонны, с сердцем,

пронзенным семью мечами, – все смотрело необыкновенно тихо, нежно и серьезно. Из комнаты не слышно было ни звука. Через верхние ветки куста Долинский увидал Жервезу. Молочная красавица в ярком спензере и высоком белом чепце стояла на коленях. На локте левого рукава ее белой рубашки лежал небольшой черненький шарик. Это была головка ее младшего сына, который тихо сосал грудь и на которого она смотрела в какой-то забывчивости. Рядом с Жервезой, также на коленях, с сложенными на груди ручонками, стояла десятилетняя сестра Жервезино-го мужа, и слева опять на коленях же помещался ее старший сын. Пятилетний Пьеро был босиком, в синих нанковых штанишках и желтоватой нанковой же курточке. Мальчик тоже держал руки сжавши на груди, но смотрел в бок на окно, на котором сидел белый котенок, преградиозно раскачивающий лапкою привешенное на нитке красное райское яблочко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо к Мадонне и тотчас же запела: „Ты, который все видишь, всех любишь и со всеми живешь, приди и живи в нашем сердце“.

Дети пели за Жервезой не совсем согласно, отставали от нее и повторяли слова несколько позже, но тем не менее, в этом несмелом трио была гармония удивительная.

„И тех, которых нет с нами. Ты также помилуй, и с ними живи“, – пела Жервеза после первой молитвы. – „Злых и недобрых прости, и всех научи нас друг друга любить, как правду любил Ты, за нас на кресте умирая“.

При конце этой молитвы двое старших детей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручки, робко дотрагивались до белых рукавов Жервезы и заглядывали в ее глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидают.

„А тех, которые любят друг друга“, – запела молочная красавица голосом, в котором с первого звука зазвенели слезы – „тех Ты соедини и не разлучай никогда в жизни. Избави их от несносной тоски друг о друге; верни их друг к другу все с той же любовью. О, пошли им, пошли им любовь Ты до века! О, сохрани их от страстей и соблазнов, и непусти одному сердцу разбить навеки другое!“

Слезы, плывшие в голосе Жервезы и затруднявшие ее пение, разом хлынули целым потоком, со стонами и рыданиями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, каких только слов могучих, каких душевных движений не было в этих разрывающих грудь звуках!

– Молись, молись. Пьеро, за своего отца! Молись за мать твою! Молись за нас, Аделиночка! – говорила

Жервеза, плача и прижимая к себе обхвативших ее детей.

Минуты три в комнате были слышны только вздохи и тихий, неровный шепот; даже белый котенок перестал колыхать лапкой свое яблочко.

Долинский оглянулся на Дашу: она стояла на коленях и смотрела в окно на бледное лицо Мадонны; в длинных, темных ресницах Доры дрожали слезы.

Долинский снял шляпу и смотрел на золотую голову Доры.

– Полно нам плакать, – произнесла в это время, успокаиваясь, Жервеза, – будем молиться за бедных детей.

„Бедным детям, – запела она спокойнее, – детям-сироткам будь Ты отцом и обрадуй их лаской Твоею, и добрых людей им пошли Ты навстречу, и доброй рукою подай им и хлеба, и платья, и дай им веселое детство...“

Дети начали кланяться в землю, и молитва, по-видимому, приходила к концу. Дорушка заметила это: она тихо встала с колен, подняла с травы лежавший возле нее бумажный мешок с плодами, подошла к окну, положила его на подоконнике и, не замеченная никем из семьи молочной красавицы, скоро пошла из садика.

– Что молится так, Долинский? – спросила она,

остановившись за углом, и прежде чем Долинский успел ей что-нибудь ответить, она сильно взяла его за руку и с особым ударением сказала – так молится *любовь!* Любовь так молится, а не страсть и не приязанность.

– Да, это молилась любовь.

– Это сама любовь молилась, Нестор Игнатьич, истинная любовь, простая, чистая любовь до слез и до молитвы к Богу.

Дорушка тронулась вперед по серой, пыльной дорожке.

– Что ж, вы не зайдете, разве? – спросил ее Долинский.

– Куда?

– Да к ним?

– К ним?.. Знаете, Нестор Игнатьич, чем представляется мне теперь этот дом? – проговорила она, обращившись и протягивая в воздухе руку к домику Жервезы. – Это горящая купина, к которой не должны подходить наши хитрые ноги.

– Стопы лукавых.

– Да, стопы лукавых. Сделайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсем ведь не к лицу вам эти лица.

– Они только будут удивляться, откуда взялся мешок, который вы им положили.

– Не будут удивляться: это Бог прислал детям за их хорошие молитвы.

– И прислал через лучшего из своих земных ангелов.

– Вы так думаете?

– Удивительная вы девушка, Дора! Кажется, нежнее и лучше вас, в самом деле, нет женского существа на свете.

– Тут одна, – сказала Дора, снова остановись и указывая на исчезающий за холмом домик Жервезы, – а вон там другая, – добавила она, бросив рукою по направлению на север. – Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значит, что вы меня совсем не знаете. Какая у меня доброта? Ну, какая? Что меня любят, а я не кусаюсь, так в этом доброты нет; после этого вы, пожалуй, и о себе способны возмечтать, что и вы даже добрый человек.

– А разве же я, Дарья Михайловна, в самом деле, по-вашему, злой человек?

– Эх, да что, Нестор Игнатьич, в такой нашей доброте проку-то! Вон Анина, или Жервезина доброта – так это доброта: всем около них хорошо, а наша с вами доброта, это... вот именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы ведь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла в душе. Вот не далее, как... когда это мы бы-

ли первый раз у Жервезы?.. Ух, как я тогда была зла на вас! И что это, в самом деле, вам тогда пришло в голову уверять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какие-то там глупые страсти.

– Мне так показалось.

– Врете! Все врете, и опять начинаете сердить меня. Ох, да как я вас знаю, Нестор Игнатьич! Если бы я заметила, что меня кто-нибудь так знает и насквозь видит, как я вас, я бы... просто ушла от такого человека на край света. Вы мне это тогда говорили вот почему: потому что бесхарактерность у вас, должно быть, простирается иногда так далеко, что даже, будучи хорошим человеком, вы вдруг надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! может быть, это правильней? И я только не хотела вам говорить этого, а ужасно вы мне были противны в тот вечер.

– Даже противен?

– Даже гадки, если хотите. Что это такое? Первое дело – оскорблять ни за что, ни про что любовь женщины, а потом чем же вы сами-то были? Шпандорчук какой-то, не то Вырвич – обезьянка петербургская.

– Вот то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судто людской—не божий: всегда в нем много ошибок, – отвечал спокойно Долинский. – Совсем я не обезьянка петербургская, а худ ли, хорош ли, да уж такой, каким меня Бог зародил. Вам угодно, чтобы я оправды-

вался – извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чем я думаю?

– Конечно, не знаю.

– Совершенная правда, и потому, стало быть, не знаете, до чего и как я иногда додумываюсь. Я не нигилистничал, Дарья Михайловна, когда выразил ошибочное мнение о любви Жервезы, а вот как это было: очень давно мне начинает казаться, что все, что я считал когда-нибудь любовью, есть совсем не любовь; что любовь... это совсем не то будет, и я на этом пункте, если вам угодно, сбился с толку. Я все припоминаю, как это случилось, хоть и со мною даже... идет, идет будто вот совсем и любовь, а потом вдруг – крак, смотришь – все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нет, что это совсем не любовь, и я думаю, что нет, ну, вот нет любви. Тут совсем не за что на меня сердиться. Разве в том только моя вина, что не отучусь именно из себя-то сто раз все мотать, да перематывать, а уж в обезьянничестве я не виноват. Помилуйте, мне вот очень даже часто приходит в голову, как люди умирают? Как это последняя минута?.. Вот вдруг есть, и нету... Бывают минуты, когда я никак этого вообразить себе не могу, и отчего, откуда приходят эти страшные минуты? – этого никак не подстережешь. Вы помните, как я один раз в Петербурге уронил стенные часы в мастерской и поймал их

за два каких-нибудь вершка от полу?

Дорушка кивнула утвердительно головой.

– Ловок! – подумал я себе тогда. – А вот как-то ты увернешься от смерти? – пошло ходить у меня в голове; вот-вот-вот схватиться бы за что-нибудь, и не схватишься. И что ж вы скажете? – я до такой степени все это выматывал, что серьезно, ясно и сознательно стал ощущать, что я уж когда-то что-то такое ловил и не поймал, и умер, и опять живу. Умрет кто-нибудь – мне сейчас опять какой-то этакий бледный шар представляется; ловишь его, и вдруг – бац! не поймал, умер и сейчас что-то мне в этом знакомое есть, что я уж это пережил... Я *уверен* в этом, наконец, бываю! Так не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человек; мне в тот день так казалось, что нет, нет и нет никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

– Ну, хорошо, ну, пусть вам эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-с!.. позвольте вас искренно, по душе, по совести просить ответить: чего вы стояли таким рыцарем и таращили на меня глаза, когда мне захотелось помолиться с Жервезой?

– Я таращился! – нисколько! Я просто смотрел на вас, потому что мне приятно было смотреть на вас, потому что вы необыкновенно как хороши были у этого куста на коленях!

– Пожалуйста, пожалуйста, Нестор Игнатъич! Знаю я вас. Я знаю, что я хороша, и вы мне этим не польстите. И вы тоже ведь очень... этаким интересным Наль, тоскующий о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что там было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снял шляпу и сейчас же сконфузился и стал соглядатаем, ммм! ненавистный, нерешительный человек! Отчего вы не молились?

– Ах, Дарья Михайловна, какой вы ребенок! Ну, разве можно задавать такие вопросы? Ведь на это вам только Шпандорчук с Вырвичем и ответили бы, потому что у тех уж все это вперед решено.

– А у вас, мой милый, ничего не решено?

– По крайней мере, очень многое. – Да вы, пожалуйста, не думайте, что решимость это уж такая высокая добродетель, что все остальное перед нею прах и суета. Решимостью самую твердую часто обладают и злодеи, и глупцы, и всякие, весьма непостоянные, люди.

– И герои.

– Да, и герои, но героев ведь немного на свете, а односторонних людей, способных решать себе все наоболмашь, гораздо больше. Вы вот теперь даете мне вопрос, касающийся такого предмета, которого обнять-то, уразуметь-то нет силы, и хотите, чтобы я так вот все и решил в нем. Вы знаете моего дядю? Его

не одна Москва, а вся Русь знает. Это не был профессор-хлыщ, профессор-чиновник или профессор-фанфарон, а это был настоящий, комплектный ученый и человек, а я вам о нем расскажу вот какой анекдот: был у него в Москве при доме сад старый, густой, прекрасный сад. Дядя работал там летом почти по целым дням: подсаживал там деревца, колеровал и разные, знаете, такие штуки делал. Я спал в этом саду в беседке. Только один раз как-то очень рано я проснулся. Дело было перед последним моим экзаменом Я сел на порожке и читаю; вдруг, вижу я, за картиной дядя стоит в своем белом парусинном халате на коленях и жарко молится: поднимет к небу руки, плачет, упаде! в траву лицом и опять молится, молится без конца Я очень любил дядю и очень ему верил и верю. Когда он перестал молиться и начал что-то вертеть около какого-то прививка, я встал с порожка и подошел к нему. На дворе было самое раннее утро и, кроме нас да птиц, в саду никого не было. Не помню, как мы там с ним о чем начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросил его. что как он, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошел, до какой степени уяснил себе из этих наук вопрос о божестве, о душе, о творении? Напоминаю вам, что утро было самое раннее, из-за каменных стен в большом саду нас никто не мог

ни видеть, ни слышать, разве кроме птичек, которые порхали по деревьям. Так старик-то мой-с несколько раз оглянулся во все стороны, сложил вот так трубочкой свои руки, да вот так поднес их к моему уху и чуть слышно шепнул мне:

– Ни до чего не дошел. Говорю ему:

– А как же вы относитесь... называю, знаете, ему две крайние-то партии.

– Как отношусь? – говорит. И опять нагнулся к моему уху и шепнул:

– Не верю ни тем, ни другим.

– Так вот вам, Дарья Михайловна, какие высокие и честные-то души относятся к подобным вопросам: боятся, чтобы птицу небесную не ввести в напрасное сомнение, а вы меня спрашиваете о таких вещах, да еще самого решительного ответа у меня о них требуете. Можно сомневаться, можно надеяться, но *утверждать*... О, боже мой, сколько у людей бывает странной смелости! Я, действительно, человек очень нерешительный, но не думайте, что это у меня от трусости. Чего же мне бояться? У меня только всегда как-то вдруг все стороны вопроса становятся перед глазами и я в них путаюсь, сбиваюсь и делаю бог знает что, бог знает что! Ах, это самое худшее состояние, которое я знаю: это хуже дня перед казнью, потому что все *дни перед казнью*. Перестанемте об этом говорить, Дарья

Михайловна, а то вон опять нас птица слушает.

Долинский сделал шаг вперед и поднял с пыльной дороги небольшую серую птичку, за ножку которой волокся пук завялой полевой травы и не давал ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла из рук Долинского птичку, села на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка с сомлевшей ножкой тихо лежала на белой руке Доры и смотрела на нее своими круглыми, черными глазками.

– Как бьется ее бедное сердечко! – проговорила Дора, шевеля мелкие перышки пташки и глядя в розовый пушок под ее крылышками.

– Милая! – сказала она, поцеловала птичку в головку, приложила ее к своей шейке и пошла к городу. Минут десять они шли в совершенном молчании; на дворе совсем сырело; Дорушка принималась несколько раз все страстнее и страстнее целовать свою птичку. Дойдя до старого, большого каштана, она поцеловала ее еще раз, бережно посадила на ветку и подала руку Долинскому.

– Нестор Игнатьич, – сказала она ему, идучи по пустой улице, – знаете, чтоб вам расстаться с вашими *днями перед казнью*, вам остается одно – найти себе *любовь до слез*.

– Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умею находить.

– А вот птиц же на дорогах находите. Это тоже ведь не всякому случается.

Глава девятая

Повторение задов

У Жервезы Дора и Долинский более не были, прогулки их снова ограничивались холмом над заливом.

Всякий вечер они сидели на этом холмике, и всякий вечер им было так хорошо и приятно.

Как ни коротки были между собой Дора и Долинский, но эти вызываемые Дорою рассказы о прошлом, раскрывая перед нею еще подробнее внутренний мир рассказчика, давали ее отношениям к нему новый, несколько еще более интимный характер.

– Послушайте, Нестор Игнатьич! – сказала раз Даша, положив ему на плечо свою руку, – расскажите мне, мой милый, как вы любили и как вас любили?

– Бог знает, что это вы выдумываете, Дора?

– Так расскажите. Мне очень хочется найти ключ к вашей душевной болезни.

– Забыл уж я, как я любил.

– Э! Врете!

– Право, забыл.

– Забвенья нет.

– Кто ж это вам сказал, что забвенья нет?

– Я вам это говорю.

Нестор Игнатьич молчал, и Даша молчала и дулась.

– Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что вам рассказать?

– Как вы любили первый раз в жизни.

Долинский рассказал свою почти детскую любовь к какой-то киевской кузине. Дора слушала его, не сводя глаз, и когда он окончил, вздохнула и спросила:

– Ну, а как вы любили на законном основании? Долинский рассказал ей в главных чертах и всю свою женатую жизнь.

– Какая гадость! – прошептала Даша и, вздохнув еще разспросила:

– Ну, а дальше что было?

– А дальше вы все знаете.

– Вы грустили?

– Да.

– Встретились с нами?

– Да.

– И счастливы?

– И счастлив.

Даша задумчиво покачала головкой.

– Что? – спросил ее Долинский.

– Так, ключ найден! – чуть слышно уронила Дора. – А как вы думаете, – начала она, помолчавши с минутой, – верно это так вообще, что хорошего нельзя не полюбить?

– Что хорошее? Есть польская пословица, что не то

хорошо, что – хорошо, а то хорошо, что кому нравится.

– Я вам говорю, что *хорошего* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что нравится.

– К чему же вы это говорите?

– Ни к чему! К тому, что если встречается что-нибудь очень хорошее, так его возьмешь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?

– Да...

– Да, я думаю, что *да*.

Произошла пауза, в течение которой Даша все думала, глядя в небо, и потом сказала:

– Знаете что, Нестор Игнатьич? Мне кажется, что наши сравнения сердца с монетой никуда не годятся.

– Я это уж вам говорил.

– С чем же его сравнить?

– Много есть этих сравнений, и все они никуда не годятся.

– Ну, а, например, с чем можно еще сравнить сердце?

– С постоянным двором, – смеясь, отвечал Долинский.

– Гадко, а похоже, пожалуй.

– А, пожалуй, и непохоже, – отвечал Долинский.

– Один постоялец выедет, другому есть место.

– А другой раз и пустой двор простоят.

– Нет, и это не годится. Не верю я, не верю, чтобы

можно было жить без привязанности.

– Бывает, однако.

– Вы помните эти немецкие, кажется, стихи...

– Какие?

– Ну, знаете, как это там: Юпитер посылал Меркурия отыскать никогда не любивших женщин?

– Я даже этого никогда не читал.

– То-то вот и есть; а я это читала.

– Что ж, Меркурий отыскал?

– *Трех!*

– Только-то?

– Да-с, и эти три, знаете, кто были? *Три фурии!* – протяжно произнесла Даша, подняв вверх пальчик.

– Ведь это только написано.

– Да, но я этому верю и очень боюсь такого фуриозного сообщества.

– Вы с какой же это стати?

– А если Юпитеру после моей смерти вздумается еще раз послать Меркурия и он найдет уж четырех.

– Еще полюбите и как полюбите.

– Нет уж, кажется, поздно.

– Любить никогда не поздно.

– Вот за это вы умник! Люди жадны уж очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливым, и на всю жизнь довольно. Правда моя?

– Конечно, правда.

– Какое у нас образцовое согласие!

– Не о чем спорить, когда говорят правду.

– А ведь я бы могла очень сильно любить.

– Кто ж вам мешает? Разборчивы очень.

– Нет, совсем не то. По-моему любить, значит... *любить*, одним словом. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душе, кто по сердцу – кто не по хорошу мил, а по милу хорош.

– Ну-с, я опять спрошу: за чем же дело стало?

– А если „законы осуждают предмет моей любви“? – улыбаясь, продекламировала Даша.

– Но, кто—о, сердце! может противиться тебе? – отвечал Нестор Игнатъич, продолжая речитативом начатую Дашей песню.

– Помните, как это сказано у Лермонтова:

Но сердцу как ума не соблазнить? И как любви стыда не победить? Любовь для неба и земли – святыня, И только для люден порок она!

То скотство, то трусость... бедное ты человечество! Бедный ты царь земли в своих вечных оковах!

– Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до пафоса, до поэзии.

– Нестор Игнатъич! Прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы.

– Виноват.

– То-то.

Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:

– Ну, смотрите, какие штучки наплетены на белом свете! Вот я сейчас бранила людей за трусость, которая им мешает взять свою, так сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсем неправа. Есть ведь такие положения, Нестор Игнатьич, перед которыми и храбрец струсит.

– Например, что ж это такое?

– А вот, например, сострадание, укор совести за чужое несчастье, за чужие слезы.

– Скажите-ка немножко пояснее.

– Да что ж тут яснее? Мало ли что случается! Ну, вдруг, положим, полюбишь человека, которого любит другая женщина, для которой потерять этого человека будет смерть... да что смерть! Не смерть, а мука, понимаете – мука с платком во рту. Что тогда делать?

– На это мудрено отвечать.

– Я думаю, один ответ: страдать.

– Да, если тот, кого вы полюбите, в свою очередь, не любит вас больше той женщины, которую он любил прежде.

– А если он меня любит больше?

– Так тогда какой же резон делать общее несчастье! Ведь если, положим, вы любите какое-нибудь А и это А взаимно любит вас, хотя оно там прежде любило какое-то Б. Ну-с, теперь, если вы знаете, что это А сво-

его Б больше не любит, то зачем же вам отказываться от его любви и не любить его самой. Уж ведь все равно не отошлете его обратно, куда его не тянет. Простой расчет: пусть лучше двое любят друг друга, чем трое разойдутся.

Даша долго думала.

– В самом деле, – отвечала она, – в самом деле, это так. Как это странно! Люди называют безумством то, что даже можно по пальцам высчитать и доказать, что это разумно.

– Люди умных людей в сумасшедшие дома сажали и на кострах жгли, а после через сто лет памятники им ставили. У людей что сегодня ложь, то завтра может быть истиной.

– Какой вы у меня бываете умник, Нестор Игнатьич! Как я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Если б вы давно были со мной, как бы много я знала!

– Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счет. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского так просто-таки терпеть не могу. Не верю ему.

– Да, говорите-ка: не знаете! Нет, большое спасибо вам, что вы со мной поехали. Здесь вас у меня никто не отнимает: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарыч. Тут вы мой крепостной. Правда?

– Да, уж если вы сказали так, то, разумеется, –

правда. Иначе ж ведь быть не может! – отвечал, шутя, Долинский.

– Ну, да, еще бы! Конечно, так, – отвечала живо и торопясь Дора и сейчас же добавила, – а вот, хотите, я вам задам один такой вопрос, на который вы мне, пожалуй, и не ответите?

– Это еще, Дарья Михайловна, будет видно.

– Только смотрите мне прямо в глаза. Я хочу видеть, что вы подумаете, прежде чем скажете.

– Извольте.

– А что...

– Что?

– Эх, нетерпение! Ну, отгадывайте, что?

– Не маг я и не волшебник.

– Что, если б я сказала вам вдруг самую ужасную вещь?

– Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:

– Нет, я прошу вас не шутить, а говорить со мною серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза в глаза Долинского и медленно с расстановками произнесла:

– Ч-т-о, е-с-л-и б-ы я в-а-с п-о-л-ю-б-и-л-а? Долинский вздрогнул и, быстро выпустив из своей руки ручку Даши, ответил смущенным голосом:

– Виноват, проспори́л. Можно, действительно, по-

ручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движения, сделанного Долинским, и, приняв свою руку, сказала:

– Чего вы! Я ведь так говорю, что вздумается. Она была очень встревожена и проговорила эти слова, как обыкновенно говорят люди, вдруг спохватясь, что они сделали самый опрометчивый вопрос.

– Пойдемте домой. Мы сегодня засиделись; сыро теперь, – сказал несколько сухим гувернерским тоном, вместо ответа, Долинский.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали друг Другу ни слова.

Глава десятая

С другой стороны

– Покажите мне ваши башмаки, – начал Нестор Игнатъич, когда, возвратясь, они присели на минутку в своем зальце.

– Это зачем? – спросила серьезно Даша.

– Покажите.

Даша нетерпеливо сняла ногою башмак с другой ноги и, не сказав ни слова, выбросила его из-под платья. Тонкий летний башмак был сырехонек. Долинский взглянул на подошву, взял шляпу и вышел прежде, чем Дора успела его о чем-нибудь спросить.

С выходом Долинского она не переменила ни места, ни положения и, опустив глаза, тихо посмотрела на свои покоившиеся на коленях ручки.

Прошло около четверти часа, прежде чем Долинский вернулся со склянкой спирта и ласково сказал:

– Ложитесь спать, Даша.

– Что это вы принесли?

– Спирт. Я его сейчас согрею, а вы им вытрите себе ноги.

– Для чего это?

– Так. Потому вытрите, что это так нужно.

– Да чего вы боитесь?

– Самой простой штуки, вашего милого здоровья.

– Господи! В каком все строгом чине! – сказала, презрительно подернув плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сделав недовольную гримаску, пошла в свою комнату.

Долинский присел к столику с каким-то особенным тщанием и серьезностью, согрел на кофейной конфорке спирт, смешал его с уксусом, попробовал эту смесь на язык и постучался в Дашины двери. Ответа не было. Он постучался в другой раз – ответа тоже нет.

– Даша? – крикнул он, – Дора! Дорушка! За дверями послышался звонкий хохот. Долинский подумал, что с Дашей истерика, и отворил ее двери. Дорушка была в постели. Укутавшись по самую шею одеялом, она весело смеялась над тревогою Долинского. Долинский надулся.

– Разотрите себе ноги, – сказал он, подавая ей согретый им спирт.

– Не стану.

– Дорушка!

– Не стану, не стану и не стану! Не хочу! Ну, вот не хочу!

И она опять рассмеялась.

Долинский поставил чашку со спиртом на столик у кровати и пошел к двери; но тотчас же вернулся снова.

– Дорушка! Ну, прошу вас ради бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь!

– А вы не смейте дуться.

– Да я вовсе не дулся.

– Дулись.

– Ну, простите, Дора, только растирайте скорее свои ноги – не остыл бы спирт.

– Попросите хорошенько.

– Я вас прошу.

– На колени станьте.

– Дорушка, не мучьте меня.

– Ага! „Не мучьте меня“, – произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула к нему сложенную горстью руку.

Долинский наливал Даше на руку спирт, а она растирала себе под одеялом ноги и морщилась, говоря:

– Какую вы это скверность купили.

– Где у вас шерстяные чулки? – спросил Долинский.

– Нет у меня шерстяных чулок.

– Господи! Да что вы, в самом деле, дитя пятилетней, что ли? – воскликнул с досадой Долинский.

– В комодке вон там, – сухо отвечала на прежний вопрос Дора.

Долинский взял ключи и рылся, отыскивая чулки.

– Точно нянька! И то самая гадкая, надоедливая, – говорила, смеясь и глядя на него, Даша.

Долинский достал также из комода пушистый плед и одел им ноги Доры.

– Еще чего не найдете ли! – спросила она, продолжая над ним подтрунивать.

– Вы не храбритесь, – отвечал Долинский, – а лучше спите хорошенько, – и пошел к двери.

– Нестор Игнатьич! – крикнула Даша.

– Что вам угодно?

– Что ж это за невежество?

– Что такое?

– Уж вы нынче не прощаетесь со мной?

– Виноват. Вы, право, так беспощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.

– А вы все это ото всех пощады вымаливаете?

– Ну, пожалуйста же вашу ручку.

– Не надо, – отвечала Даша и обернулась к стене.

– И тут каприз.

– Везде, да, везде каприз! На каждом шагу будет каприз—потому, что вы мне совсем надоели с своим гувернерством.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все снились; а Долинский не ложился вовсе. Он несколько раз подходил ночью к Дашиной комнате и все слушал, как она дышит. Утром Даша чувствовала себя хорошо; написала сестре письмо, в котором подтрунивала она над беспокойством Долинско-

го и нарисовала с краю письма карикатурку, изображающую его в повязке, какие носят русские няньки. Но к вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла в постель ранее обыкновенного. Ночью спала беспокойно, а к утру начала покашливать. Долинский страшно перепугался этого кашля и побежал за доктором. Доктор нашел вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель очень неблагоприятная вещь при ее здоровье; прописал ей лекарство и уехал. Днем Даша была покойна, но все супилась и упорно молчала, а к вечеру у нее появился жар. Даша сделалась говорлива и тревожна. То она, как любознательный ребенок, приставала к Долинскому с самыми обыкновенными и незначащими вопросами; требовала у него разъяснения самых простых, конечно ей самой хорошо известных вещей; то вдруг резко переменяла тон и начинала придираться и говорить с ним свысока.

– Вы на меня не сердитесь, голубчик, Нестор Игнатьич, что я капризничаю? – спрашивала она Долинского.

– Нисколько.

– Отчего ж вы нисколько на меня не сердитесь?

– Да так, не сержусь.

– Да ведь я несносно, должно быть, капризничаю?

– Ну, что ж делать?

– Я бы не вытерпела, если бы кто так со мною капризничал.

– На то вы женщина.

Дорушка помолчала с минуту и, кусая губки, проговорила глухим голосом:

– Очень вы все много знаете о женщинах!

– Некоторые знают довольно.

– Никто ничего не знает, – отвечала Дора, резко и с сердцем.

– Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знает, только не сердитесь, пожалуйста.

– Вот! Стану я еще сердиться! – продолжала вспыльчиво Дора. – Мне нечего сердиться. Я знаю, что все врут, и только. Тот так, тот этак, а умного слова ни один не скажет.

– Это правда, – отвечал примирительно Долинский.

– Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будет правда?

Даша повернулась к стене и замолчала.

Долинский пригласил было ночевать к ней m-me Бю-жар, но Даша в десять часов отпустила старуху, сказав, что ей надоела французская пустая болтовня. Долинский не противоречил. Он сел в кресло у двери Дашиной комнаты и читал, беспрестанно поднимая голову от книги и прислушиваясь к каждому движению больной.

– Нестор Игнатьич! – тихо покликнула его Даша, часу во втором ночи.

Он встал и подошел к ней.

– Вы еще не спали? – спросила она.

– Нет, я еще читал.

– Который час?..

– Около двух часов, кажется.

Даша покачала головой и с ласковым упреком сказала:

– Зачем вы себя попусту морите?

– Я зачитался немножко.

– Что же вы читали?

– Так, пустяки.

– Охота ж читать пустяки! Садитесь лучше здесь на кресло возле меня; по крайней мере будем скучать вместе.

Долинский молча сел на кресло.

– Я все сны какие-то видела, – начала, зевнув, Даша. – Петербург, Анну, вас, и вдруг скучно что-то сделалось.

– Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

– Дайте мне вашу руку, – сказала она, когда Долинский сел на кресло у ее изголовья. – Вот так веселее все-таки; а то страшно как-то, как будто в могиле я, никого близкого нет со мной.

– Вы хандрите, Дорушка.

– А хандра разве не страданье?

– Ну, разумеется, страданье.

– То-то. Это ведь люди все повывдумывали: вымышленное горе, ложный страх, ложный стыд; а кому горько, или кому стыдно, так все равно, что от ложного, что от настоящего горя – все равно. Кто знает, что у кого ложное? – философствовала Даша и уснула, держа Долинского за руку. Так она проспала до утра, а он не спал опять и много передумал. Перед ним прошла снова вся его разбитая жизнь, перед ним стояла тихая, кроткая Анна, перед которой он благоговел, возле которой он успокоился, ожил, как бы вновь на свет народился. А теперь Даша. Ее странные намеки, ее порывы, которых она не может сдержать, или... не хочет даже сдерживать! Потом ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто, по обыкновению своему, шалит, играет своими странными вопросами, и ничего более. Думал он уехать и нашел, что это было очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсем укрепилась.

Утром у Даши был легонький кашель. День целый она провела прекрасно, и доктор нашел, что здоровье ее пришло опять в состояние самое удовлетворительное. С вечера ей не спалось.

– Бессонница меня мучает, – говорила она, метаясь

по подушке.

– Какая бессонница! Вы просто выспались днем, – отвечал Долинский. – Хотите, я вам почитаю такую книгу, что сейчас уснете?

– Хочу, – отвечала Даша.

Долинский принес утомительно скучный французский формулярный список Жюль Жерара.

– Покажите, – сказала Даша. Она взглянула на заглавие и, улыбнувшись, проговорила – Львы—хорошие животные. Читайте.

Книга сделала свое дело. Даша заснула. Долинский положил книгу. Свеча горела под зеленым абажуром и слабо освещала оригинальную головку Доры... „Боже! как она хороша“, – подумал Долинский, а что-то подсказывало ему: „А как умна, как добра! Как честна и тебя любит!“

Сон одолевал Нестора Игнатъича. Три ночи, проведенные им в тревоге, утомили его. Долинский не пошел в свою комнату, боясь, что Даше что-нибудь понадобится и она его не докличется. Он сел на коврик в ногах ее кровати и, прислонясь головою к матрацу, заснул в таком положении как убитый.

К утру Долинского начали тревожить странные сновидения: степь Сахара жгучая, верблюды со своими овечьими мордочками на журавлиных шеях, звериное рычание и щупленький Жюль Жерар с сержант-

девильской бородкой. Все это как-то так переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходит ясно и определенного. Вдруг река бежит, широкая, сердитая, на ее берегах лежат огромные крокодилы: „это, должно быть, Нил“, – думает Долинский. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поет:

Ох, ты Днепр ли мой широкий!
Ты кормилец наш родной!

На лодочке две человеческие фигуры, покрытые длинными белыми вуалями.

– Плывет лодка, а в ней два пассажира: которого спасти, которого утопить? – спрашивает Долинского самый большой крокодил.

– Какая чепуха! – думает Долинский.

– Нет, любезный, это не чепуха, – говорил крокодил, – а ты выбирай, потому что мы с тобой в фанты играем.

– Ну, смотри же, – продолжает крокодил, – раз, два! Он взмахнул хвостом, лодочка исчезла в белых брызгах, и на волнах показалась тонущая Анна Михайловна.

– Это мой фант, твой в лодке, – говорит чудовище. Рассеялись брызги, лодочка снова чуть качается на одном месте, и в ней сидит Дора. Покрывало спало с

ее золотистой головки, лицо ее бледно, очи замкнуты: она мертвая.

– Это твой фант, – внятно говорит из берегового тростника крокодил, и все крокодилы стонут, так жалобно стонут.

Долинский проснулся. Было уже восемь часов. Прежде чем успел он поднять голову, он увидел перед своим лицом лежавшую ручку Даши. „Неприятный сон“, – подумал Долинский, и с особым удовольствием посмотрел на ручку Доры, облитую слабым светом, проходившим сквозь шелковую зеленую занавеску окна. Привстав, он тихонько наклонился и поцеловал эту руку, как целовал ее часто по праву дружбы, и вдруг ему показалось, что этот поцелуй был чем-то совсем иным. Нестору Игнатьевичу почудилось, что Дашина рука, привыкшая к его поцелуям, на этот раз как будто вздрогнула и отдернулась от его уст. Он посмотрел на Дашу; она лежала с закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившись из-под упавшего на подушку чепца, красною сетью раскинулись по белой наволочке. Долинский тихонько приложил руку ко лбу Доры. В голове не было жара. Потом он хотел послушать, как она дышит, нагнулся к ее лицу и почувствовал, что у него кружится голова и уста предательски клонятся к устам.

Долинский быстро отбросил свою голову от изголо-

вья Доры и поспешно вышел за двери.

Если б оконная занавеска не была опущена, то Долинскому не трудно было бы заметить, что Даша покраснела до ушей и на лице ее мелькнула счастливая улыбка. Чуть только он вышел за двери, Дора быстро поднялась с изголовья, взглянула на дверь и, еще раз улыбнувшись, опять положила голову на подушку... Вместо выступившего на минуту по всему ее лицу яркого румянца, оно вдруг покрылось мертвою бледностью.

Глава одиннадцатая

Ум свое, а черт свое

Даша к обеду встала. Она была смущена и избегала взглядов Долинского; он тоже мало глядел на нее и говорил немного.

– Мне теперь совсем хорошо. Не ехать ли нам в Рос» сию? – сказала она после обеда.

– Как хотите. Спросимте доктора.

Даша решила в своей голове ехать, каков бы ни был докторский ответ, и чтоб приготовить сестру к своему скорому возвращению, написала ей в тот же день, что она совсем здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили и объявили m-те Бюжар, что через неделю уезжают из Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдруг садилась над чемоданом и, положив одну вещь, смотрела на нее безмолвно по целым часам. Долинский был гораздо покойнее, и видно было, что он искренне радовался отъезду в Петербург. Он страдал за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

«Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройдет, – рассуждал он, медленно расхаживая по своей комнатке, в ожидании Дашиного вставанья. – А когда пройдет, то... Боже, где же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи, моя душа, снова, ничего те-

перь у тебя нет опять; а лгать я... не могу; не стану».

– Два дня всего нам остается быть в Ницце, – сказала один раз Даша, – пойдёмте сегодня, простимся с нашим холмом и с морем.

Долинский согласился.

– Только надо раньше идти, чтоб опять сырость не захватила, – сказал он.

– Пойдёмте сейчас.

Был восьмой час вечера. Угасал день очень жаркий. Дорушка не надела шляпы, а только взяла зонтик, покрылась вуалью, и они пошли.

– Ну-с, сядемте здесь, – сказала она, когда они пришли на место своих обыкновенных надбережных бесед.

Сели. Даша молчала, и Долинский тоже. В последние дни они как будто разучились говорить друг с другом.

– Жарко, – сказала Даша. – Солнце садится, а все жарко.

– Да, жарко.

И опять замолчали.

– Неба этого не забудешь.

– Хорошее небо.

– Положите мне, пожалуйста, ваше пальто, я на нем прилягу.

Долинский бросил на траву свое пальто, Даша лег-

ла на нем и стала глядеть в сапфирное небо.

Опять началось молчание. Даша, кажется, устала глядеть вверх и небрежно играла своими волосами, с которых сняла сетку вместе с вуалью. Перекинув густую прядь волос через свою ладонь, она смотрела сквозь них на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, делали их еще краснее.

– Смотрите, – сказала она, заслонив волосами лицо Долинского, – я, точно, как говорят наши девушки: «халдей опаляющий». Надо ж, чтобы у меня были такие волосы, каких нет у добрых людей. Вот если бы у вас были такие волосы, – прибавила она, приложив к его виску прядь своих волос, – преуморительный был бы.

– Рыжий черт, – сказал, смеясь, Долинский. Даша отбросила свои волосы от его лица и проговорила:

– Да вы-таки и черт какой-то.

Долинский сидел смирнехонько и ничего не ответил; Дора, молча, смотрела в сторону и, резко повернувшись лицом к Долинскому, спросила:

– Нестор Игнатьич! А что вам говорят теперь ваши предчувствия? Успокоились они, или нет?

– Это всегда остается одним и тем же.

– Ай, как это дурно!

– Что это вас так обходит?

– Да так, я тоже начинаю верить в предчувствия; боюсь за вас, что вы, пожалуй, чего доброго, не доедете до Петербурга.

– Ну, этого-то, полагаю, не случится.

– Почему знать! Олегова змея дождалась его в лошадином черепе: так, может быть, и ваша откуда-нибудь вдруг выползет.

– Буду уходить.

– Хорошо как успеете! Вы помните, как змеи смотрят на зайцев? Те, может быть, и хотели бы уйти, да не могут. – А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

– Правда; я сам видел, как заяц барабанил.

– Будто! Будто вы это сами видели! – спросила Дорушка с явной насмешкой.

– Да, сам видел, и это гораздо менее удивительно, чем то, что вы теперь без всякой причины злитесь и придираетесь.

– Нет, мне только смешно, что вы меня так серьезно уверяете, что зайцы могут бить на барабане, тогда как я знаю зайца, который умел алгебру делать. Ну, с, чей же замечательнее? – окончила она, пристально взглянув на Долинского.

– Ваш, без всякого сомнения, – отвечал Нестор Игнатьевич.

– Вы так думаете, или вы это наверно знаете?

– Дарья Михайловна, ну что за смешной разговор такой между нами!

Даша страшно побледнела; глаза ее загорелись своим грозным блеском; она еще пристальнее вперила свой взгляд в глаза Долинского и медленно, с расстановкой за каждым словом, проговорила:

– Когда А любит Б, а Б любит С, и С любит Б, что этому С делать?

У Долинского вдруг похолонуло в сердце.

– Отвечайте же! Ведь это вы мне эту алгебру-то на-толковали, – сказала еще более сердито Дора.

Нестор Игнатьевич совсем не знал, что сказать. «Вот оно! Вот оно мое воспитание-то! Вот он мой характер-то! Ничего не умею сделать вовремя; ни в чем не могу найтись!»—размышлял он, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

– А любит Д, и Д любит А! Б любит А, но А уже не любит этого Б, потому что он любит Д. Что же теперь делать? Что теперь делать?

Дора нервно дернулась и еще раздражительнее крикнула:

– Что, вы глухи, или глупы стали?

– Глуп, верно, – уронил Долинский.

– Ну, так поймите же без обиняков: я *вас люблю*.

– Дора! – вскрикнул Долинский и закрыл лицо рука-

ми.

– Слушай же далее, – продолжала серьезно Дора, – ты сам меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свете!.. Чего ж ты молчишь? Разве это сегодня только случилось! Мы страдаем все трое—хочешь, будем счастливы двое? Ну...

Долинский, не отрывая рук от глаз, уныло качал головой.

– Я ведь видела, как ты хотел целовать мое лицо, – проговорила Дора, поворачивая к себе за плечо Долинского, – ну, вот оно—целуй его: я *люблю тебя*.

– Дора, Дора, что вы со мной делаете? – шептал Долинский, еще крепче прижимая к лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинский почувствовал на своих плечах обе ее руки и ее теплое дыхание у своего лба.

– Дора, пощадите меня, пощадите! Это выше сил человеческих, – выговорил, задыхаясь, Долинский.

– Незачем! – страстно произнесла Дора и, сильно оторвав руки Долинского, жарко поцеловала его в губы.

– Любишь? – спросила она, откинув немножко свою голову.

– Ну, будто вы не видите! – робко отвечал Долинский, трепетно наклоня свое лицо к руке Доры.

Даша тихонько отодвинула его от себя и, глядя ему прямо в глаза, проговорила:

– А Аня?

Долинский молчал.

– Долинский, а что же Аня?

– Вы надо мной издеваетесь, – проронил, бледнея, Долинский.

– *Она тебя так любит...*

– О, боже мой, какие злые шутки!

– *А я люблю тебя еще больше,* – досказала Дора. – Я люблю тебя, как никто не любит на свете; я люблю тебя, как сумасшедшая, как бешеная!

Дора неистово обхватила его голову и впилась в него бесконечным поцелуем.

– Небо... небеса спускаются на землю! – шептала она, сгорая под поцелуями.

Лепет прерывал поцелуи, поцелуи прерывали лепет. Головы горели и туманились; сердца замирали в сладком томленьи, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновенным порядком, и ночь раскинула над усталой землей свое прохладное одеяло. Давно пора идти было домой.

– Боже, как уже поздно! – сказал Долинский.

– Пойдем, – тихо отвечала Даша. Они встали и пошли: Даша шла, облакачиваясь на руку Долинского; он шагал уныло и нерешительно.

– Постой! – сказала Даша.

– Что вы хотите?

– Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далее.

На земле была тихая ночь; в бальзамическом воздухе носилось какое-то животворное влияние и круглые звезды мириадами смотрели с темно-синего неба. С надбережного дерева неслышно снялись две какие-то большие птицы, исчезли на мгновение в черной тени скалы и рядом потянули над тихо колеблющимся заливцем, а в открытое окно из ярко освещенной виллы бояр Онучиных неслись стройные звуки согласного дуэта.

М-ме Бюжар на другой день долго ожидала, пока ее позовут постояльцы. Она несколько раз выглядывала из своего окна на окно Доры, но окно это, по-прежнему, все оставалось задернутым густою зеленою занавескою.

Даша встала в одиннадцать часов и оделась сама, не покликав м-ме Бюжар вовсе. На Доре было вчерашнее ее белое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. К ней очень шел этот простой и легкий наряд.

Долинский проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. В то время, когда Даша, одевшись, вышла в зальце, он неподвижно сидел за сто-

лом, тяжело опустив голову на сложенные руки. Красивое и бледное лицо его выражало совершенную душевную немощь и страшную тревогу.

– Гнусный я, гнусный и ничтожный человек! – повторил себе Долинский, тоскливо и робко оглядываясь по комнате.

– Боже! Кажется, я заболелю, – подумал он несколько радостнее, взглянув на свои трясущиеся от внутренней дрожи руки. – Боже! Если б смерть! Если б не видеть и не понимать ничего, что такое делается.

В зале послышались легкие шаги и тихий шорох Дашиного платья.

Долинский вздрогнул, как вздрагивает человек, получающий в грудь острый укол тонкой шпаги, побледнел как полотно и быстро вскочил на ноги. Глаза его остановились на двери с выражением неопишуемой муки, ужаса и мольбы.

В дверях, тихо, как появляются фигуры в зеркале, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на пороге и пристально посмотрела на Долинского. Лицо Доры было еще живее и прекраснее, чем обыкновенно.

Прошло несколько секунд молчания.

– Поди же ко мне! – позвала с покойной улыбкой Дора.

– Я сейчас, – отвечал Долинский, оправляясь и ото-

двигая ногою свое кресло.

Вечером в этот день Даша в первый раз была одна. В первый раз за все время Долинский оставил ее одну надолго. Он куда-то совершенно незаметно вышел из дома тотчас после обеда и запропастился. Спустился вечер и угас вечер, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и в воздухе запахло спящими розами, а Долинский все не возвращался. Дору это, впрочем, по-видимому, совсем не беспокоило, она проходила часов до двенадцати по цветнику, в котором стоял домик, и потом пришла к себе и легла в постель.

Темная ночь эта застала Долинского далеко от дома, но в совершенной физической безопасности. Он очень далеко забрел скалистым берегом моря и, стоя над обрывом, как береговой ворон, остро смотрел в черную даль и добивался у рокочущего моря ответа: неужто же я сам хотел этого? Неужто уж ни клятв, ни обещаний ненарушимых больше нет?

Часть третья

Глава первая

Живая душа выгорает и куется

Ничего не было хорошего, ни радостного, ни утешительного в одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь под самый корень, и в утешение ей не оставалось даже того гадкого утешения, которое люди умеют находить в ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человек, и Дора не без основания часто называла ее «невозможною».

В тот самый день, ниццскими событиями которого заключена вторая часть нашего романа, именно накануне св. Сусанны, что в Петербурге приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльного и неприятного месяца июля, Анне Михайловне было уж как-то особенно, как перед пропастью, тяжело и скучно. Целый день у нее валилась из рук работа, и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидеть в свою полутемную комнату. На дворе было около десяти часов.

В это время к квартире Анны Михайловны шибко подкатил на лихаче молодой белокурый барин, с туго

завитыми кудрями и самой испитой, ничего не выражающей физиономией. Он быстро снялся с линейки, велел извозчику ждать себя, обдернул полы шикарного пальто-пальмерстона и, вставив в правый глаз 'стеклышко, скрылся за резными дверями парадного подъезда.

Через минуту этот господин позвонил у магазина и спросил Долинского. Девушка отвечала, что Долинского нет ни дома, ни в Петербурге. Гость стал добиваться его адреса.

– А лучше всего, – просил он, – попросите мне повидаться с хозяйкой.

«Что ему нужно такое?»—раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.

Гость между тем топтал по магазину, в котором от него разносился запах гостинодворского эс-букета.

– Мое почтение! – развязно хватил он при появлении в дверях хозяйки и тряхнул себя циммермановской шляпой по ляжке.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не села, а остановилась у шкапа.

Анна Михайловна знала почти всех знакомых Долинского, а этого господина припомнить никак не могла.

– Вам угодно адрес Нестора Игнатьича? – спросила она незнакомого гостя.

- Да-с, мне нужно ему бы отослать письмецо.
- Адрес его просто в Ниццу, *poste restante*.
- Позвольте просить вас записать.
- Да, я говорю, просто: *Niece, poste restante*.⁴¹
- Вы к нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на бесцеремонного гостя и спокойно отвечала:

- Да, пишу.
- Нельзя ли вам переслать ему письмецо?
- Да вы отошлите просто в Ниццу.
- Нет, что ж там еще рассылаться! Сделайте уж милость, передайте.
- Извольте.

– А то мне некогда возжаться. – Гость подал конверт, написанный на имя Долинского очень дурным женским почерком, и сказал, – это от сестры моей.

– Позвольте же узнать, кого я имею честь у себя видеть?

– Митрофан Азовцов, – отвечал гость.

– Азовцов, Азовцов, – повторяла в раздумье Анна Михайловна, – я как будто слыхала вашу фамилию.

– Нестор Игнатьич женат на моей сестре, – отвечал гость, радостно осклабясь и показывая ряд нестерпимо глупых белых зубов.

Теперь и почерк, которым был надписан конверт,

⁴¹ Ницца, до востребования (франц.)

показался знакомым Анне Михайловне, и что-то кольнуло ее в сердце. А гость продолжал ухмыляться и с радостью рассказывал, что он давно живет здесь в Петербурге, служит *на конторе*, и очень давно слышал про Анну Михайловну очень много хорошего.

– Моя сестра, разумеется, как баба, сама виновата, – произнес он, зареготав жеребчиком. – Ядовита она у нас очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважал и буду уважать, потому что он добрый, очень добрый был для всех нас. Маменька с сестрою там как им угодно: это их дело.

Они у нас два башмака—пара. На обухе рожь молотят и зерна не уронят. – Азовцов зареготал снова.

Анна Михайловна созерцала этот экземпляр молча, как воды в рот набравши.

Экземпляр поговорил-поговорил и почувствовал, что пора и честь знать.

– До свиданья-с, – сказал он, наконец, видя, что ему ничего не отвечают.

– Прощайте, – отвечала Анна Михайловна и позволила девушке.

– Очень рад, что с вами познакомился. Анна Михайловна поклонилась молча.

– К нам на контору, когда мимо случится, милости просим.

Хозяйка еще раз поклонилась.

– Нет, что же такое! – разговаривал гость, поправляя палец перчатки. – К нам часто даже довольно дамы заходят, чаю выкушать или так отдохнуть. – Пожалуйста, будьте столько добры!

– Хорошо-с, – отвечала Анна Михайловна. – Когда-нибудь.

– Сделайте ваше такое одолжение!

– Зайду-с, зайду, – отвечала, чтоб отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она несколько раз прошлась по комнате, взяла письмо, еще прочла его адрес и опять положила конверт на стол. «Письмо от его жены! – думала Анна Михайловна. – Распечатать его, или нет? Лучше отослать ему. А если тут что-нибудь неприятное? Если опять какой-нибудь глупый фарс? Зачем же его огорчать? Зачем попусту тревожить?»—Анна Михайловна взялась за конверт и положила палец на сургуч, но опять задумалась. «Становиться между мужем и женой! Нет, не годится», – сказала она себе и положила письмо опять на стол. Вечер прошел, подали закуску. Анна Михайловна ела очень мало и в раздумье глядела на m-lle Alexandrine, глотавшую все с аппетитом, в котором голодный волк, хотя немножко, но все-таки, однако, уступает французской двадцатипятилетней гризетке. После ужина опять письмо завертелось в руках Анны Михайловны. Ей, как Шпекину, в

одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а в другое—«распечатай, распечатай!». Она вспомнила, как Даша говорила: «Нет, мои ангельчики! Если б я когда полюбила женатого человека, так уж – слуга покорная – чьи бы то ни были, хоть бы самые законные старые права на него, все бы у меня покончилось». – «В самом деле! – подумала Анна Михайловна. – Что ж такое; если в письме нет для него ничего неприятного, я его отошлю ему; а если там одни мерзости, то... подумаю, как их сгладить, и тоже отошлю». Она зажгла свечу в комнате Долинского и распечатала конверт.

На скверной, измятой почтовой бумажке рыжими чернилами было написано следующее:

«Вы честным словом обязались высылать мне ежегодно пятьсот рублей и пожертвовали мне какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего киевского дворца. Я, по неопытности, приняла этот вексель, а теперь, когда мне пондобились деньги, я вместо денег имею только одни хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это так будет, вы знали, что мне придется выдирать каждый грош, когда уступили мне право на вашу часть. Я понимаю все ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далее:

«Возьмите себе назад эту уступку, а я хочу иметь

чистые деньги. Потрудитесь мне тотчас их выслать по почте. Вы зарабатываете более двухсот рублей в месяц и половину можете отдать жене, которая всегда могла бы быть счастлива с лучшим человеком, который бы ценил ее, ежели бы вы не завязали ее век. Если вы не захотите этого сделать – я вам покажу, что вас заставят сделать. Вы можете там жить хоть не с одной модисткой, а с двадцатью разом – вы развратник были всегда и мне до вас дела нет. Но вы должны помнить, что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня до гибельного шага, что вы теперь обязаны меня обеспечить и что я имею право это требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, так вас хорошенько проучат, как негодяя. Я не прежняя беззащитная девочка, которою вы могли вертеть, как хотели».

Анна Михайловна рассмеялась.

«Я выведу на чистую воду, – продолжала в своем письме m-те Долинская, – и покажу вам, какая разница между мною и обирающей вас метреской».

На щеках у Анны Михайловны выступили пятна негодования. Она вздохнула и продолжала читать далее:

«Я осрамлю и вас, и ее на целый свет. Вы жалуетесь, что я вас выгнала из дома, так уж все равно –

жалуйтесь, а я вас выгоню еще и из Петербурга вместе с вашей шлюхой».

Письмо этим оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренне радовалась, что она его прочитала.

– Какая гадкая женщина! – сказала она сама с собою, кладя письмо в столик и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выражение, и она, выбрав себе перо по руке, писала следующее:

«Милостивая государыня!

Прилагаемые при этом письме триста рублей прошу вас получить в число пятисот, требуемых вами от вашего мужа. Остальные двести вы аккуратно получите ровно через месяц. Бумагу, открывающую вам счет с сестрою господина Долинского, потрудитесь удержать у себя. Неполучение ваших денег от его сестры, вероятно, не выражает ничего, кроме временного расстройства ее дел, которое, конечно, минется, и вы снова будете получать, что вам следует. Мужа вашего здесь нет и его совсем нет в России. Письма вашего он не получит. Вам отвечает, вместо вашего мужа, женщина, которую вы называете его метреской. Она считает себя в праве и в средствах успокоить вас насчет денег, о которых вы заботитесь, и позволяет себе просить вас не прибегать ни к каким угрожающим

мерам, потому что они вовсе не нужны и совершенно бесполезны».

Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила его в конверт вместе с тремя радужными бумажками и спокойно легла в постель, сказав себе:

– Слава богу, что только всего горя.

Через день у ней был Журавка со своей итальянкой, и если читатель помнит их разговор у шкапика, где художник пил водчонку, то он припомнит себе также и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потом только плакала; но не это письмо было причиной ее горя.

После нового года, пред наступлением которого Анна Михайловна уже нимало не сомневалась, что в Ницце дело пошло анекдотом, до чего даже домыслился и Илья Макарович, сидя за своим мольбертом в своей одиннадцатой линии, пришло опять письмо из губернии. На этот раз письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.

Юлочка настрочила в этом письме Анне Михайловне кучу дерзких намеков и в заключение сказала, что теперь ей известно, как люди могут быть бесстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволит человеку, загубившему всю ее жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встречной; сама приедет в Петербург, сама пойдет всюду без всяких протекций и докажет

всем милым друзьям, что она может сделать.

Анна Михайловна, прочитав письмо, произнесла про себя: «Дура!» Потом положила его в корзинку и ничего на него не отвечала. Ей очень жаль было Долинского, но она знала, что здесь нечего делать, и давно решила, что в этом случае всего нужно выждать от времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни на какие бесполезные схватки с нею. Она ей не уступала без боя того, что считала своим достоянием по человеческому праву, и не боялась боевых мук и страданий; но, дорожа своими силами, разумно терпела там, где оставалось одно из двух – терпеть и надеяться, или быть отброшенной и злобствовать, или жить только по великодушной милости победителей.

Она не видела ничего опасного в своей системе и была уверена, что она ничего не потеряла из всего того, что могла взять, а что уж потеряно, того, значит, взять было невозможно по самым естественным и, следовательно, самым сильным причинам. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и ничего не вырывала насильно; жила по душе и всем предоставляла жить по совести. Этой простой логики она держалась во всех более или менее важных обстоятельствах своей жизни и не изменила ей в отношении к Долинскому и Дорушке, разорвавшим ее скромное сча-

стве.

– Пусть будет, что будет, – говорила сама себе Анна Михайловна, – тут уж ничего не сделаешь, – и продолжала писать им письма, полные участия, но свободные от всяких нежностей, которые могли бы их беспокоить, шевеля в их памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелым укором настоящему.

А что делали, между тем, в Ницце?

Глава вторая

Ницца

Крылатый божок, кажется, совсем поселился в трех комнатках m-me Бюжар, и другим темным и светлым божествам не было входа к обитателям скромной квартирки с итальянским окном и густыми зелеными занавесками. О поездке в Россию, разумеется, здесь уж и речи не было, да и о многом, о чем следовало бы вспомнить, здесь не вспоминали и речей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладела Долинским и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотреть в будущее.

– Боже мой, как мы любим друг друга! – восхищалась Даша, сжимая голову Долинского в своих розовых, свеженьких ручках.

Нестор Игнатьич обыкновенно застенчиво молчал при этих страстных порывах Доры, но она и в этом молчании ясно читала всю необъятность чувства, зажженного ею в душе своего любовника.

– Ты меня ужасно любишь? Ты никого так не любил, как меня? – спрашивала она снова, стараясь добиться от него желаемого слова.

– Я всюю душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнее, еще

жарче ласкала Долинского.

Разговоры их никто бы не записал, да они всем бы и наскучили. Все их разговоры были в этом роде, а разговоры в этом роде могут быть вполне понятны только для того существа, которое, прочитав эти строчки, может склонить к себе любимую головку и почувствовать то, что чувствовали Даша и Долинский. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чем не думали и только «любились». А время шло. Со дня святой Сусанны минуло более пяти месяцев. В Ниццу опять приехало из России давно жившее там семейство Онучиных. Семейство это состояло из матери, происходящей от древнего русского княжеского рода, сына – молодого человека, очень умного и непомерно строгого, да дочери, которая под Новый год была в магазине «M-me Annette» и вызвалась передать ее поклон Даше и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьевной, сына – Кириллом Сергеевичем, а дочь – Верой Сергеевной. Семейство это было немного знакомо с Долинским.

Возвратясь в Ниццу, Вера Сергеевна со скуки вспомнила об этом знакомстве и как-то послала просить Долинского побывать у них когда-нибудь запросто. Нестор Игнатьевич на другой же день пошел к Онучиным. В пять месяцев это был его первый выход в чужой дом. В эти пять месяцев он один никуда не

выходил, кроме кофейни, в которой он изредка читал газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его где-нибудь или на бульваре, или тут же в кафе.

Вера Сергеевна встретила Долинского на террасе, окружавшей домик, в котором они жили. Она сидела и разрезывала только что полученную французскую иллюстрированную книжку.

– Здравствуйте, m-г Долинский! – сказала она, радушно протягивая ему свою длинную белую руку. – Берите стул и садитесь. Матан еще не вышла, а брата нет дома – поскучайте со мною.

Долинский принес стул к столу и сел.

– Как поживаете? – спросила его Вера Сергеевна.

– Благодарю вас: день за день, все по-старому.

– Рвешься из России в эти чужие края, – резонировала девушка, – а приедешь сюда – и здесь опять такая же скука.

– Да, тут, в Ницце, кажется, не очень веселятся.

– А вы никуда не выезжали?

– Нет, я не выезжал.

– Что ж, вы... много работаете?

– Так... как немцы говорят: «etwas».⁴²

– Sehr wenig,⁴³ значит.

– Очень мало.

⁴² Кое-что (нем.).

⁴³ Чуть-чуть (нем.).

– Но, конечно, будете так любезны, что прочтете нам то, что написали.

– Полноте, Вера Сергеевна! Что вам за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хороших вещей, которые вы можете прочесть и с удовольствием, и с пользой.

– Унижение паче гордости, – шутливо заметила Вера Сергеевна и, оставив этот разговор, тотчас же спросила: —А что делается с вашей очаровательной больной?

– Ей лучше, – отвечал Долинский.

– Я видела ее сестру.

– А-а! Где же это?

Вера Сергеевна рассказала свое свидание с Анной Михайловной, как будто совсем не смотря на Долинского. но, впрочем, на лице его и не видно было никакой особенно замечательной перемены.

– И больше ничего она не говорила?

– Нет. Она сказала, что вы часто переписываетесь. Тут Нестор Игнатьевич слегка покраснел и отвечал:

– Да, это правда.

– Что вы не курите, monsieur Долинский, хотите папироску?

– Нет, благодарю вас, я не курю.

– Вы, кажется, курили.

– Да, курил, но теперь не курю.

– Что же это за воздержание?

– Так, что-то надоело. Хочу воспитывать в себе волю, Вера Сергеевна, – шутил Долинский.

– А, это очень полезно.

– Только боюсь, не поздненько ли это несколько?

– Ну, *mieux tard*⁴⁴... – *Que jamais*⁴⁵ – замечание во всех других случаях совершенно справедливое, – подсказал Долинский.

– Не собираетесь в Россию? – спросила Вера Сергеевна после короткой паузы.

– Нет еще.

– А там новостей, новостей!

– Будьте милостивы, расскажите.

М-lle Онучина рассказала несколько русских новостей, которые только для нее и были новостями и которые Долинский давно знал из иностранных газет. Старая Онучина все не выходила. Долинский посидел около часу, простился, обещал заходить и ушел с полной решимостью не исполнять своего обещания.

– Что ты там сидел так долго? – спросила его Даша, встречая на крыльце, с лицом в одно и то же время и веселым, и несколько тревожным.

– Всего час один только, Дора, – отвечал покорно Долинский.

⁴⁴ Лучше поздно... (франц.).

⁴⁵ ... чем никогда (франц.).

– Час! Как это странно... – нетерпеливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя, что говорит не дело.

– Нельзя же было, Дора.

– Ну, да... очень может быть. Ну, что ж тебе рассказали?

– Ничего. Просто поклон привезли.

– От Анны?

– Да.

Оба долго молчали. Даша сидела, сложа руки, Долинский с особенным тщанием выбивал щелчками пыль, насевшую на его белой фуражке.

– Что ж еще рассказывали тебе? – спросила, поправляясь на диване, Даша.

– Ничего, Дора.

– Как это глупо!

– Что не рассказывали-то?

– Нет, что ты скрытничаеть.

– О новостях говорила m-Ile Vera.

– О каких?

– Ну, все старое. Я тебе все давно говорил.

– Чего ж ты таким сентябрем смотришь?

– Это тебе кажется! Тебе просто посердиться хочется.

– Первый туман, – сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

– Какой туман?

– На лбу у тебя.

– Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

– Не будь, сделай милость, ничтожным человеком.

Наш мост разорен! Наши корабли сожжены! Назад идти нельзя. Будь же человеком, уж если не с волею, так хоть с разумом.

– Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вместо ответа посмотрела на него искоса очень пристально и с легкой презрительной гримаской.

– Я ж люблю тебя! – успокоивал ее Долинский.

– И боишься?

– Чего?

– Прошлого.

– Бог знает, что тебе сегодня кажется.

– То, что есть на самом деле, мой милый.

– Напрасно; я только думаю, что честнее было бы с нашей стороны обо всем написать...

Даша задумалась и потом, вздохнув, сказала:

– Я сама знаю, что нужно делать. Вечером, по обыкновению, они сидели на холмике и в первый раз порознь думали.

– Ты ничего не работаешь? – спросила Даша.

– Ничего, Дора.

– Я тоже ничего.

– Что ж тебе работать?

– А деньги у нас есть еще?

– Не беспокойся, есть.

– Работай что-нибудь, а то мне стыдно, что я мешаю тебе работать.

– Чем же ты-то мешаешь?

– Да вот тем, что все ты возле меня вертишься.

– Где ж мне еще быть, Дора?

– И это, конечно, правда, – сказала с задумчивой улыбкой Даша и, не спеша пригнув к себе голову Долинского, поцеловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

– Какой ты покорный! – говорила Даша, усевшись отдохнуть на диване и пристально глядя на Долинского. – Смешно даже смотреть на тебя.

– Даже и смешно?

– Да как же! Не курит, не ходит никуда, в глаза мне смотрит, как падишаху какому-нибудь.

– Это все тебе так кажется.

– Зачем ты перестал курить?

– Наскучило.

– Врешь!

– Право, наскучило.

– Право, врешь. Ну, говори правду. Чтобы дыму не было – да?

Долинский улыбнулся и качнул в знак согласия головой.

– Чем ты меня любишь?

– Как чем?

– Ведь у тебя сердце все размененное, а любить можно раз в жизни, – сказала, смеясь, Даша.

– Ну, почему ж я это знаю.

– А что, если б я умерла? Долинский даже побледнел.

– Полно, полно, не пугайся, – отвечала Даша, протягивая ему свою ручку. – Не сердись – я ведь пошутила.

– Какие же шутки у тебя!

– Вот странный человек! Я думаю, я и сама не имею особенного влечения умирать. Я боюсь тебя оставить. Ты с ума сойдешь, если б я умерла!

– Боже спаси.

– Буду жить, буду жить, не бойся.

Утром Нестор Игнатьевич покойно спал в ногах на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, села, долго внимательно смотрела на него, потом подняла волосы с его лица, тихо поцеловала его в лоб и, снова опустившись на подушки, проговорила:

– Боже мой! Боже мой! Что с ним будет? Что мне с ним сделать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, как только оставалась одна. Но При Долинском она, по-прежнему, была веселою и покойною,

только, кажется, становилась еще нежнее и добрее.

– Напишу я, Даша, Анне, – говорил ей Долинский.

– Что ж ты ей напишешь?

– Что я тебя больше всего на свете люблю.

– Она это и так знает! – улыбаясь, ответила Даша.

– Почему ты думаешь?

– Я это знаю.

– Все же надо написать что-нибудь.

– Нечего писать что-нибудь.

– Нет, по-моему, все-таки лучше писать *ничего*, чем ничего не писать.

– Подожди. Я напишу сама, – отвечала после минутной паузы Дора. А все не писала.

Глава третья

Цветут в поле цветики да померкнут

Март прошел. Даше уже не вмоготу стало скрывать своего нездоровья, и с лица она стала изменяться.

– Весна, верно, у нас начинается, – сказала она один раз Долинскому.

Долинский понял Дашино вступление и мгновенно побледнел.

– Слабость у меня какая-то во всем теле, – пояснила Дора.

– Что с тобою?

– Ничего, а так – слабость.

– Господи! Дорушка! Счастье мое, да что ж это с тобой?

– Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.

А доктора звать ни за что не хотела.

Кашель стал появляться, и жар по ночам обнаруживался.

– Какой ты забавный! – говорила Даша, откашливаясь, смотря на Долинского. – Я кашляю, а его точно давит что-нибудь – откашливается по обязанности.

Ну, чего ты морщишься? – весело спросила она и засмеялась.

– Не смейся так, Дора.

– Чего ж плакать, мой друг?

– Боюсь я за тебя.

– Чего? Что я умру?

Долинский смотрел на нее молча и менялся в лице.

– Ты умри со мной.

– Полно шутить.

– Ага! Любишь, любишь, а умирать вместе не хочешь, – говорила Дора, играя его волосами.

У Долинского навернулись слезы, и он отвечал:

– Нет, хочу.

– А лжешь!

– Да полно ж тебе меня мучить, Дора.

– Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай. Дорушка повернулась к нему лицом и сказала:

– Вот, мой Друг, что сей сон обозначает... Дорушка снова остановилась.

– Да что же ты хочешь сказать? – нетерпеливо спросил Долинский, отирая выступавший у него на лбу холодный пот.

– А то, мой милый, что... не обращай ты внимания, если тебе когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... Мне все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И

для любви тоже силы нужны.

– Да что же с тобой такое?

– Дурно.

– Господи! Что же такое? Что?

– Давно дурно.

– Чего ж ты молчала?

– Это все равно.

– Как, все равно?

– Ничто мне не поможет.

– Ты себе сочиняешь, – сказал, вскочив, Долинский.

Даша молчала.

– Иди, ложись спать и дай мне уснуть, – сказала она через минуту.

Долинский в раздумье сел у ее ног.

– Ложись тут и спи, – сказала опять Даша, указывая на место у своих ног.

По дрожащим и жарким губам Долинского, которыми он прикоснулся к руке Даши, она догадалась, что он расстроен до слез, и сказала:

– Пожалуйста, пусть будет очень тихо, мне хочется крепко уснуть.

Глава четвертая

Приговор

Утром Долинский осторожно вышел из комнаты и отправился к доктору.

В двенадцать часов явился доктор и, долгою сидев у Даши, вошел в комнату Нестора Игнатьевича, написал рецепт и уехал, а Даша повеселела как будто.

– Ну, чего ты так раскис! – говорила она Долинскому. – Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживем еще, поцарствуем.

Долинский только руки ее целовал. Он хотел надеяться и не смел верить.

– Ну, ну, полно же. А ты вот что сделай для меня. Принеси мне нашу казну.

– Денег еще много.

– Посмотрим.

Денег, точно, было около двух тысяч франков.

– Мало. Ты должен для меня заработать много. У меня есть к тебе просьба.

– Приказывай, Даша.

– Заработай мне денег. Мне деньги нужны.

– Выдумываешь что-нибудь.

– Право, нужны: наряжаться хочу.

– Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что тебе деньги нужны?

– Видишь, пора нам и за дело браться. Ты работай свою работу, а я на первые же деньги открываю русский, этакий, знаешь, пока маленький ресторанчик.

Долинский рассмеялся.

– Ничего нет смешного! Я не меньше тебя зарабатываю. Англичане же все ходят есть ростбиф в своем трактире.

– Ну?

– А у меня будет солонина, окрошка, пироги, квас, полотки; не бойся, пожалуйста, я верно рассчитала. Ты не бойся, я на твоей шее жить не стану. – Я бы очень хотела... детей учить, девочек; да, ведь, не дадут. Скажут, сама безнравственная. А трактирщицей, ничего себе, могу быть – даже прилично.

Долинский еще искреннее рассмеялся.

– Ничего, ничего, – говорила с гримаской Дора. – Ведь, я всегда трудилась и, разумеется, опять буду трудиться. Ничего нового! Это вы только рассуждаете, как бы женщине потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же, ведь, не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему, не думая, как жить, или думая, по-барски, сесть на твою шею?

– Да я ничего.

– Ну, так нечего, значит, и смеяться. Работай же.

Помни, что вот я выздоровею, фонд нужен, – напоминала она, вскоре после этого разговора Долинскому.

– Что же работать?

– Господи! Вот Фигаро нетленный: все ткни его носом да покажи. Ну, разумеется, пиши повесть.

– Дорушка! Вы же понимаете, что повести по заказу не пишутся. У меня в голове нет никакой повести.

– Ну, я тебе задам.

– Задай, задай, – весело отвечал Долинский.

– Ну, вот ты да я – вот тебе и повесть.

– Нет, это уж пусть другие пишут.

– Отчего ж?

– К сердцу очень близко.

– Напрасная сентиментальность. Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велит.

– Я ее совсем не знаю, Дора.

– Побеседуй.

– Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

– Так; приснилось мне, что ли, не помню.

– Да ты ж с ней не говорила.

– Тут нечего и говорить. А впрочем, нет... постой, постой! – вскрикнула, подумав, Даша. – Вот что бери:

бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытывает:

любят ли ее верно, да на целый ли век? Ну, и тут слов! слов! слов! Со словами целая свора раз-

ных, разных прихвостней. Все она собирается любить «жарче дня и огня», а годы все идут, и сберется она полюбить, когда ее любить никто не станет, или полюбит того, кто менее всего стоит любви. Выйдет ничего себе повесть, если хорошенько разыграть.

– Начнем-ка, – подбавила Дора, – я буду вязать себе платок, а ты пиши.

Шутя началась работа. Повесть писалась, и платок вязался.

– Что, ваша кухня... не замужем? – спросил один раз доктор, садясь за столик в комнате Долинского, чтобы записать рецепт Даше.

– Нет, не замужем, – несколько смутясь, отвечал Долинский.

Доктор нагнулся к столу и, написав, не спеша, две строчки, снова сказал:

– Я хотел вас спросить: девушка она или нет? Очень странные симптомы!

Он быстро поднял глаза от бумаги на лицо Долинского. Тот был красен до ушей. Доктор снова нагнулся, отбросил начатый рецепт в сторону и, написав новый, уехал.

– Что же, разве ей очень дурно? – спросил Долинский, провожая доктора за дверь.

– Теперь ничего особенного, хотя и хорошего нет,

но после болезнь может идти crescendo,⁴⁶ —отвечал врач сухо и даже несколько строго.

– Что тебе говорил доктор?

– Ничего особенного, – отвечал, смущаясь, Долинский.

– Он все с намеками какими-то?

– Да.

– И все врет.

– А если правда?

– Лжет, лжет, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мне на ночь ножную ванну – это мне всегда помогало.

– Это прежде было, Дора.

– Ах, не спорь о том, чего не понимаешь!

– А если хуже будет?

– Ах, боже мой, что же это за наказание с этими бестолковыми людьми! Ну, не будет хуже, русским вам языком говорю, не будет, не будет, – настаивала Дора.

Вечером Даша, при содействии m-me Бюжар, брала ножную ванну и встала на другое утро довольно бодро, но к полудню у ней все кружилась голова, а перед обедом она легла в постель.

Пять дней она уже лежала, и все ей худо было. Доктор начал покачивать головой и раз сказал Долинскому:

⁴⁶ усиливаясь (ит.)

– Просто не пойму, что это такое?

– Ванну она брала.

– Зачем?

– Хотела.

Доктор пожал плечами и уехал.

Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, а по ночам изнурительный пот.

– Что с ней, доктор? – спрашивал встревоженный Долинский.

– Ничего не могу вам сказать хорошего.

– Неужто это все ванна наделала?

– Не думаю, но болезнь идет ужасно быстро.

– Боже мой! Что ж делать?

– Будем делать, что можно.

– Собрать консилиум?

– Соберите.

Пять докторов были и деньги взяли, а Даше день ото дня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабела и тяжело дышать стала. Долинский не отходил от нее ни на шаг и сам разнемогся.

– Сходи к Онучиным, – говорила Долинскому Даша, стараясь услать его утром из дома.

– Зачем?

– Принеси мне русскую иллюстрацию. Нестор Игнатьевич взял фуражку.

– А ко мне пошли m-me Бюжар, – сказала ему вслед

Даша.

Он мимоходом позвал к ней старуху.

Когда он возвратился, в комнате Даши стоял диван, перенесенный из его кабинетика.

– Зачем ты это велела перенести, Даша?

– Так; ты прилечь здесь можешь, когда устанешь. Часто и все чаще и чаще она стала посылать его к Онучиным, то за газетами, которые потом заставляла себе читать и слушала, как будто со вниманием, то за узором, то за русским чаем, которого у них не хватило. А между тем в его отсутствие она вынимала из-под подушки бумагу и скоро, и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, подержит себя сколько может крепче, вздохнет болезненно и опять пишет, пока на дворе под окнами раздадутся знакомые шаги.

– Прибежал, не вытерпел, – скажет, улыбаясь, Дора. – Бедный ты мой! Зачем ты меня так любишь?

У Долинского стало все заметнее и заметнее недоставать слов. В такие особенно минуты он обыкновенно или потерянно молчал, или столь же потерянно брал больную за руку и не сводил с нее глаз. Очень тяжело, невыносимо тяжело видеть, как близкое и дорогое нам существо тает, как тонкая восковая свечка, и спокойно переступает последние ступени к могиле.

Даша проболела месяц и извелась совсем; сделалась сухая, как перезимовавшая в поле былинка, и

прозрачная, как вытаявшая, восковая фигура, освещенная сбоку. В последнее время она почти ничего не кушала и перестала посылать из дома Долинского.

– Будь теперь возле меня, – говорила она ему. – Теперь уж недолго.

– Да что ты, Дора, в самом деле, умирать, что ли собираешься?

– А ты как думаешь? – тихо спросила Дора. Долинский стоял перед нею сущим истуканом.

– Ох, какой ты смешной! – говорила, через силу улыбаясь, Дорушка. – Ну, чего ты моргаешь? Чего тебе жаль? Жаль меня? Ну, люби меня после смерти!.. да что об этом Плачь, если плачется, а я счастлива.

Дорушка кашлянула, задумалась и произнесла еще спокойнее:

– Смерть! Что ж такое смерть? Неизбежное!.. Ну. и пусть жизнь оборвется на живом звуке, сразу, без стонов, без жалоб нищенских.

Дорушка опять кашлянула и, показав Долинскому белый платок со свежим алым пятнышком, улыбнулась.

Больной становилось все хуже. Доктор сказал, что уж нет никакой надежды.

Даша допыталась сама о состоянии своего здоровья и сказала:

– Теперь напиши Анне, что я безнадежна. Долин-

ский написал письмо; Даша прочла его, написала внизу: «прощай, сестра»—и отдала m-те Бюжар, чтобы отправить на почту. На другой день, когда старуха переменяла на ней белье, она отдала ей другой толстый пакет и велела его бросить завтра в ящик. Два дня потом она была совсем едва жива, а на третий ей вдруг полегчало. Целый день Долинский никак не мог ее упросить, чтобы она молчала. Все, как птичка, она щебетала и все возле себя держала его. Ночью спала она очень покойно и следующий день начала хорошо, но раза три все порывалась вскрикнуть, как будто разрывалось что-то у нее в груди. Следующая ночь ей была гораздо труднее: она бредила, вскрикивала и беспрестанно звала Долинского.

– Я здесь, Дора, – отвечал Нестор Игнатьевич.

– Где? Где ты?

Плачет и сама руками ищет в воздухе.

– Да, вот я, вот, возле тебя, – отвечал Долинский, сжимая ей руку.

– Господи! А я уж думала, мне показалось, что я... что тебя уж нет со мною.

– Полно, успокойся, Дора.

– Да где же ты опять?

– Да я же вот держу тебя за руки.

– То-то... Голос твой вдруг как-то странно... далеко мне слышался. Ты не отходил от меня? – спраши-

вает она в жару, тревожно вода блуждающими глазами.

– Нет, Дора.

– То-то, ты не отходи.

– Куда же я пойду?

– Ну, бог тебя знает.

Даша на минутку забывалась и опять вскоре звала.

– Что же? Что, моя Дора? – перепуганным голосом спрашивал забывавшийся минутным сном Долинский.

– Все мне кажется, как будто мы друг от друга уходим.

– Ты бредишь, Даша.

– Да, верно, брежу. Ты меня держишь за руку?

– Ну, да, Дора. Бог с тобой, разве ты не видишь?

– Нет, вижу. Только ты все далеко как-то. Ты лучше обними меня. Сядь так, ближе, возьми меня к себе.

И она уснула почти на руках Долинского. Когда солнышко взглянуло сквозь занавеску, Даша спала, спокойна и прекрасна, и предательские алые пятна весело играли на ее нежных щечках.

Глава пятая

Finita la comedia

С утра Даше было и так и сяк, только землистый цвет, проступавший по тонкой коже около уст и носа, придавал лицу Даши какое-то особенное неприятное и даже страшное выражение. Это была та непостижимая печать, которою смерть заживо отмечает обреченные ей жертвы. Даша была очень серьезна, смотрела в одну точку, и бледными пальцами все обирала что-то Со своего перстью земною покрывавшегося лица. К ночи ей стало хуже, только она, однако, уснула.

Долинский приподнялся, дошел на цыпочках до дивана и прилег. Он был очень изнурен многими бессонными ночами и уснул как умер. Однако, несмотря на крепкий сон, часу во втором ночи, его как будто кто-то самым бесцеремонным образом толкнул под бок. Он вскочил, оглянулся и вздрогнул. Даша, опершись на свою подушку локотком, манила Долинского к себе пальчиком, и тихонько, шепотом называла его имя.

– Что ты? – спросил он, подойдя к ее постели.

– Тссс! – произнесла Даша и сердито погрозила пальцем.

Долинский остановился и оглянулся.

– Тссс! – повторила Даша и спросила шепотом – Когда она приехала?

– Кто приехала?

– Анна.

– Какая Анна?

– Ну, Анна, Анна, сестра.

– Бог с тобой, это тебе приснилось. Даша рассердилась.

– Не приснилось, а она приходила сюда, вот тут, возле меня стояла в белом капоте.

– Что ты говоришь, Дора, вздор какой! Зачем здесь будет Анна?

– Я тебе говорю, она сейчас была тут, вот тут. Она смотрела на меня и на тебя. Вот в лоб меня поцеловала, я еще и теперь чувствую, и сама слышала, как дверь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чем спорить.

Долинский зажег у ночной лампочки свечу и вышел в другую комнату. Никого не было; все оставалось так, как было. Проходя мимо зеркала, он только испугался своего собственного лица.

– Ничего нет, – сказал он, входя к Даше, возможно спокойным и твердым голосом.

– Чего ж ты так обрадовался? Чего ты кричишь-то! Ну, нет и нет.

– Я обыкновенным голосом говорю.

– Не надо обыкновенным голосом говорить – говори другим.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно своею грозною серьезностью.

При свече на нем теперь очень ясно обозначились серьезные черты Иппократа.

– Зачем же это другим голосом? Что ты все пугаешь меня, Даша? – сказал ей, действительно дрожа от непонятого страха, Долинский.

– Это смерть моя приходила, – отвечала с досадой больная.

Долинский понимал, что больная бредит наяву, а мурашки все-таки по нем пробежали.

– Какой вздор, Даша!

– Нет, не вздор, нет, не вздор, – и Даша заплакала.

– Чего ж ты плачешь?

– Того, что ты со мной споришь. Я больна, а он спорит.

– Ну, успокойся же, я, точно, виноват.

– Виноват!

Даша отерла платком слезы и сказала:

– И опять глупо: совсем не виноват. Сядь возле меня; я все пугалась чего-то.

Долинский сел у изголовья.

– Капризная я стала? – спросила едва слышно больная.

– Нет, Дора, какие же у тебя капризы?

– Ну, я тебе скажу какие, только, пожалуйста, со мной не спорь и не возражай.

– Хорошо, Дора.

– Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовые деньги мертвую привез в Россию. Хорошо? Долинский молчал.

– Исполнишь? – спрашивала ласково Дора.

– Исполню.

– До тех пор, не выезжай отсюда. Сделаешь?

– Сделаю.

Она приложила к его губам свою ручку, а он поцеловал ее, и больная уснула.

Через два дня после этого, с самого утра, ей стало очень худо. День она провела без памяти и, глядя во все глаза на Долинского, все спрашивала: «Где ты? Не отходи же ты от меня!» Перед вечером зашел доктор и, выходя, только губами подернул, да махнул около носа пальцем. Дело шло к развязке. Долинский совсем растерялся. Он стоял над постелью без слов, без чувств, без движения и не слышал, что возле него делала старуха Бюжар. Только милый голос, звавший его время от времени, выводил его на мгновение из страшного оцепенения. Но и этот низко упавший голос очень мало напоминал прежний звонкий голос Доры. В комнате была мертвая тишина. М-те Бюжар начи-

нала позевывать и кланяться седою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдруг, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели и протянула руки. Долинский поддержал ее.

– Пусти, пусти, – прошептала она, отводя его руки. Он уложил ее опять на подушки, и она легла беспрекословно.

Зорька стала заниматься, и в соседней комнате, где сегодня не были опущены занавески, начало сереть. Даша вдруг опять начала тихо и медленно приподниматься, воззрилась в одну точку в ногах постели и прошептала:

– Звонят! Где это звонят? – И с этими словами внезапно вздрогнула, схватилась за грудь, упала навзничь и закричала: – Он, что ж это! Больно мне! Больно! Ох, как больно! Помогите хоть чем-нибудь. А-а! Вот о-н-а смерть! Жить!.. А!.. ах! жить, еще, жить хочу! – крикнула громким, резким голосом Дора и как-то неестественно закинула назад голову.

Долинский нагнулся и взял ее под плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ее не стало.

У изголовья кровати стояла m-me Бюжар и плакала в платок, а Долинский так и остался, как его покинула отлетевшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятнадцать минут, m-me Бюжар решила позвать Долинского, но он не откликнулся.

Он ничего не слышал.

М-ме Бюжар пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла—все оставалось по-прежнему. Только светло совсем в комнате стало.

Француженка еще раз покликнула Долинского, он ту-по взглянул на нее, и его левая щека скривилась в какую-то особенную кислую улыбку. Старуха испугалась и выбежала.

Глава шестая

Сирота

Madame Бюжар побежала к Онучиным. Она знала, что, кроме этого дома, у ее жильцов не было никого знакомого. Благородное семейство еще почивало. Француженка уселась на террасе и терпеливо ожидала. Здесь ее застал Кирилл Сергеевич и обещался тотчас идти к Долинскому. Через час он пришел в квартиру покойницы вместе со своею сестрою. Долинский по-прежнему сидел над постелью и неподвижно смотрел на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завел, и

С побелевшими глазами,
Лик, прежде нежный, был страшней
Всего, что страшно для людей.

Мухи ползали по глазам Дорушки.

Кирилл Сергеевич с сестрою вошли тихо. М-ме Бюжар встретила их в зале и показала в отворенную дверь на сидевшего по-прежнему Долинского. Брат с сестрой вошли в комнату умершей. Долинский не тронулся.

– Нестор Игнатьич! – позвал его Онучин. Ответа не

было. Онучин повторил свой оклик – то же самое, Долинский не трогался.

Вера Сергеевна постояла несколько минут и, не снимая своей правой руки с локтя брата, левую сильно положила на плечо Долинского, и, нагнувшись к его голове, сказала ласково:

– Нестор Игнатьич!

Долинский как будто проснулся, провел рукою по лбу и взглянул на гостей.

– Здравствуйте! – сказала ему опять m-lle Онучина.

– Здравствуйте! – отвечал он, и его левая щека опять скривилась в ту же странную улыбку.

Вера Сергеевна взяла его за руку и опять с усилием крепко ее пожала. Долинский встал и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой. M-me Бюжар пугливо жалась в углу, а ботаник видимо растерялся.

Вера Сергеевна положила обе свои руки на плечи Долинского и сказала:

– Одни вы теперь остались!

– Один, – чуть слышно ответил Долинский и, оглянувшись на мертвую Дору, снова улыбнулся.

– Ваша потеря ужасна, – продолжала, не сводя с него своих глаз, Вера Сергеевна.

– Ужасна, – равнодушно отвечал Долинский. Онучин дернул сестру за рукав и сделал строгую гримасу.

су. Вера Сергеевна оглянулась на брата и, ответив ему нетерпеливым движением бровей, опять обратилась к Долинскому, стоявшему перед ней в окаменелом спокойствии.

– Она очень мучилась?

– Да, очень.

– И так еще молода!

Долинский молчал и тщательно обтирал правой рукой кисть своей левой руки.

– Так прекрасна!

Долинский оглянулся на Дору и уронил шепотом:

– Да, прекрасна.

– Как она вас любила!.. Боже, какая это потеря! Долинский как будто пошатнулся на ногах.

– И за что такое несчастье!

– За что! За... за что! – простонал Долинский и, упав в колена Веры Сергеевны, зарыдал как ребенок, которого без вины наказали в пример прочим.

– Полноте, Нестор Игнатьич, – начал было Кирилл Сергеевич, но сестра снова остановила его сердобольный порыв и дала волю плакать Долинскому, обхватившему в отчаянии ее колени.

Мало-помалу он выплакался и, облокотясь на стул, взглянул еще раз на покойницу и грустно сказал:

– Все кончено.

– Вы мне позвольте, м-г Долинский, заняться ею?

– Занимайтесь. Что ж, теперь все равно.

– А вы с братом подите отправьте депешу в Петербург сестре.

– Хорошо, – покорно отвечал Нестор Игнатьевич.

Онучин увел Долинского, а Вера Сергеевна послала m-те Бюжар за своей горничной и в ожидании их села перед постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Детский страх смерти при белом дне овладел Верой Сергеевной: все ей казалось, что мертвая Дора супится и слегка шевелит насильно закрытыми веками.

Одели покойницу в белое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной талии, а пышную красную косу расчесали по плечам и так положили на стол.

Комнату Дашину вычистили, но ничего в ней не трогали; все осталось в том же порядке. Долинский вернулся домой тихий, грустный, но спокойный. Он подошел к Даше, поднял кисею, закрывавшую ей голову, поцеловал ее в лоб, потом поцеловал руку и закрыл опять.

– Пойдемте же к нам, Нестор Игнатьич! – говорил Онучин.

– Нет, право, не могу. Я не пойду; мне здесь хорошо.

– В самом деле, ваше место здесь, – подтвердила Вера Сергеевна.

Он с благодарностью пожал ей руку.

– Знаете, что я забыла спросить вас, m-г Долинский! – сказала Вера Сергеевна, зайдя к нему после обеда. – Вы Дору здесь оставите?

– Как здесь?

– То есть в Италии?

– Ах, боже мой! Я и забыл. Нет, ее перевезут домой, в Россию. Нужно металлический гроб. Вы, ведь, это хотели сказать?

– Да.

– Да, металлический.

– Вы не хлопчите, тамап все это уладит: она знает, что нужно делать. Она извиняется, что не может к вам придти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвых.

– Позвольте же, деньги нужно дать, – беспокоился Долинский.

– После, после отдадите, сколько издержат.

– Благодарю вас. Вера Сергеевна. Я бы сам ничего не делал.

M-IIe Онучина промолчала.

– Как вы хорошо одели ее! – заговорил Долинский.

– Вам нравится?

– Да. Это всего лучше шло к ней всегда.

– Очень рада. Я хочу посидеть у вас, пока брат за мною придет.

- Что ж! Это большое одолжение, Вера Сергеевна.
- У вас есть чай?
- Чай? Верно есть.
- Дайте, если есть.

Долинский нашел чай и позвал старуху. Принесли горячей воды, и Вера Сергеевна села делать чай. Пришла и горничная с большим узлом в салфетке. Вера Сергеевна стала разбирать узел: там была розовая подушечка в ажурном чехле, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть стол; множество гирлянд, великолепный букет и венок из живых роз на голову.

Разложив все это в порядке, Вера Сергеевна со своею горничной начала убирать покойницу. Долинский тихо и спокойно помогал им. Он вынул из своей дорожной шкатулки киевский перламутровый крест своей матери и, по украинскому обычаю, вложил его в исхудалые ручки Доры.

Перед тем, когда хотели закрывать гроб покойницы, Вера Сергеевна вынула из кармана ножницы, отрезала у Дорушки целую горсть волос, потом отрезала длинный конец от ее голубого пояса, перевязала эти волосы обрезком ленты и подала их Долинскому. Он взял молча этот последний остаток земной Доры и даже не поблагодарил за него m-lle Онучину.

Глава седьмая

Письмо из-за могилы

Анна Михайловна получила письмо об отчаянной болезни Доры за два часа до получения телеграммы о ее смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала в Петербурге, и ее никто не заботился утешать. Один Илья Макарович чаще забегал под различными предлогами, но мало от него было ей утешения: художник сам не мог опомниться от печальной вести и все сводил разговор на то, что «сгорело созданыце милое! подсекла его судьбенка». Анна Михайловна, впрочем, и не искала сторонних утешений.

– Не беспокойтесь обо мне, Илья Макарыч, ничего со мною не сделается, – отвечала она волновавшемуся художнику. – От горя люди, к несчастью, не умирают.

Только Анне Анисимовне она часто с тревогою сообщала свои сновидения, в которых являлась Дора.

– Видела ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидит на полу в пустой церкви... – рассказывала, тоскуя, Анна Михайловна.

– Душенька ее... – сочувственно начинала бедная девушка.

– И эти ручки, эти свои маленькие ручонки ко мне протягивает... Ах ты, боже мой! Боже мой! – перебивала в отчаянии Анна Михайловна, и обе начинали плакать вместе.

Через три дня после получения печальных известий из Ниццы, Анне Михайловне подали большое письмо Даши, отданное покойницей m-me Бюжар за два дня до своей смерти. Анну Михайловну несколько изумило это письмо умершего автора; она поспешно разорвала конверт и вынула из него пять мелко испи-санных листов почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу к тебе с того света, – начинала Даша. – Живя на земле, я давно не в силах была говорить с тобою по-прежнему, то есть я не могла говорить с тобой откровенно. В первый раз в жизни я изменила себе, отмалчивалась, робела. Теперь исповедуюсь тебе, моя душка, во всем. Пусть будет надо мной твоя воля и твой суд милосердый. Мой мир прошел предо мною полным, и я схожу в готовую могилу без всякого ропота. Совесть я уношу чистую. По моим нравственным понятиям, то есть понятиям, которые у меня были, я ничем не оскорбила ни людей, ни человечество, и ни в чем не прошу у них прощения. Но есть, голубчик-сестра, условия, которые плохо повинуются рассудку и заставляют нас страдать крепко, долго страдать, наперекор

своей уверенности в собственной правоте. Одно такое условие давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, росло, росло, наконец, выросло во всю свою естественную или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь, с моею смертью оно, слава богу, исчезает. Я говорю, Аня, о нашей любви к Долинскому... Пора это выговорить... Зачем мы его полюбили обе – я не разрешу себе точно так же, как не могла себе разрешить никогда, что такое мы в нем полюбили? Что такое в нем было?.. Увлечлись своими опекунскими ролями, или это—сила добра и честности?

Да бог с ними, с этими вопросами! поздно уж решать их.

Я себе свою начальную любовь к этому Долинскому, к этой живой слабости, объясняю, во-первых, моей мизерикордией, а, во-вторых... тем, что ли уж, что нынешние *сильные* люди не вызывают любви, не могут ее вызвать. Я не знаю, что бы со мной было, если бы я рядом с Долинским встретила человека сильного как-то иначе, сильного *любовью*, но люди, сильные одною ненавистью, одним самолюбием, сильные умением не любить никого, кроме себя и своих фраз, мне были ненавистны; других людей не было, и Долинский, со всеми его слабостями, стал мне мил, как говорят, понравился.

Ты знаешь, что я его люблю едва ли не раньше

тебя, едва ли не с первой встречи в Лувре перед моей любимой картиной. Но он тебя, а не меня полюбил. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказала мне все; я все понимала, и понимала, что он считает меня ребенком. Это меня злило... Да, не будь этого, может быть, и ничего бы не было остального. Сначала я заставляла молчать мое странное, как будто с зависти разгоравшееся чувство; я сама уверяла себя, что я не могла бы успокоить упавший дух этого человека, что ты вернее достигнешь этого, и таки-наконец одолела себя, отошла от вас в сторону. Вы не видали меня за свою любовь, и я вам не мешала, но я наблюдала вас, и тут-то мне показалось, что я поняла Долинского гораздо вернее, чем понимала его ты. Тебе было жаль его, тебе хотелось его успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потом... жить тихо и скромно. Так я это понимала.

Я была очень молода, совсем неопытна, совсем девочка, но я чувствовала, что в нем еще много жизни, много силы, много охоты жить смелее, тверже. Я видела, что силе этой так не должно замереть, но что у него воля давно пришибена, а ты только о его покое думаешь. Я почувствовала, что если б он любил меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или что он утратил: волю и смелость. Это льстило моей детской гордости, этим я

хотела *отметить мою жизнь на свете*. Но вы любили друг друга, и я опять отошла в сторону и опять наблюдала вас, любя вас обоих. А тут я заболела, собиралась умирать. Занося ногу в могилу, я еще сильнее почувствовала мою любовь – в страсть она переходила во мне. Это было для меня чувство совершенно новое, и я, право, в нем не виновата. Это как-то сделалось совсем мимо меня! Мне не хотелось умирать не любя: мне хотелось любить крепко, сильно. Это было ужасное чувство, мучительное, страшно мучительное! Тут поехали мы в Италию; все вдвоем да вдвоем. Сил моих не было с собою бороться – хоть день, хоть час один я хотела быть любимой во что бы то ни стало. Ах, сестра, ты простила бы мне все, если бы знала, какое это было мучительное желание любви... обожания, чьего-то рабства перед собою! Это что-то дьявольское!.. Это гадко, но это было *непреодолимо*.

Я хотела уехать, и не могла. Сатана, дух нечистый один знает, что это было за ненавистное состояние! Порочная душа моя в нем сказалась что ли, или это было роковое наказание за мою самонадеянность! Мало того, что я хотела быть любимой, я хотела, чтобы меня любил, боготворил, уничтожался передо мною человек, который не должен меня любить, который должен любить другую, а не меня...

И чтоб он ее бросил, и чтоб он ее разлюбил; чтоб он совсем забыл ее для меня—вот чего мне хотелось! Дико!.. Гнусно!.. Твоя кроткая душа не может понять этого злого желания. Правда, я давно любила Долинского, я любила в нем мягкого и честного человека, ну, пожалуй, даже любила его так-таки, по всем правилам, со всеми онерами, но... все-таки из этого, может быть, ничего бы не было; все-таки жаль мне было тебя! Любила же я тебя, Анечка! Знала же я, сколько тебе обязана! Все против меня было! Но какая-то лукавая сила все шептала: „перед тобой и это все загремит и рассыплется прахом“. Ты знаешь, Аня, что я никогда не была кокеткой; это совершенная правда, я не кокетка; но я, однако, кокетничала с Долинским и бессовестно, зло кокетничала с ним. Не совсем это бессовестно было только потому, что я не хотела его влюбить в себя и бросить, заставить мучиться, я хотела... или, лучше сказать тебе, в то время, при самом начале этой истории, я ничего не объясняла себе, зачем я все это делаю. Но все-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Иногда я останавливалась, вела себя ровно, но это было на минуту, да, все это бывало на одну минуту... Я опять начинала вертеть его, сбивать, влюблять в себя до безумия, и, разумеется, влюбила. Клянусь тебе всем, что это открытие не обрадовало меня; оно меня испугало! Я в

ту минуту не хотела, чтобы он разлюбил тебя. Голубчик мой! Поверь мне, что этого я не хотела... но... потом вдруг я совсем обо всем этом забыла, совсем о тебе забыла, и моя злоба взяла верх над твоею кроткою, незлобивою любовью, моя дорогая Аня: человек, которого ты любила, уже не любил тебя. Он не смел сказать мне, что он любит меня; не смел даже сам себе сознаться в этом, но он был *мой раб*, а я хотела любить, и он мне нравился. Тут уж не было места прежней мизерикордии, я только *любила*. Ах, Аня! Не обвиняй его хоть ты ни в чем: все это я одна, я все это наделала! Я уж не думала ни о ком, ни о тебе, ни о нем, ни о себе: быть любимой, *быть любимой*— вот все, о чем я думала. Я знаю, что если б я жила, он бы со мною не погиб; но я знала, что я недолго буду жить и что это его может совсем сбить с толку и мне его не было даже жалко. Пусть полюбит меня, а потом пусть гибнет. Разве я этого не стоила? Губят же люди себя опиумом, гашишем, неуж-то же любовь женщины хуже какого-нибудь глупого опьянения? Ужасайся, Аня, до чего доходила твоя Дора!

Я непременно хочу рассказать тебе все, что должно служить к его оправданию в этой каторжной истории».

Тут Даша довольно подробно изложила все, что было со дня их приезда в Ниццу до последних дней сво-

ей жизни и, заканчивая свое длинное письмо, писала:

«Теперь я умираю, ничего собственно не сделав для него хорошего. Но я, сестра, в могилу все-таки уношу убеждение, что этот человек еще многое может сделать, если благородно пользоваться его преданною, привязчивою натурою; иначе кто-нибудь станет ею пользоваться неблагородно. Он один жить не может. Это уж такой человек. Встретитесь вы, что ли... но я тут ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, так странно и так неловко, что... Господи, что это я только напутала!»

(Тут в письме было несколько тщательно зачеркнутых строчек и потом снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сделать этого человека счастливым и могу заставить его отряхнуться. Да, это дело возможное; поверь, возможное. От того, что я умираю, оно не делается невозможным. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразного.

Не зови его из Италии. Пусть поскучает обо мне вволю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьезною потерей, и надо, чтобы он сумел с собою справиться, а не растерялся, не бросился бог весть куда. Я велела ему перевезти мое тело в Россию. Для

нас, небогатых людей – это, разумеется, затея совершенно лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебе, и мне как-то приятнее лежать в родной земле, ближе к людям, которых я любила). Я сделала это, однако, не для себя. Он будет очень тосковать обо мне, а все-таки лучше ему оставаться здесь. Куда ему ехать в Россию?.. Все так свежо будет... так больно... Зачем встреча без радости? Я ему сказала, чтобы он перевез меня на трудовые деньги. Это его заставит работать и будет очень хорошо, если никто не станет в него вступаться, звать его. Все должно быть оставлено времени и моей памяти. Я еще из-за гроба что-нибудь сделаю... А ты, Аня, не увлекайся своими фантазиями и поступай так, как тебе укажут твое чувство и благоразумие. Что, мой друг, делать, бывает всякое на свете!»

Тут опять было несколько тщательно зачеркнутых строчек и потом стояло:

«Только опять нет! Все мне что-то кажется, я как-то предчувствую, что все это будет как-то не так, что будет какая-то иная развязка и вообрази... *я буду рада, если она будет иная...* Кажется, любила и сгубила... Что же делать? Дам ответ, если спросится... А, впрочем, не слушай лучше ты, Аня, меня—я, должно быть, совсем сошла с ума перед смертью. Старайся, чтоб было так, как *мне не хочется*. Лучшего я

ничего не придумаю. Все это мне представляется теперь, как объявляют на афишах, каким-то великолепным, брильянтовым фейерверком, и вот этот фейерверк весь сгорел дотла и около меня сгущается мрак, серый, непроглядный мрак, могила... А нельзя было не сжечь его! Он так хорошо, так дивно хорошо горел!.. Говорю тебе одно, что если бы ты умерла прежде меня, я бы... нет, я ничего не знаю.

Я ничего не знаю, и это выходит все, что я сумела сказать тебе в этой последней попытке, моя мать, сестра и лучший земной друг мой! Я умираю, однако, в полном убеждении, что ты поняла мою исповедь и простила меня. Прощай, мой добрый ангел! Прощай издалека. Как бы я хотела тебя видеть в мои последние минуты!.. Как я хочу верить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я верю в души, в силу душ, и я тебя вызову! Расстояний нет. Их нет, потому что ты теперь со мною! Я вижу, как ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. Совсем мне плохо; едва дописываю эти строки. Пора в поход безвестный... Вот она когда близится роковая загадка-то! Иду смело, смело иду! Интересно знать, что там такое? Может быть, в самом деле, буду ждать вас? Но хочу, чтобы ждала как можно дольше и боюсь только, что „в мире ином друг друга уж мы не узнаем“.

Любите же и помните вашу мертвую Дору.
Ницца.

P. S. Если бы слепую волею рока это письмо мое когда-нибудь стало известно высоконравственному миру, боже, как бы перевернули высоконравственные люди в могиле мои бедные кости! С какими бы процентами заплатили мне все опять-таки высоконравственные дамы за все презрение, которое я всегда чувствовала к их фарисейской нравственности. Разве одна ты, милосердая, вдохновительная, всесильная любовь, вложишь в чьи-нибудь грешные и многолюбующие или многолюбившие уста слово в мое оправдание! Сорвалась с петель! Не умела любить вполонину сердца, а всем полюбишь – на полдороге не остановишься. Прощай, и еще раз прости меня, мертвеца, бедного и более никому уже не вредящего.

Совсем забыла про Журавку – не обидится. Поцелуй его за меня: он любил меня, наш добрый, маленький человечек с большим сердцем. Анне Анисимовне, всему нашему маленькому, тихому миру, всем девушкам, всем кланяюсь и у всех прошу себе всякого прощенья».

Анна Михайловна поплакала, еще раз перечитала письмо и легла в постель. Много горячих и добрых слез ее упало эту бесконечно для нее ночью.

– Что теперь впереди? Кому, на что нужна моя жизнь и зачем она самой мне, эта жизнь, в которой все милое пропало, все вымерло? – спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утром встала и написала Долинскому:

«Печальное известие о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни один из вас даже не извещал меня, что ей сделалось хуже. Однако, я давно была к этому готова и желаю, чтобы ты как можешь спокойнее перенес нашу потерю. Я прошу тебя остаться в Ницце, пока я выхлопочу позволение перевезти в Петербург тело Доры. Это не будет очень долго, и ты верно не откажешь в новом одолжении мне и покойнице. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчке. Извини, что я пишу так мало: сам, верно, понимаешь, что мне не до слов».

Глава восьмая

Сладкие начала злого недуга

Долинский все грустил о Доре и никуда не выходил. Аристократ-ботаник два раза заходил к нему, но, заметив, что его посещения в тягость одичавшему хозяину, перестал его навещать. Старуха несколько раз посылала приглашать Долинского к себе обедать – он всякий раз упорно отказывался и даже сердился, что его трогают. Дома он все ходил в раздумье по Дашиной комнате и ровно ничем не занимался. Ночами спал мало и то все Дору беспрерывно видел во сне. Это его радовало. Он очень полюбил свои сновидения, он жил в них и незаметно стал отыскивать в них какой-то таинственный смысл и значение. Долинский незаметно начал строить такие положения, что Даша не вся умерла для него; что она живет где-то и вовсе не потеряла возможности с ним видаться. Ему начало сниться, что она откуда-то приходит ночами, сидит у его изголовья и говорит ему живые ласковые речи, и он сердился, когда разум говорил ему, что это только сон, только так кажется. Он всегда слово от слова помнил все, что ему говорила ночью Дора, и всегда находил в ее речах тот же ум и тот же характер, которыми дышали ее прежние разговоры.

Странно и неестественно было теперешнее состояние Долинского, и в таком состоянии он получил знакомое нам письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла в комнату, тихо села возле Долинского на краю кровати и положила ему на лоб свою исхудалую ручку. Лицо Доры было так же прекрасно, но сделалось совсем прозрачным. Она была в том же белом платье, в котором ее схоронили; у ее голубого кушака был высоко отрезан один конец, а с левой стороны над виском выбивались из-под белых роз неровно остриженные рукою Веры Сергеевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блестит каким-то фосфоричным светом, и он закрытыми глазами видел, как она ему улыбнулась, слышал, как она сказала: здравствуй, мой милый! – и чувствовал, что она положила ему на голову свою ручку. – Я на тебя сердита теперь! – говорила Дора. – Я тебя просила работать для меня, а ты все скучаешь, все ничего не делаешь. Нехорошо! Скучать нечего, я всегда с тобой. Мне хорошо, я вас вижу всех теперь. Встань, мой друг, пиши, я хочу, чтоб ты писал, чтоб ты отвез меня в Россию. Здесь у нас все чужие в могилах. Встань же! Встань! Работай, – звала она, потряхивая его за плечо. Долинский вскакивал, открывал глаза – в комнате ничего не было. Он вздыхал и засыпал снова, и Даша

немедленно слетала к нему снова и успокоивала его, говорила, что ей хорошо, что она всех любит. – А глазами, – говорила она, – на меня смотреть нельзя; никогда не смотри на меня глазами! – Возьми же, возьми меня с собой! – вскрикивал во сне Долинский. – Нельзя, мой Друг, нельзя, – тихо отвечала Даша. – Я не пущу тебя, – опять вскрикивал Долинский в своем тревожно-сладком сне, протягивал руки к своему видению и обнимал воздух, а разгоряченному его воображению представлялась уносившаяся вдалеке по синему ночному небу Дора. Сновидения эти не прекращались. Наконец, раз как-то Даша явилась Долинскому со сморщенным лбом, сказала: работай, или я в наказание тебе не буду навещать тебя и мне будет скучно.

Прошло три ночи и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновение не привиделась она Долинскому.

Нестор Игнатьич очень серьезно встревожился. Он на четвертый день вскочил с рассветом и сел за работу. Повесть сначала не вязалась, но он сделал над собой усилие и работа пошла удачно. Он писал, не вставая, весь день и далеко за полночь, а перед утром заснул в кресле, и Дора тотчас же выделилась из серого предрассветного полумрака, прошла своей неслышной поступью, и поцеловав Долинского в лоб, сказала: умник, умник—работай.

Глава девятая

Птицы певчие

Дней десять кряду Долинский работал. Повесть подвигалась вперед, и, по мере того как он втягивался в работу, мысли его приходили в порядок и к нему возвращалось не спокойствие, а тихая грусть, которая ничему не мешает и в которой душа только становится выше, чище, снисходительнее. Проработав одну такую ночь до самого рассвета, совершенно усталый, он взглянул в открытое окно Дашиной спальни. Занавеска не была опущена, и робкий свет вместе с утренней прохладой свободно проникал в комнату. Нестор Игнатьевич задул свечу и, прислонясь к креслу, стал смотреть в окно. Свежий ветерок тихо скользил несмелыми порывами, слегка шевелил волосами Долинского и скоро усыпил его. В окне, по обычаю, тотчас же показалась Дора. Она нынче была как-то смелее обыкновенного; смотрела на него в окно, улыбалась и, шутя, говорила: —Неудобь, Бука! — Долинский рассмеялся.

Во время этого сна, по стеклам что-то слегка стукнуло раз-другой, еще и еще. Долинский проснулся, отвел рукою разметавшиеся волосы и взглянул в окно. Высокая женщина, в легком белом платье и коричне-

вой соломенной шляпе, стояла перед окном, подняв кверху руку с зонтиком, ручкой которого она только стучала в верхнее стекло окна. Это не была золотистая головка Доры – это было хорошенькое, оживленное личико с черными, умными глазками и французским носиком. Одним словом, это была Вера Сергеевна.

– Как вам не стыдно, Долинский! Пропадаете, бегаετε от людей и спите в такое прекрасное утро.

– Ах, простите, Вера Сергеевна! – отвечал, скоро поднимаясь, Долинский. – Я знаю, что я невежа и много виноват перед вашим семейством и особенно перед вами, за все...

– Да все хандрите?

– Да, все хандрю, Вера Сергеевна.

– Чего же вы прячетесь-то?

– Нет, я, кажется, не прячусь.

– Помилуйте! Посылала за вами и брата, и людей – как клад зачарованный не даетесь. Чего вы спите в такое время, в такое прелестное утро? Вы посмотрите, что за рай на дворе:

Я пришла сюда с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало —

проговорила весело Вера Сергеевна.

– Да, очень хорошо, – отвечал Долинский, застенчиво улыбаясь.

– Но вы все-таки не подумайте, что я пришла к вам собственно с докладом о солнце! Я – эгоистка и пришла наложить на вас обязательство.

– Приказывайте, Вера Сергеевна.

– Вы непременно должны сейчас проводить меня. Мне хочется далеко пройтись берегом, а брата нет: он в Виши уехал.

– Вера Сергеевна! Я ведь никуда не хожу.

– Ну, так пойдёмте.

– Право...

– Право, невежливо держать у окна даму и торговаться с нею. *Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas cela.*⁴⁷

– Да что же делать, если я не *un homme comme il faut*.

– Ну, однако, я буду ждать вас на бульваре, – сказала Вера Сергеевна и, поклонясь слегка Долинскому, отошла от его окна.

Нестор Игнатьевич освежил лицо, взял шляпу и вышел из дома в первый раз после похорон Даши. На бульваре он встретил m-lle Онучину, поклонился ей,

⁴⁷ Вы понимаете, это невежливо! Порядочный человек так не поступает (франц.).

подал руку, и они пошли за город. День был восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освещало землю, и на земле все казалось счастливым и прекрасным под этим солнцем.

– Поблагодарите меня, что я вас вывела на свет божий, – говорила Вера Сергеевна.

– Покорно вас благодарю, – улыбаясь, ответил Долинский.

– Скажите, пожалуйста, что это вы спите в эту пору?

– Я работал ночью и только утром вздремнул.

– А! Это другое дело. Выходит, я дурно сделала, что вас разбудила.

– Нет, я вам благодарен!

Долинский проходил с Верой Сергеевной часа три, очень устал и рассеялся. Он зашел к Онучиным обедать и ел с большим аппетитом.

– Вы простите меня, бога ради, Серафима Григорьевна, – начал он, подойдя после обеда к старухе Онучиной. – Я вам так много обязан и до сих пор не собрался даже поблагодарить вас.

– Полноте-ка, Нестор Игнатьевич! Это все дети хлопотали, а я ровно ничего не делала, – отвечала старая аристократка.

Долинский хотел узнать, сколько он остался должным, но старуха уклонилась и от этого разговора.

– Кирилл, – говорила она, – приедет, тогда с ним

поговорите, Нестор Игнатьевич, – я право, ничего не знаю.

Вера Сергеевна после обеда открыла рояль, сыграла несколько мест из «Нормы» и прекрасно спела: *«Ты для меня душа и сила»*.

Долинскому припомнился канун св. Сусанны, когда он почти нес на своих руках ослабевшую, стройную Дору, и из этого самого дома слышались эти же самые звуки, далеко разносившиеся в тихом воздухе теплой ночи.

«Все живо, только ее нет», – подумал он. Вера Сергеевна словно подслушала думы Долинского и с необыкновенным чувством и задушевностью запела:

Ах, покиньте меня,
Разлюбите меня,
Вы, надежды, мечты золотые!
Мне уж с вами не жить,
Мне вас не с кем делить, —
Я один, а кругом все чужие.
Много мук вызнал я,
Был и друг у меня,
Но надолго нас с ним разлучили.
Там под черной сосной,
Над шумящей волной
Друга спать навсегда положили.

- Нравится это вам? – спросила, быстро повернувшись лицом к Долинскому, Вера Сергеевна.
- Вы очень хорошо поете.
- Да, говорят. Хотите еще что-нибудь в этом роде?
- Я рад вас слушать.
- Так в этом роде, или в другом?
- Что вы хотите, Вера Сергеевна. В этом, если вам угодно, – добавил он через секунду.

Вьется ласточка сизокрылая
Под моим окном одинешенька;
Под моим окном, под косящатым,
Есть у ласточки тепло гнездышко.

Вера Сергеевна остановилась и спросила:

- Нравится?
- Хорошо, – отвечал чуть слышно Долинский.
- Вера Сергеевна продолжала:

Слезы горькие утираючи,
Я гляжу ей вслед вспоминая...
У меня была тоже ласточка,
Сизокрылая душа-пташечка,
Да свила уж ей судьба гнездышко,
Во сырой земле вековечное.

- Вера! – крикнула из гостиной Серафима Григо-

рьевна.

– Что прикажете, татан?

– Терпеть я не могу этих твоих панихид.

– Это я для m-г Долинского, татан, пела, – отвечала

Вера Сергеевна, и искоса взглянула на своего вдруг омрачившегося гостя.

– Другого голоса недостает, я привыкла петь это дуэтом, – произнесла она, как бы ничего не замечая, взяла новый аккорд и запела: «По небу полуночи».

– Вторите мне, Долинский, – сказала Вера Сергеевна, окончив первые четыре строфы.

– Не умею, Вера Сергеевна.

– Все равно, как-нибудь.

– Да я дурно пою.

– Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккорд и остановилась.

– Тихонько будем петь, – сказала она, обратясь к Долинскому. – Я очень люблю это петь тихо, и это у меня очень хорошо идет с мужским голосом.

Вера Сергеевна опять взяла аккорд и снова запела;

Долинский удачно вторил ей довольно приятным баритоном.

– Отлично! – одобрила Вера Сергеевна. Она артистично выполнила какую-то трудную итальянскую арию и, взяв непосредственно затем новый, сразу

щиплющий за сердце аккорд, запела:

Ты не пой, душа девица,
Песнь Италии златой,
Очаруй меня, певица,
Песнью родины святой.
Все родное сердцу ближе,
Сердце чувствует сильнее.
Ну, запой же! Ну, начни же!
«Соловей, мой соловей».

Долинский не выдержал и сам без зова пристал к голосу певицы, тронувшей его за ретивое.

— Charmant! Charmant!⁴⁸ — произнес чей-то незнакомый голос, и с террасы в залу вступила высокая старушка, со строгим, немножко желчным лицом, в очках и с седыми буклями. За нею шел молодой господин, совершеннейший петербургский *comme il faut* настоящего времени.

Это была княгиня Стугина, бывшая помещица, вдова, некогда звезда восточная, ныне бог знает что такое—особа, всем недовольная и все осуждающая. Обиженная недостатком внимания от молодой петербургской знати, княгиня уехала в Ниццу и живет здесь четвертый год, браня зауряд все русское и все заграничное. Молодой человек, сопровождающий эту осо-

⁴⁸ Восхитительно! Восхитительно! (франц.)

бу, был единственный сын ее, молодой князь Сергей Стугин, получивший место при одном из русских посольств в западных государствах Европы. Он ехал к своему месту и завернул на несколько дней повидаться с матерью.

Онучины очень обрадовались молодому князю: он был свежий гость из России и, следовательно, мог сообщить самые свежие новости, что и как там дома. Сергей Стугин был человек весьма умный и, очевидно, не кис среди мелких и однообразных интересов своей узкой среды бомонда, а стоял au courant⁴⁹ с самыми разнообразными вопросами отечества.

– Крестьяне даже мои, например, крестьяне не хотят платить мне оброка, – жаловалась Серафима Григорьевна. – Скажите, пожалуйста, отчего это, князь?

– Вероятно, в том выгод не находят, – отвечала вместо сына старуха Стугина.

– Воп,⁵⁰ но что же делать, однако, должны мы, помещики? Ведь нам же нужно жить?

– А они, я слышала, совсем не находят и в этом никакой надобности, – опять спокойно отвечала княгиня.

Молодой Стугин, Вера Сергеевна и Долинский рассмеялись.

Серафима Григорьевна посмотрела на Стугина и

⁴⁹ в курсе (франц.).

⁵⁰ Хорошо (франц.).

понюхала табаку из своей золотой табакерки.

– Ваша татап иногда говорит ужасные вещи, – отнеслась она шутливо к князю. – Просто, самой яростной демократкой является.

– Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во первых, татап, таким образом, не отстает от отечественной моды, а во-вторых, и, в самом деле, какой же уж теперь аристократизм? Все смешалось, все равны становимся.

– Кнутьями более никого, славу богу, не порют, – подсказала старая княгиня.

– Мужики и купцы покупают земли и становятся такими же помещиками, как и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминовичи, – досказал Стугин.

– Ну... ведь в вас, князь, в самом есть частица рюриковской крови, – добродушно заметила Онучина.

– У него она, кажется, в детстве вся носом вытекла, – сказала княгиня, не то с неуважением к рюриковской крови, не то с легкой иронией над сыном.

Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:

– Говорят... не помню, от кого-то я слышала: разводы уже у нас скоро будут?

– Едва ли скоро. По крайней мере, я ничего не слышал о разводах, – отвечал князь.

– Это удивительно! Твой дядюшка только о них и

умеет говорить, – опять вставила Стугина.

Князь улыбнулся и ответил, что Онучина говорит совсем не о полковых разводах.

– Ах, простите, пожалуйста! – серьезно извинялась княгиня. – Мне, когда говорят о России и тут же о разводах – всегда представляется плацпарад, трубы и мой брат, Кесарь Степаныч, с крашеными усами. Да и на что нам другие разводы? Совсем не нужно.

– Совершенно лишнее, – поддерживал князь. – У нас есть новые люди, которые будут без всего обходиться.

– Это *нигилисты*? – воскликнула m-lle Вера. – Ах, расскажите, князь, пожалуйста, что вы знаете об этих забавных людях?

Князь не имел о нигилистах чудовищных понятий, ходивших насчет этого странного народа в некоторых общественных кружках Петербурга. Он рассказывал очень много курьезного о их нравах, обычаях, стремлениях и образе жизни. Все слушали этот рассказ с большим вниманием; особенно следил за ним Долинский, который узнавал в рассказе развитие идей, оставленных им в России еще в зародыше, и старая княгиня Стугина, Серафима Григорьевна, тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не один раз перебивала Стугина вопросом:

– Ну, а позвольте, князь... Как же они того, что,

бишь, я хотела это спросить?..

Стугин останавливался.

– Да, вспомнила. Как они этак...

– Живут?

– Нет, не живут, а, например, если с ними встретишься, как они... в каком роде?

Князь не совсем понял вопрос; но его мать спокойно посмотрела через свои очки и подсказала:

– Я думаю, должно быть что-нибудь в роде Ягу, которые у Свифта.

– Что это за Ягу, княгиня?

– Ну, будто не помните, что Гулливер видел? На которых лошади-то ездили? Ну, люди такие, или нелюди такие: лохматые, грязные?

– Ну, что это? – воскликнула Серафима Григорьевна. – Неужто, князь, они, в самом деле, в этом роде?

– Немножко, – отвечал, смеясь, Стугин.

– Полагаю, трудно довольно отличить коня от всадника, – поддержала сына княгиня.

– Ну, что это! Это уж даже неприятно! – опять восклицала Онучина, воображая, вероятно, как косматые петербургские Ягу лазят по деревьям в Летнем саду, или на елагинском пуанте и швыряют сверху всякими нечистотами. – И женщины такие же бывают? – спросила она через секунду.

– Два пола в каждом роде должны быть необходимо

– иначе род погибнет.

– Это ужасно! А, впрочем, ведь я как-то читала, что гориллы в Африке, или шампаньэ, тоже будто уносят к себе женщин?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.

Князь Сергей очень распространился насчет отношении нигилисток к нигилистам и, владея хорошо языком, рассказал несколько очень забавных анекдотов.

– Дуры! – произнесла, по окончании рассказа, Серафима Григорьевна.

– И пожить-то как следует не умеют! – смотря через очки, добавила княгиня.

– Но это все презабавно, – заметила Вера Сергеевна и вышла с молодым князем на террасу.

– Довоспиталась сторонушка! Дозрела! Скотный двор настоящий делается! – презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала с особенным удовольствием табачку и, улыбнувшись, спросила:

– Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

– Княжну Палагею Никитишну? – спросила, немножко надвинув брови, Стугина.

– Да.

– Ну, кто ж ее не помнит.

– Но, впрочем, та ведь... то все-таки совсем в дру-

гом роде?

– Ну, еще бы! Старушки обе задумались.

– Или княгиню Марфу Викторовну в ту пору, как она со своим мужем рассталась? – спросила Серафима Григорьевна опять через минуту.

– Уж именно! – отвечала, покачав головой, Стугина.

– Бес в нее вселился. Очень уж проказила!

– Проказила, княгиня; но как хороша-то была! Серафима Григорьевна с умилением смотрела на стену, вообразив перед собою воспоминаемую княгиню Марфу Викторовну.

Теперь, в свою очередь, Стугина понюхала табачку и, как бы нехотя, спросила:

– Да, была хороша, точно... да с кем, бишь, она из России-то пропала?

– Из России? Из России она уехала с этим... как его?.. ну, да все равно – с французским актером, а потом была наездницей в цирке, в Лондоне; а после князя Петра, уж за границей, уж самой сорок лет было, с молоденькой и с прехорошенькой женой развела... Такая греховодница!

– А потом-то! Потом-то! – опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

– Да, с галерником, я слышала, в Алжир бежала.

– Страшный был такой!

– Помню я его – араб, весь оливковый, нос, глаза...

весь страсть неистовая! Точно, что чудо как был интересен. Она и с арабами, ведь, кажется, кочевала. Кажется, так? Ее там встретил один мой знакомый путешественник – давно это, уж лет двадцать. У какого-то шейха, говорят, была любовницею, что ли.

– Да, да, да; и им-то, и этим шейхом-то даже как ребенком управляла! – подсказывала, все более оживляясь и двигаясь на кресле, Серафима Григорьевна.

– Или княжна Агриппина Лукинишна! – произнесла она через минуту, смотря пристально в глаза Стугиной.

– Княжна Содомская, как называл ее дядя Леон, – проронила в видах пояснения Стугина. – Не люблю ее.

– За что, княгиня?

– Так, уж чересчур как-то она... специалистка была великая.

– Ну, не говорите этого, душечка княгиня; в Сибири она себя Бела, может быть, как никто.

– Что же это именно? Что за мужем в ссылку-то пошла? Очень великое дело.

– Нет-с, мало что пошла, а как жила? Что вынесла?

– Я думаю, ничуть не больше других.

– Сама белье ему стирала, сама щи варила, в юрте какой-то жила...

– Ну, и что ж тут такого? Что ж тут такого удивитель-

ного?

– Да вон кузен Gregoire – вы знаете, ведь его после амнистии тоже возвратили.

– Слышала.

– Говорит, что все они – эти несчастные декабристы, которые были вместе, иначе ее и не звали, как матью: идем, говорит, бывало, на работу из казармы – зимою, в поле темно еще, а она сидит на снежку с корзиной и лепешки нам раздает – всякому по лепешке. А мы, бывало: мама, мама, мама, наша родная, кричим и лезем хоть на лету ручку ее поцеловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу и кашлянула.

– Как, бывало, увидим ее, – продолжала Серафима Григорьевна, – как только еще издали завидим ее, все бежим и кричим: «Мама наша идет! Родная идет!»— совсем как галченята.

Серафима Григорьевна не совладела со слезой и должна была отвернуться.

– Это прекрасно все, – начала тихо Стугина, – только героизма-то все-таки тут никакого нет. Бабки наши умели терпеть, как им ноздри рвали и руки вывертывали, а тут—что ж тут такого, скажите на милость?.. Еще бы в несчастьи бросить!

– А ведь бросают же, княгиня, – возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.

– Приказничихи или поповны, очень может быть – не стану спорить.

– Ну, нет, княгиня, я знаю... я вот теперь слышала про одну, совсем не приказничиху, а...

– Ах, помилуйте, *ma chere*⁵¹ Серафима Григорьевна! Не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всяком случае, если это не приказничиха, так какая-нибудь другая *personne méprisable*,⁵² о которой все-таки говорить не стоит.

Серафима Григорьевна помолчала и потом, смакуя каждое свое слово, произнесла:

– А я, как вы хотите, все опять к княжне Агриппине. Как там хотите говорите, ну, а все... из этакой роскоши... из света... и в какую-то дымную юрту... Ужасно!

– Вы это так говорите, как будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

– Ах, нет; боже меня сохрани! Не дай бог такого несчастья; но, разумеется, пошла бы.

– Ну, так что же вы так восхваляете княжну Агриппину Лукинишну! Конечно, все-таки и она была не бишка какая-нибудь, а все-таки женщина; но ведь, повторяю, если такие ничтожные вещи ставить женщине в особую заслугу, так, я думаю, очень много найдется имеющих совершенно такие же права на дань точно

⁵¹ моя дорогая (франц.).

⁵² презренная особа (франц.).

такого же изумления.

– Ах, боже мой! Представьте, я ведь совершенно забыла, что ведь и вы тоже...

– Да я что там была – без году неделю... а, впрочем, да: белье мужу тоже стирала и даже после мужниной смерти пироги нашим арестантам верст за семь в лотке носила.

– По снегу!

– Какой наивный вопрос, та сhere Серафима Григорьевна! – Княгиня весело засмеялась. – Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смеюсь: я вспомнила, как вы боитесь снегу.

– Ах, ужас! Зима это... это... оцепенение; это... я просто не знаю, что это такое.

Стугина смотрела в открытую дверь и вспомнила что-то особенно для нее милое и почтенное.

– Нет, вот, – сказала она вздохнув, – вот графиню Нину, да ее гувернантку... Как она называлась: Eugénie или Eudoxie, этих женщин стоит вспомнить и перед именами их поклониться.

В комнате наступила минута безмолвной тишины, как бы в память этих двух женщин, перед одними именами которых хотела поклониться непреклонная, седая голова Стугиной.

– В этот раз, когда вы были в России, вы не видали графини Нины? – спросила она после паузы Онучину.

– Нет, не удалось мне побывать за Москвою.

– Сестра моя, Анна, была у нее в монастыре. Пишет, что это живой мертвец, совершенная, говорит, адамова голова, обтянутая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на кресле и, глядя в растворенное окно, нервно обрывала на колене зелено-серый, бархатный листочек «Люби-да-помни».

– Да, – произнесла она через минуту, – да, умели кутить, но и любить умели.

– Люди были; «был век богатырей», как написал Давыдов.

– А нынче все это... какая-то...

– Дребедень, – решила княгиня.

– Все это как-то... что-то такое хотят делать, и все...

– Наши старые платья наизнанку, по бедности своей, донашивают, – закончила княгиня, поправляя на висках свои седые букли.

– И этот царь! – проговорила она, складывая с умилением свои аристократические руки и снова улетающая в свое прошлое. – Этот божественный, прекрасный Александр Павлович! Этот благороднейший рыцарь! Этот джентльмен с головы до ног!

– Какие люди и какое время было!

– То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: *было*, – заключила Стугина.

Старушки помолчали, поносились в сфере давно минувшего; потихоньку вздохнули и опять взошли в свое седое настоящее. Сам Ларошфуко, так хорошо знавший, о чем сожалеют под старость женщины, не совсем бы верно разгадал эти два тихие, сдержанные вздоха, со всею бешеною силой молодости вырвавшиеся из родившей их отцветшей, старушечьей груди.

Во время этой беседы, безмолвным слушателем которой оставался один Долинский, на тепло прогретую землю спустился сине-розовый итальянский вечер; Вера Сергеевна с молодым Стугиным вернулись с террасы, и всем вздумалось пройтись к морю. Дорогой княгиня совсем потеряла свой желчный тон и даже очень оживилась; она рассказала несколько скабрёзных историек из маловедомого нам мира и века, и каждая из этих историек была гораздо интереснее светских романов одной русской писательницы, по мнению которой влюбленный человек «хорошего тона» в самую горячую минуту страсти ничего не может сделать умнее, как с большим жаром поцеловать ее руку и *прочесть ей следующее стихотворение Альфреда Мюссе*. Стихотворение это я не выписываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-нибудь из моих читателей, которому еще суждено в жизни увидеть

Ряд волшебных изменений милого лица.

Я не хочу, чтоб эти прекрасные стихи заставили впечатлительного несчастливца возненавидеть очень хорошего поэта Альфреда Мюссе.

Долинский слушал рассказы княгини, порою смеялся и вообще был занят, был заинтересован ими не меньше всех прочих слушателей. Он возвратился домой в таком веселом расположении духа, в каком не чувствовал себя еще ни разу с самой смерти Доры.

Глава десятая

Не куется, а плющится

Долинский зажег у себя огонь и прошелся несколько раз по комнате, потом разделся и лег в постель, размышляя о добром старом времени. Он уснул под впечатлениями, навеянными на него рассказом строгих старушек.

– «Вот взойдет в свою пору Вера Сергеевна, – думал он, засыпая: – и она, пожалуй, будет делать такие же чудеса. Отчего же ей их не делать?.. А теперь она еще, кажется, девушка хорошая. Любить ей очень хочется, говорила Даша, да почему Даша это могла знать?.. Вздор это!.. А какая у нее, однако, фигура! Рука какая... У Доры была крошечная лапка, но не такая. И какая грация во всем! Раса, значит. Конечно, они не рождены для вдохновений и молитв; но бедуинкой – на арабском коне разъезжать с оливковым шейхом...» И вот видится Долинскому Вера Сергеевна на огневом арабском коне, а возле нее статный шейх в белом плаще, и этот шейх сам он, Долинский. «Поскачем», – говорит ему Вера Сергеевна, и они несутся, несутся; кругом палящий зной, в сонном воздухе тихо дремлют одинокие пальмы; из мелкого кустарника выскочил желтый лев, прыгнул и, притаясь, лег

вровень с травой. «Не отставай!»—говорит ему Вера Сергеевна, оскорбляя своего скакуна ударом. «Не отставай!» – повторяет она, уносясь от него далее. «Не отставай же, не отставай!» – кричит она чуть слышно, вовсе исчезая из его глаз за красною чертою огненного горизонта. Конь Долинского ни с места, он храпит и пятится. На небе темнеет, надвигается ночь, лошадь Долинского все дрожит, все мнетса, и на нем самом не плащ, а белый холщовый саван, и лошадь его уж совсем не лошадь, а серый волк. «Утки крякнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, просыпается гамаюн-птица, шевелится зеленый бор», – заляскал, стукая челюстями, серый волк. «Хочешь, я спою тебе веселую песенку?»—спрашивает серый волк и, не дожидаясь ответа, затягивает:

«Вечная память, вечная память». «Ничто, мой Друг, не вечно под луною!»—с веселым хохотом прокричала бешено пронесшаяся мимо него на своем скакуне Вера Сергеевна. «Ничто, мой Друг, не вечно под луною», – внушительно рассказывает Долинскому долговязый шейх, раскачиваясь на высоком седле. Долинский только хотел взглянуть в этого шейха, но того уже не было, и его белый бурнус развеивается в темноте возле стройной фигуры Веры Сергеевны.

Долинский хотел что-то сказать, но вдруг около него зашевелилась трава, вдруг она начала расти и рас-

ти, так что слышно было, как она растет. Росла она шибко и высоко – выше роста человеческого; из нее отовсюду беспрестанно вылетали огненные светляки и во всех направлениях описывали правильные, блестящие параболы; в неподвижном воздухе спирался невыносимый зной и удушающий запах зеленых майских мушек.

Долинский задыхался, а светляки перед ним все мелькали, и зеленые майки качались на гнутких стеблях травы и наполняли своим удушливым запахом неподвижный воздух, а трава все растет, растет, и уж Долинскому и нечем дышать, и негде повернуться. От страшной, жгучей боли в груди он болезненно вскрикнул, но голос его беззвучно замер в сонном воздухе пустыни, и только переросшая траву задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинский проснулся, тяжело вздохнул и оглянул комнату. Стены чуть серели слабым превосходным мерцанием, и прямо перед лицом Долинского едва обрисовывалась на гвозде соломенная шляпа Доры. «Дайте мне, пожалуйста, эту шляпу», – попросила его Вера Сергеевна, чуть только он заснул снова. «Я скакала, ах, как я скакала целую ночь! – весело говорила она ему, вся пылая свежим румянцем: – и вообразите, я потеряла мою шляпу в Африке. Там теперь растет ужасная трава, в которой ничего нельзя найти. Вы

знаете эту траву?»

– О, я ее очень хорошо знаю, – подумал Долинский.

– А если знаешь, – заговорила Вера Сергеевна, – так подавай же мне скорей, скорее подавай мне эту шляпу своей мертвой Доры. Голос у Веры Сергеевны был резкий, как треск детского барабана, но такой голос, что нервы его трепетали и мышцы сами спешили исполнять ее капризы. – Тише, тише! – закричала ему Вера Сергеевна, когда Долинский коснулся руками полей Дорушкиной шляпы. Долинский оглянулся. – Разве не видишь, что там паутина? Там пауки сидят, мерзкие, скверные пауки живут в этой гадкой шляпе! И ты думал, что я ее надену! И ты это думал!.. Ха, ха, ха! – Вера Сергеевна захохотала. – Пауки? Зачем же пауки? – подумал обиженный Долинский и пристально взглянул на шляпу. С полей ее почти до земли падал длинный газовый вуаль, и под дымкой этого вуаля что-то белелось. Еще секунда, и тихо, как легкая туманная картина, под ним обрисовывается мертвая головка Доры. Глаза ее закрыты, на лице могильная серая пыль и под ней суровая печать смерти, синие уста шевелятся без звука. Откуда-то взялся серый большой паук, торопливо закосил всеми своими длинными ногами, проворно пробежал по мертвому лицу и скрылся на плече в золотых кудрях. На лбу ворочала скользкими усиками серая стенная мокрица. Везде

была серо-зеленоватая плесень, отовсюду несло холодом и могилой.

– «Месяц светит, мертвец едет, не боишься ли ты меня, добрый молодец?» – спрашивает Дора.

Голос у нее не резкий, как у Веры Сергеевны, а какой-то гулкий, круглозвучный, словно запоздалая цапля тяжело машет крыльями, пролетая темной ночью над сонным болотом. И в самом деле это совсем даже не голос. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не шевелится ни на одном мускуле ее лица, и только тяжелые веки медленно распахиваются, открывают на мгновение злые, зеленые, лишенные всякого блеска глаза, и опять так же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все с тою же злостью смотрят из-под верхнего века.

– Чем же ты обижена? Скажи, чем оскорбил я тебя? – протягивая руки, спрашивал Долинский, но вместо ответа у него над самым ухом прогорланил петух, и вдруг все сникло. Долинский проснулся.

На дворе было утро, под окном расхаживал голосистый красный петух, а из маленького чулана за палисадником раздавалось веселое кудахтанье двух фаворитных кур домовитой француженки.

Свежее утро не произвело на Долинского хорошего влияния; он встал сумрачный и расстроенный: долго ходил в большом беспокойстве из угла в угол и, нако-

нец, сел за работу.

– Madame Бюжар! – сказал он, когда француженка подала ему кофе, – я впредь не буду поднимать шторы.

– Вон,⁵³ —отвечала хозяйка.

– А вы, madame Бюжар, если кто меня будет спрашивать, говорите всем, что я болен.

– C est bien, monsieur.⁵⁴

– Что я ушел куда-нибудь или уехал, ну, как там хотите.

– C'est ca, monsieur.⁵⁵

– Helas! Pauvre diable, comme il est triste!⁵⁶ —говорила француженка, выходя от постояльца и с состраданием качая своей седой головой.

Долинский в этот день работал по обыкновению, до самых сумерек. Никто его не отвлекал и не беспокоил. Перед вечером m-me Бюжар принесла ему обед.

– Madame, – сказал он ей, – не носите мне более обеда.

– Mon Dieu!⁵⁷ Не хотите ли вы уморить себя голодом?

⁵³ Хорошо (франц.).

⁵⁴ Ладно, сударь (франц.).

⁵⁵ понятно (франц.)

⁵⁶ Увы, бедняга, как он грустен! (франц.)

⁵⁷ Господи! (франц.)

– Нет, я болен. Вы мне покупайте немножко зелени и хлеба. Я более ничего не могу есть.

Француженка молча смотрела на него во все глаза.

– Adieu,⁵⁸ madame Бюжар, – сказал он, взяв и пожав ее руку.

Старуха только изумлялась.

– Это черт знает что такое, – говорил порывисто, вскочив и торопливо запирая на ключ свою дверь, Долинский. – Какое мне дело до этих барынь и до их там каких-то подвигов? Что мне там такое! – повторял он, кипятясь и с негодованием бегая из угла в угол. – Что мне за дело до их каких-то светских скандалов или до каких-то Ягу! У меня пропало, *пропало* с земли все, чем мне мил был свет белый, а я буду утешаться! Буду смеяться! слушать! разговаривать! О чем мне разговаривать, когда все *умерло*, сгнуло, пропало, *сгнило*...

Он сердито повернул в сторону, сел к столу и упорно, не разгибаясь, работал до вечера. К сумеркам Долинский, значительно успокоенный, снова долго ходил из угла в угол по зале. Машинально он иногда останавливался перед какою-нибудь одною вещью, осматривал ее, трогал рукою и опять шел далее, до нового желания тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у столика, на котором стояла лампа, он

⁵⁸ Прощайте! (франц.)

вытащил из-под нее небольшую книжечку избранных мыслей из учения Спинозы, перелистывал небрежно страницы и вдруг остановился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежал листок почтовой бумаги, на котором было сделано несколько коротких заметок рукою Доры, и в конце последней заметки прибавлено: «сегодня до 87-й стр.». Стояло число, шедшее за три дня до ее смерти.

Долинский просмотрел заметки и, подойдя к окну, пробежал три страницы далее Дорушкиной закладки, отнес книгу на стол в комнату Доры и сам снова вышел в залу. В его маленькой, одинокой квартире было совершенно тихо. Городской шум только изредка доносился сюда с легким ветерком через открытую форточку и в ту же минуту замирал.

Настала ночь. Взошедшая луна, ударяя в стекла окна, кидала на пол три полосы бледного света. В воздухе было свежо; с надворья пахло померанцами и розой. В форточку, весело гудя, влетел ночной жук, шибко треснул с разлета о стену, зажужжал и отчаянно завертелся на своих роговых надкрыльях.

Долинский остановился, бережно взял со стола барахтавшегося на спинке жука и поднес его на ладони к открытой форточке. Жук дрыгнул своими пружинистыми ножками, широко расставил в стороны крылья, загудел и понесся. С надворья в лицо Долинско-

му пахнула ароматная струя чрезмерно теплого воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, как будто что-то шепнула на ухо и бесследно разлилась по комнате.

– Собака... кошка... мышь – жива, а нет Корделии! Вот этот жук летает лунной ночью, а Дора мертвая лежит в сырой могиле! – мелькнуло в голове Долинского.

Он продолжал стоять у окна и глядел в открытую форточку на дремлющие в тени кусты и цветочные клумбы. Луна была ему прямо в лицо и ярко обливала своим желтым светом всю верхнюю часть его тела.

Если бы в это время кто-нибудь увидел в форточке его красивое, до мертвенности бледное лицо, эффектно освещенное луною, тот непременно отскочил бы от него в сторону, и поневоле вспомнил бы одну из очаровательных легенд о душах бродящих на земле в ожидании прощения своих земных согрешений. Уставшие глаза Долинского смотрели с тихой грустью и беспредельною добротою, и как-то совсем ничего земного не было в этом взгляде; в лице его тоже ни один мускул не двигался, и даже, кажется, самое сердце не билось. Это был Наль, разлученный со своей Дамаянти; это было воплощение идеи духа, для которого немы все песни земли, который знает другие песни и полон томительного желанья снова услышать их памятные звуки.

Долинский, в самом деле, не был с самим собою. Словно на волшебных крыльях воспоминание его облетало все ему некогда милое, все живущее далеко и спящее в своих тихих гробах. Детство, сердитый старик Днепр, раздольная заднепровская пойма, облитая таким же серебристым светом; сестра с курчавой головкой, брат, отец в синих очках с огромной «четырьмя-минеей», мать, Анна Михайловна, Дора – все ему было гораздо ближе, чем он сам себе и оконная рама, о которую он опирался головою. Он совсем видел эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшие густой лозой, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начинает рассказывать про ту чудную долю – минувшую, когда пойма целым Днепром умывалась, а в головы горы клала и степью укрывалась; видел он и темный, черный бор, заканчивающий картину; он совсем видел Анну Михайловну, слышал, что она говорит, знал, что она думает; он видел мать и чувствовал ее присутствие; с ним неразлучна была Дора. Они были где-то. *Где же?* Где-то, где и он; да и что за дело, где?.. Но она есть; она существует... – *Умерла!* – говорит себе Долинский, стоя в своем прежнем положении. – И что ж такое, что умерла? – Нет ее; совсем; *нет*— сгнила... Эта воля, эта душа, этот ум – все, все это *сгнило*... Столько жизни пропало без следа... что ж я люблю теперь... в чем тела нет, нет

жизни; ни тени нет, ни звука слабого...

Среди жуткого ночного безмолвия, за спиной Долинского что-то тихо треснуло и зазвучало, как лопнувшая гитарная квинта. Долинский вздрогнул и прижался к оконнице. Беспokoйно и с неуверенностью оглянулся он назад: все было тихо; месяц прихотливо ложился широкими светлыми полосами на блестящий пол, и на одной половине едва означалась новая, тоненькая трещина, которой, однако, нельзя было заметить при лунном полусвете.

Долинский вздохнул, обернулся и снова спокойно стал к окошку.

– Легко как поддаваться суеверному страху! – рассуждал он, стоя по-прежнему у открытой форточки. – Треснет что-нибудь в пустой комнате – и вздрогнешь, и готов пугаться, а воображение, по детской привычке, сейчас подрисовывает, в голове вдруг пролетит то одно, то другое, и готов верить, что все, что кажется, то будто непременно и есть... Милые, чистые, теплые всякою верою детские годы! Куда вы минули? Куда унеслись безвозвратно?.. Все безвозвратно... Ушло и нет его, а между тем, оно живет в душе—былое... *В душе!*.. Ну *в чем-то*, ведь вот живет же Дора во мне самом, в моей любви и муках... Странная мысль! Луна одна все та же, вечно, а мне сдается даже, что я ее видал совсем когда-то не такую... Вон этот белый

мотылек, что с сумерек уснул на розовом листочке, и дремлет, облитый дрожащим, лунным светом, неужто чувствует его точь-в-точь, как и я?.. А может быть, что та же самая луна ему совсем иной показалась, когда, дней пять назад, под листочком он спал бескрылою козявкой?.. Наверно так; его глаза теперь, конечно, видят все иначе... И все теперь в его сознании стоит совсем иначе... Два шага человеческих с трудом переползал он в сутки и немощный выматывал себе тяжелый саван, и вот теперь—какая прелесть! Два крылышка, навывкате глазки, жизнь в светлом воздухе; воздушная любовь и сладкий сон на розовой постели... А он ведь, в сущности, все тот же... Он изменился, да, но к лучшему, конечно. А жук, который прилетел с надворья, а я, а все мы? Мы сгнить должны. Закон природы... странно! Природа дышит и обновляется в своем торжественном бессмертии; луна ее сегодня светит, как светила в ту ночь, которую в ее глазах убит был братом Авель; и червячки с козявками по смерти также оживают, а Авель, а человек — венец земной природы, гниет бесследно... Где Соломон, где эта савская царица, которая так рабски шла, чтоб положить свою дань благоговения к ногам царя и исполина мысли?.. Неужто исчезли оба — и этот царь, и эта савская царица исчезли!.. Точно так исчезли, как дуралей какой-нибудь, который разгрызал

лесной орех с гораздо большим размышлением, чем повторял понаслыху, что «ничто не ново под луною»? Не может быть. Приходило ли этому дураку в голову, какой страшный смысл, какая ужасная загадка положена в этих пяти словах, которые болтал его язык? А так сказать, сболтнуть «ничто не ново под луной» — ведь, кажется, и очень будто просто! И всего *только пять* слов... и мозг вертится, изнемогает мозг перед ними и... нет ясного ответа... Противоречий нить все путается больше, и верить на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!.. Нет нового, так старое ж пропасть не может... Все в экономии природы должно существовать и само гниение... один прием... один процесс и снова жизнь... Козявки нет—летает мотылек; умерший Соломон не нов был под луною и каждый так... Быть может, я уж жил когда-то? Порой ведь что-то помнится ж такое, чего никак себе растолковать не можешь, какой-то свет, такой совсем не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучные и звуки странного значения... Быть может, что Картуш шнырял когда-нибудь лисицей прежде, иль волком рыщет нынче Пугачев; Иуда в кардинальской шапке, а Каин в обществе моравских братии, и на одной ноге в лесу стоит Ньютон дервишем. Сам я, я думаю, что я, лет тридцать как всего возникшее творенье, а может быть... я жил еще

в Картуше, в Магомете, или в том труссе, который прибежал один из тернопильского ущелья!.. Да, наконец, в моем отце иль матери... Прямая вещь! Быть может, Соломона мысль меня смущает и волнует совсем не случаем, неспроста! Ведь Соломон живет? Живет, конечно! Не ново здесь ничто, так старому нельзя погибнуть, ибо иначе, как ничто не ново? Материя! Материя и сила!.. Да ведь поэзия, лиризм – ведь тоже силы... А песня! Неужели ж не сила? А музыка, которая влияет на животных, которую приходят слушать рыбы!.. А эта странная гармония речей, которых «значение пусто и ничтожно, а им без волнения внимать невозможно»? Да мало ли чего еще!.. Не все ж материи так тонки, что их наш глаз способен видеть и отличать... История видений; снов, предчувствий ясна совсем не столько, чтобы решить, одно ли то живет, что места требует в пространстве. А если Соломон теперь так тонок, так прозрачен, что может стать перед моим окном и не заслонить от глаз моих листка, где дремлет этот мотылек? Не нов он будет, но иной. Кто докажет мне, что его нет?.. Ведь что ж такое скептицизм? Ну, фараонова тощайшая корова, которая, сожрав свою тучнейшую сестру, все так тоща, что сердце у *нее* стучит по голым ребрам?.. Ведь позволительно же верить в то, по крайней мере, что по земле ходили лица, уст своих не осквернявшие ни лестью и ни

ложью... Неужто я живу только пока я ем, ношу сюртук и сплю? Жизнь вечная вечна, как эта вся природа, как мысль, живущая в сменяющих друг друга поколениях. Читала Дора Спинозу и умерла, не дочитав половины. Шутила, говорила, что выучится думать хорошенько, вот и выучилась. Вот печатный Спиноза цел и на столе развернутый лежал все время с ее смерти, а ее нет... Я вот теперь три листка просмотрел подальше, подальше того, где остановилась Дора, и что ж она теперь: на три страницы далее или ближе от Спинозы? Иль, может быть, она оттуда видит и читает? Иль, может быть, не сны одни мне снятся, а в самом деле, для нее не нужны двери и, измененная, она владеет средством с струею воздуха влетать сюда, здесь быть со мной и снова носиться и даже черные фигурки букв способна различать... Нелепый бред! Луна меня тревожит: лучи ее как будто падают мне прямо в мозг и в сердце. Что умерло, то спит и не придет повернуть рукой забытую страницу.

Долинский хотел отойти от окна и вдруг страшно вздрогнул, и по телу его побежали мурашки. В комнате покойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

– Детский страх!.. Мечта, послышалось мне, иль просто ветер дунул, – говорил себе Долинский, стараясь взять над собою силу, а панический, суеверный

страх сам предупреждал его, а он брал его за плечи, двигал на голове его волосы и через мгновение донес до его слуха столь же спокойный и столь же отчетливый звук от оборота второй страницы.

– Вторая, – шепнул дрожащими от ужаса губами Долинский, – их три: так третья, что ли, будет тоже?

Третья страница зашелестела, не спеша перевалилась и, шурша, легла на открытую половину.

– А тридцать первый реформатский полк правильно ретировался и отступал к образцовой ферме, – прошло вдруг в голове Долинского.

– Что за нелепость, что за вздор такой, какой полк маршировал? – шептал он, стараясь удерживать себя и поворачивая свое лицо от окна в комнату.

– Там нет никого, – сказал он, и только что хотел сделать один решительный шаг, как скрепчавший перед зарею ветерок разом надул тяжелые дверные занавеси из Дашиной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и запарусили.

– Кто там, кто ходит здесь? – отчаянно крикнул нервным, испуганным голосом Долинский.

– Уйдите от меня! – добавил он через секунду, не сводя острого, встревоженного взгляда с длинных пол, которые все колыхались, таинственно двигались, как будто кто-то в них путался и, разом распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, как

щелкают детские, бумажные хлопушки, а по стеклам противоположного окна мелькнуло несколько бледных, тонких линий, брошенных заходящей луною, и вдруг все стемнело; перед Долинским выросла огромная мрачная стена, под стеной могильные кресты, заросшие глухой крапивой, по стене медленно идет в белом саване Дора.

– Ах, уйди ты! Уйди! – подумал больной, и стена и Дора тотчас же исчезли от его думы, но зато в темной арке белого камина загорелся приятный голубоватый огонь, и перед этим огнем на полу, грациозно закинув под голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красивая женщина.

– Этого ничего нет, – понимал Долинский. Он отвернулся к окну и оторопел еще более: там, высоко-высоко на небе, стояла его собственная темная тень колоссальнейших размеров, а тут сбоку, возле самой его щеки, смотрело на него чье-то бледное, смеющееся лицо.

Расстроенное воображение Долинского долее не выдержало. Ему представились какие-то бледные, прозрачные тени – тени, толпящиеся в движущихся занавесах, тени под шторою окна; вся комната полна тенями: тени у него на плечах и в нем самом: все тени, тени... Он отчаянно пожался к окну и сильно подавленное стекло разлетелось вдребезги.

– А тридцать первый реформатский полк правильно ретировался и отступал к образцовой ферме, – стояло у него в голове, и затем он ничего не помнил.

Прохладный, утренний воздух, врываясь в разбитое окно и форточку, мало-помалу освежил больную голову Долинского. Он приподнял лицо и медленно оглянулся. На дворе серело, между крыш на востоке неба прорезалась бледно-розовая полоска и на узенькой дощечке, под низеньким фронтоном плоской крыши, гулко ворковал проснувшийся голубь. Сильная нервная возбужденность Долинского сменилась необычайной слабостью, выражавшейся во всей его распускавшейся фигуре и совершенно угасающем взоре.

– Жизнь!.. Иная жизнь! Жизнь вечная! – шептал он, как бы что-то ловя и преследуя глазами, как бы стараясь что-то прозреть в тонком серо-розовом свете под белым потолком пустой комнаты.

Только протяжно и с бесконечным покоем пронесся по светлому, утреннему небу один тихий звон маленького колокола с круглой башни ближайшей церкви. Долинский вздрогнул.

– Зовет! – прошептал он, складывая на груди своей руки.

Колокол через минуту опять прозвучал еще тише и еще призывней.

– Зовет! Зовет! – повторил больной, и бледное лицо его сразу приняло строгое, серьезное выражение, какое бывает у некоторых мертвецов.

– Создатель! Пощади мой разум! – произнес он тверже через минуту и, как немощный больной, держась стены, побрел к своей постели.

Глава одиннадцатая

Иной путь

Бежали дни за днями. Из них составлялись недели и месяцы – Долинский никуда не показывался. К нему несколько раз заходил Кирилл Онучин; раза три заходила даже Вера Сергеевна, но madame Бюжар, тщательно оберегая своего странного постояльца, никого к нему не допускала. Вера Сергеевна в первый месяц исчезновения Долинского послала ему несколько записок, которыми приглашала его прийти, потому что ей «скучно»; в другой она даже говорила ему, что «хочет его видеть» и, наконец, она писала: «Я очень расстроена. У меня горе, в котором мне не к кому прибегнуть, не с кем посоветоваться, кроме вас! Вас это может удивить, если вы думаете, что я только светская кукла и ничего более. Если вы так думаете, то вы очень ошибаетесь. Но, во всяком случае, что бы вы ни думали обо мне, я вам говорю, что у меня горе, большое горе. Чем я ничтожнее, тем оно для меня тяжелее. Мне приходится бороться с тяжелыми для меня требованиями и мне не с кем обдумать моего положения, не с кем сказать слова. Вы – человек с сердцем и человек любивший; умоляю вас, помогите мне хоть одним теплым словом! Если вы не хотите быть у

нас, если не хотите у нас с кем-нибудь встретиться, то завтра попозже в сумерки. как стемнеет, будьте на том месте, где мы с вами гуляли вдвоем утром, и ждите меня – я найду случай уйти из дома.

Надеюсь, что у вас не останется холодности отказать мне в такой небольшой, но важной для меня услуге, хоть, наконец, из снисхождения к моему полу. Помните, что я буду ждать вас и что мне страшно будет возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинского холодности не исполнить просьбу Веры Сергеевны, если бы он прочел это послание; но он не читал ни одного из ее писем. Как только m-me Бюжар подавала ему конверт, надписанный рукою Веры Сергеевны, он судорожно сминал его в своей руке, уходил в угол, тщательно сжигал нераспечатанный конверт, растирал испепелившуюся бумагу и пускал пыль за свою оконную форточку. Он боялся всего, что может хоть на одно мгновение отрывать его от дум, сетований и таинственного мира, создаваемого его мистической фантазией. Наконец, все его оставили. Он был очень этому рад. Окончив работу, он с восторженностью начал изучать пророков и жил совершенным затворником. А тем временем настала осень, получилось разрешение перевезти гроб Даши в Россию и пришли деньги за напечатанную повесть Долинского, которая

в свое время многих поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечаток душевного настроения автора.

Долинскому приходилось выйти из своего заточения и действовать.

На другой же день, по получении последней возможности отправить тело Даши, он впервые вышел очень рано из дома. Выхлопотав позволение вынуть гроб и перевезя его на железную дорогу, Долинский просидел сам целую ночь на пустом, отдаленном конце длинной платформы, где поставили черный сундук, зловещая фигура которого будила в проходивших тяжелое чувство смерти и заставляла их бежать от этого странного багажа.

Долинский не замечал ничего этого. Он сидел у сундука, облокотясь на него рукою, и, казалось, очень спокойно отдыхал от дневных хлопот и беготни по поводу перевозки. На дворе совсем меркло; мимо платформы торопливо проходили к домам разные рабочие люди; прошло несколько девушек, которые с ужасом и с любопытством взглядывали на мрачный сундук и на одинокую фигуру Долинского, и вдруг сначала шли удвоенным шагом, а потом бежали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь в длинных юбках платьев. Еще позже забежало несколько резвившихся после ужина мальчиков, и

эти глянули и, забыв свои крики, как бы по сигналу, молча ударились во всю мочь в сторону. Ночь спустилась; заря совсем погасла, и кругом все окутала темная мгла; на темно-синем небе не было ни звездочки, в тихом воздухе ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака с недоглоданною костью и, улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, как зубы стукнули о кость и как треснул оторванный лоскут мяса, но вдруг собака потянула чутьем, глянула на черный сундук, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всех ног бросилась в темное поле, оставив свою недоглоданную кость на платформе.

Когда рано утром тронулся поезд, взявший с собою тело Доры, Долинский спокойно поклонился ему вслед до самой до земли и еще спокойнее побрел домой.

Распорядясь таким образом, Долинский часу в одиннадцатом отправился к Онучиным. Неожиданное появление его всех очень удивило, Долинский также мог бы здесь кое-чему удивиться.

Кирилла Сергеевича он застал за газетами на террасе.

– Батюшки мои! Вы ли это, Нестор Игнатьич? – вскричал добродушный ботаник, подавая ему обе свои руки. – Вера!

– Ну, – послышалось лениво из залы.

– Нестор Игнатьич воскрес и является. Из залы не было никакого ответа и никто не показывался.

– Я принес вам мой долг, Кирилл Сергеич. Сколько я вам должен? – начал Долинский.

– Позвольте, пожалуйста! Что это в самом деле такое? Год пропадает и чуть перенес ногу, сейчас уж о долге.

– Тороплюсь, Кирилл Сергеич.

– Куда это?

– Я сегодня еду.

– Как едете!

– То есть уезжаю. Совсем уезжаю, Кирилл Сергеич.

– Батюшки светы! Да надеюсь, хоть пообедаете же ведь вы с нами?

– Нет, не могу... у меня еще дела.

Ботаник посмотрел на него удивленными глазами, дескать: «а должно быть ты, брат, скверно кончишь», и вынул из кармана своего пиджака записную книжечку.

– За вами всего тысяча франков, – сказал он, перечеркивая карандашом страницу.

Долинский достал из бумажника вексель на банкирский дом и несколько наполеондоров и подал их Онучину.

– Большое спасибо вам, – сказал он, сжав при этом

его руку.

– Пойдите же; ведь все же, думаю, захотите, по крайней мере, проститься с сестрою и с матушкой?

– Да, как же, как же, непременно, – отвечал Долинский.

Онучин пошел с террасы в залу, Долинский за ним. В зале, в которую они вошли, стоял у окна какой-то пожилой господин с волосами, крашенными в светло-русую краску, и немецким лицом, и с ним Вера Сергеевна. Пожилой господин сиял самую благоприятную улыбкою и, стоя перед м-л Онучиной лицом к окну, рассказывал ей что-то такое, что, судя по утомленному лицу и рассеянному взгляду Веры Сергеевны, не только нимало ее не интересовало, но, напротив, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь к косяку окна и, сложив руки на груди, безучастно смотрела по комнате. Под глазами Веры Сергеевны были два больших синеватых пятна, и ее живое, задорное личико несколько затуманилось и побледнело.

Она взглянула на Долинского весьма холодно и едва кивнула ему головою в ответ на его приветствие.

– Барон фон Якововский и господин Долинский, – отрекомендовал Кирилл Сергеевич друг другу пожилого господина и Долинского.

Барон фон Якововский раскланялся очень в меру и очень в меру улыбнулся.

– Член русского посольства в Н., – произнес вполголоса Онучин, проходя с Долинским через гостиную в кабинет матери.

Серафима Григорьевна сидела в большом мягком кресле, с лорнетом в руке, читала новый номер парижского «L'Union Chretienne».⁵⁹

– Ах, Нестор Игнатьич! – воскликнула она очень радушно. – Мы вас совсем было уж и из живых выключили. Садитесь поближе; ну что? Ну, как вы нынче в своем здоровье?

Долинский поблагодарил за внимание, присел около хозяйкиного кресла, и у них пошел обыкновенный полужурный разговор.

– А у нас есть маленькая новость, – сказала, наконец, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна. – С вами, как с нашим добрым другом, мы можем и поделиться, потому что вы уж верно порадуетесь с нами.

Долинский никак не мог понять, каким случаем он попал в добрые друзья к Онучиным; но, глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную весть, довольно низко поклонился и сказал какое-то приличное обстоятельству слово.

– Да, вот, наш добрый Нестор Игнатьич, наша Верушка делает очень хорошую партию, – произнесла

⁵⁹ «Христианского союза» (франц.).

Серафима Григорьевна.

– Выходит замуж Вера Сергеевна?

– Да, выходит. Это еще наша семейная тайна, но уж мы дали слово. Вы видели барона фон Якобовского?

– Да, нас сейчас познакомил Кирилл Сергеич.

– Вот это ее жених! Как видите, он еще *tres galant, et tout sa...*⁶⁰ умен, принадлежит к обществу и член посольства. Вера будет иметь в свете очень хорошее положение.

– Да, конечно, – отвечал Долинский.

– Вы знаете, он лифляндский барон.

– Гм!

– Да, у него там имение около Риги. Они ведь, эти лифляндцы, знаете, не так, как мы русские; мы все едим друг друга да мараем, а они лесенкой.

– Да, это так.

– Лесенкой, лесенкой, знаете. Один за другим цап-царап, цап-царап – и все наверху.

Долинский, в качестве доброго друга, сколько умел, порадовался семейному счастью Онучиных и стал прощаться со старушкой. Несмотря на все просьбы Серафимы Григорьевны, он отказался от обеда.

– Ну, бог с вами, если не хотите с нами проститься как следует.

– Ей-богу, не могу, тороплюсь, – извинялся Долин-

⁶⁰ обходительный и все в этом роде... (франц.)

ский.

Старушка положила на стол номер «L Union Chretienne» и пошла проводить Долинского.

– Вы к нам зимою в Петербурге заходите, – говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинский пожал в зале руку Веры Сергеевны и пробурчал ей какое-то поздравление. – Мы вам всегда будем рады.

– Мы принимаем всех по четвергам, – сухо проговорила Вера Сергеевна.

– Да и так запросто когда-нибудь, – звала Серафима Григорьевна.

Долинский раскланялся, скользнул за двери и на улице вздохнул свободно.

– Очень жалкий человек, – говорила барону фон Якобовскому умиленная ниспосланной ей благодарью Серафима Григорьевна вслед за ушедшим Долинским. – Был у него какой-то роман с довольно простой девушкой, он схоронил ее и вот никак не утешится.

– Он так и смотрит влюбленным в луну, – отвечал, в меру улыбаясь, барон фон Якобовский.

Вера Сергеевна не принимала в этом разговоре никакого участия, лицо ее по-прежнему оставалось холодно и гордо, и только в глазах можно было подметить слабый свет горечи и досады на все ее окружа-

ющее.

Вера Сергеевна выходила замуж не то, чтобы сильно, но и не своей охотой.

Долинский, возвратясь домой, застал свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, он дружески расцеловал m-me Бюжар и уехал на железную дорогу за два часа до отправления поезда.

– Вы в Петербург? – спрашивала его, совсем прощаясь, madame Бюжар.

Долинский как будто не расслышал и вместо ответа крикнул:

– Adieu, madame.

В ожидании поезда, он, в тревожном раздумье, бежал по пустой платформе амбаркадера, останавливался, брался за лоб, и как только открылась касса для первого очередного поезда, взял место в Париж.

Глава двенадцатая

Батиньольские голубятни

Нестор Игнатьевич в Париже поселился в крошечной комнатке пятого этажа одного большого дома в Батиньоле. Занятое им помещение было далеко не из роскошных и не из комфортабельных. Вся комнатка Долинского имела около четырех аршин в квадрате, с одним небольшим, высоко проделанным окном и неуклюжим дымящим камином, на котором, вместо неизбежных часов с бронзовым пастушкой, пренеловко расстегивающим корсет своей бронзовой пастушки, одиноко торчал молящийся гипсовый амур, весь немилосердно засиженный мухами. Меблировка этой комнаты состояла из небольшого круглого столика, кровати с дешевыми ситцевыми занавесами, какого-то исторического комода, на котором было выцарапано: *Beuharnais, Oginsky, Podwysocky, Jan nalit wody w zban*,⁶¹ и многое множество других исторических и неисторических имен, более или менее удачно и тщательно произведенных гвоздем и рукою скучавшего и, вероятно, нищенствовавшего жильца. Кроме этих вещей, в комнате находилось три кресла: одно—

⁶¹ Богарне, Огиньский, Подвысоцкий, Ян налил воды в жбан (польск.).

времен Людовика XIV (это было самое удобное), одно—времен первой республики и третье—времен нынешней империи. Последнее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи приставленным в угол, ибо все его ножки давным-давно шатались и расползались в разные стороны. Зато все это обходилось неимоверно дешево. Целая такая комната, с креслами трех замечательнейших эпох французской государственной жизни, с водой и прислугой (которой, впрочем, *de facto*⁶² не существовало), отдавалась за пятнадцать франков в месяц. Таких каморок, по сторонам довольно широкого и довольно длинного коридора, едва освещавшегося по концам двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая из них была отделена одна от другой дощатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, через которую, однако, можно было свободно постучать и даже покричать своему соседу. Обитателями этих покоев были люди самые разнокалиберные; но все-таки можно сказать, что преимущественно здесь обитали швеи, цветочницы, вообще молодые, легко смотрящие на тяжелую жизнь девушки и молодые, а иногда и не совсем молодые, даже иногда и совсем старые люди, самых разнообразных профессий. На каждой из се-

⁶² В действительности (*лат.*).

рых дверей этих маленьких конурок грязноватою желтою краскою написаны подряд свои нумера, а на некоторых есть и другие надписи, сделанные просто куском мела. Последние надписи бывают *постоянные*, красующиеся иногда целые месяцы, и *временные*, появляющиеся и исчезающие в один и тот же день, в который появляются. Очень редко случается, что подобная надпись переживает сутки и никогда двух. К числу первых принадлежат меловые начертания, гласящие: «Cecile», «Pelagie», «Mathilde», la caurturiere, «Psyche», «Nympe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou—etudiant», «Le petit Mathusalem» или: «Frappez fort s'il vous plait!»⁶³ и т. п.

Временные же, преимущественно однодневные надписи, более все в следующем роде: «Je n'ai point d'habit», «Cela est probable», «J'en suis furieux!!!»⁶⁴ (внизу невероятный вензель), «Pouvez-vous me dire, ou il demeure?»⁶⁵ (опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne heure»⁶⁶ и т. п.

⁶³ «Сесиль», «Пелагея», «Матильда», портниха, «Психея», «Лесная нимфа», «Поль и Пеполь», «Анаксагу-студент», «Маленький Ма-фусайл», или «Стучите сильнее, пожалуйста!» (франц.)

⁶⁴ «Я раздет», «Это возможно», «Я взбешен!!!» (франц.)

⁶⁵ «Не скажете ли, где он?» (франц.)

⁶⁶ «Боюсь, что поезд сойдет с рельс», «Мы вернемся рано» (франц.).

Иногда на дверях отсутствующей хозяйки являются надписи и более прямого значения, например, под именем какой-нибудь швеи Клеманс и цветочницы Арно, вдруг в один прекрасный день является вопрос: «Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?»⁶⁷ подписано: «F. et R.» или: «Je n'ai presque rien mange depuis deux jours. – Que faire?»⁶⁸

На дверях комнаты, занятой Долинским, стояло просто «№ 11», и ничего более. С правой стороны на дверях под № 12 было написано еще «Marie et Augustine—gantieres»,⁶⁹ а с левой под № 10 — «Nepomucen Zajonczech—le pretre».⁷⁰

В жилищах этого рода, соседи по комнате имеют для каждого жильца свое и даже весьма немаловажное значение. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосед, не успеет водвориться, как снискивает себе доброе расположение своих ближайших соседей и особенно соседок, из которых одна, а иногда и две непременно рассчитывают в самом непродолжительном времени (иногда даже с первого же дня) сделаться его любовницей. Зато плохой, вздорливый и придирчивый сосед—чистое несчастье. Сами гризе-

⁶⁷ «Не пустите ли вы нас на ночь?» (франц.).

⁶⁸ «Два дня я почти ничего не ел. Что делать?» (франц.).

⁶⁹ «Мари и Огюстина—перчаточницы» (франц.)

⁷⁰ «Непомуцен Зайончек—священник» (франц.).

ты чаще всего начинают бояться таких господ, избегают с ними встречи и дают им разные ядовитые клички; но выжить строптивного жильца «из коридора» гризеты никак не сумеют. Это удастся только тогда, если «весь коридор» обозлится (что бывает довольно редко), или если строптивный человек надоеет ближайшим своим соседям из студентов.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодые, веселые, беспечные девочки, бегавшие за работой в улицу Loret и распевавшие дома с утра до ночи скабрзные песенки непризнанных поэтов Латинского квартала. Обе эти девочки были очень хорошенькие и очень хорошие особы, с которыми можно было прожить целую жизнь в отношениях самых приятельских, если бы не было очевидной опасности, что приятель скоро перейдет в чувство более теплое и грешное. Marie и Augustine были тоже очень довольны своим «одиннадцатым номером», но только с одной стороны. Им очень нравилась его скромность, услужливость, готовность поделиться кофе, сыром, хлебом и т. п. Но что это был за сосед, с которым ни пойти, ни поехать, ни посидеть вместе, который не позовет ни к себе, ни сам не придет поболтать? «Un ours»,⁷¹ прозвали его гризеты и очень часто на него дулись. Но, несмотря на нелюдимость Долинского, и Augustine, и

⁷¹ Медведь (франц.).

Marie, и даже все другие жилицы коридора со второго же дня появления его здесь положили, что он bon homme⁷² и что его надо приласкать—даже непременно надо.

Зато № 10, m-r le pretre Nepomucen Zajoncsek давно стоял поперек горла решительно всем своим ближайшим соседям. Это был несносный, желчный старик с серыми, сухими глазами, острым, выдающимся вперед подбородком и загнутыми вниз углами губ. Гризеты называли его «полицеймейстером» и отворачивались от него, как только он показывался в коридоре. M-r le pretre Zajoncsek обыкновенно сидел дома. Он выходил только два, много три раза в неделю в существующую на Батиньоле польскую школу и раз вечером в воскресенье ездил на омнибусе куда-то к St.-Sulpice. Все остальное время он проводил в своей комнатке и постоянно или читал, или делал какие-то выписки. Его посещали здесь довольно странные люди и несколько пышных грандиозных дам, которых он провожал, называя графинями и княгинями. Соседями Zajoncseka было замечено, что все его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положение Зайончека возбуждали внимание и любопытство всех голубей и голубок этой парижской голубятни, но никто не имел этого любопытства

⁷² добряк (франц.).

настолько, чтобы упорно стремиться к уяснению, что в самом деле за птица этот m-r!e pretre Zajoncsek и что такое он делает, зачем сидит на этом батиньольском чердаке? Давно, еще вскоре за тем, как Зайончек здесь поселился, кто-то болтнул вдруг, что m-r le pretre Zajoncsek гадатель, что он отлично гадает на картах и может предсказать все, за сколько вам угодно лет вперед. Несколько человек повторили эту тонкую догадку и к вечеру того же дня две или три гризеты, трясясь и замирая, собирались идти и попросить сурового Зайончека погадать им о запропавших любовниках. Но вдруг разнеслась весть, что Monsieur le professeur Grelot,⁷³ который живет здесь на голубятне уже более трех лет и которого все гризеты называют grand papa⁷⁴ и считают своим оракулом, выслушав явившееся насчет Зайончека соображение, сомнительно покачал головою. Все тотчас то-же сами покачали головами и с тех пор вовсе оставили добиваться, что такое этот загадочный m-r le pretre, а продолжали называть его по-прежнему «полицеймейстером». Это название желчный старик получил потому, что его сварливый характер и привычка повелевать не давали ему покоя и на батиньольском чердаке. Чуть только где-нибудь по соседству к его номеру, после

⁷³ профессор Грелот (франц.).

⁷⁴ дедушка (франц.).

десяти часов вечера слышался откуда-нибудь веселый говор, смех, или хотя самый ничтожный шум, m-r le pretre выходил в коридор со свечою в руке, неуклонно тек к двери, из-за которой раздавались голоса, и, постучав своими костлявыми пальцами, грозно возглашал: «Ne faites point tant de bruit!»⁷⁵ и затем держел столь же мерное течение к своему номеру, с полною уверенностью, что обеспокоивший его шум непременно прекратится. И шум, точно, прекращался. С жильцами этой ба-тиньольской вершины m-r le pretre не имел никакого сообщества, и с тех пор, как он тут поселился, от него никто не слышал более, кроме: «Ne faites point de bruit».⁷⁶ В комнате Зайончека тоже никто из здешних жильцов никогда не был, и комната эта была предметом постоянного любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, рассказывала об этой комнате что-то столь заманчивое, что у всех почти одновременно родилось непобедимое желание взглянуть на чудеса этого неприступного покоя. Некоторыми отчаянными смельчаками обоего пола (по преимуществу прекрасного) с тех пор было предпринято несколько очень обдуманых экспедиций с специальною целью осмотреть полициймейстерскую берлогу, но все эти попыт-

⁷⁵ Не шумите так! (франц.).

⁷⁶ Не шумите (франц.).

ки обыкновенно оставались совершенно безуспешными. В присутствии Зайончека об этом невозможно было и думать, потому что нескольких дерзких, являвшихся к нему попросить займы свечи или спичек, он, не открывая двери, без всякой церемонии посылал прямо к какому-нибудь крупному черту, или разом к ста тысячам рядовых дьяволов. А уходя из дому, Зайончек постоянно уносил ключ с собою. Любопытные видали в замочную скважину: дорогой варшавский ковер на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленой тафтяной занавеской, большой черный крест с белым изображением распятого Спасителя и низенький напольный красный стул, с зеленою бархатною подушкой внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доске.

В существе комната Зайончека и не имела ничего необыкновенного. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягким ковром, увешана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладные и пустоватые каморки других бедных жильцов голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженных описаний madame Vache.

Глава тринадцатая

Батиньольские отшельники

Долинский, поселившись на Батиньоле, рассчитывал здесь найти более покоя, чем в Латинском квартале, где он мог бы жить при своих скудных средствах, о восполнении которых нимало не намерен был много заботиться.

С самого приезда в Париж он не повидался ни с одним из своих прежних знакомых, а прямо занял одиннадцатый номер между Зайончком и двумя хо-рошенькими перчаточницами и засел в этой комнате почти безвыходно. Нестор Игнатьевич не писал из своего убежища никаких писем никому и сам ни от ко-го не получал ни строчки. Выходил он иногда в неде-лю раз, иногда раз в месяц и всегда возвращался с какою-нибудь новою книгою. Каждый его выход всегда значил ни более ни менее, что новая книга прочитана и потребовалась другая. M-r le pretre Zapnczek, встре-тись два или три раза со своим новым соседом, по-смотрел на него самым недружелюбным образом. Ка-залось, Зайончек досадовал, что Долинский так дол-го лишает его удовольствия хоть раз закричать у его дверей:

– Ne faites pas de bruit.

Из ближайших соседей Нестора Игнатьевича короче других его знали m-lle Augustine и Marie, но и m-lle Augustine скоро перестала обращать на него всякое внимание и занялась другим соседом – студентом, поместившимся в № 13, и только одинокая Marie никак не могла простить Долинскому его невнимания. Она часто стучалась к нему вечерами, находя что-нибудь попросить или возвратить. Всегда она находила ласковый ответ, услужливость и более ничего. Marie выходила несколько раз, оглядываясь и поводя своими говорящими плечиками; Долинский оставался спокойным и протягивал руку к оставленной книге.

– Что это вы читаете, добрый сосед? – спрашивала иногда Marie и, любопытствуя, смотрела на корешок книги.

Там всегда стояло что-нибудь в таком роде: «La religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard», или «Bible populaire»,⁷⁷ или что-нибудь такое же.

M-lle Marie терялась, что это за удивительный экземпляр, этот ее смирный сосед.

– Ну, что твой бакалавр? – осведомлялась иногда у нее, возвращаясь из тринадцатого номера, m-lle Augustine.

⁷⁷ «Первобытная религия индоевропейцев г-на Флотара», или «Популярная Библия» (франц.).

– Rien,⁷⁸ – отвечала, кусая губки, Marie.

– Tiens!⁷⁹ —презрительно восклицала недоумевающая m-lle Augustine.

– Ничего он не стоит, – порешила, наконец, m-lle Marie и дала себе слово перестать думать о соседе и найти кого-нибудь другого.

– Он, верно, совсем глуп, – говорила она, жалуясь подруге.

– C'est vrai,⁸⁰ – небрежно отвечала Augustine, занятая своею новою любовью в тринадцатом номере.

В одну темную осеннюю ночь, когда в коридоре была совершенная тишина, в дверь у перчаточниц кто-то тихонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной постели, которую они владели исполу со своей подругой, приподнялась на локоть и тихонько спросила:

– Qui va la?⁸¹

– C est moi,⁸² – отвечал так же тихо голос из-за дверей.

– Mais quel moi done?⁸³

⁷⁸ Ничего (франц.).

⁷⁹ Ишь ты! (франц.).

⁸⁰ Верно (франц.).

⁸¹ Кто там? (франц.)

⁸² это я (франц.).

⁸³ Кто это я? (франц.)

– Mais puisque je vous repete que c'est moi, votre voisin du numero onze.⁸⁴

– Tiens!⁸⁵ —прошептала про себя Marie и, лукаво рассмеявшись с соблюдением всякой тишины, отвечала:

– Mais je suis au lit, monsieur!.. Que desirez vous?.. Qu'y a-t-il a votre service?⁸⁶

– Une allumette, mademoiselle,⁸⁷ —тихо отвечал Долинский. – Уронил мой ключ и не могу его отыскать без огня.

– Un brin de feu?⁸⁸

– Oui, une allumette, s'il vous plait.⁸⁹ Marie еще сердечнее рассмеялась, откинула крючок и, впустив соседа, снова кувыркнулась в свою постельку.

– Спички там на камине, – произнесла она, лукаво выглядывая одним смеющимся глазком из-под одеяла.

Долинский поискал на камине спичек, взял коробочек, поблагодарил соседку и, не смотря на нее, пошел к двери.

⁸⁴ Говорю вам, это я, ваш сосед из 11-го номера (франц.).

⁸⁵ Подумайте! (франц.).

⁸⁶ Но я в постели, сударь, что вам угодно? (франц.)

⁸⁷ Спичку (франц.).

⁸⁸ Огоньку? (франц.)

⁸⁹ Да, пожалуйста, спичку (франц.).

M-lle Marie быстро вскочила.

– Это черт знает что такое! – крикнула она вспльщиво вслед Долинскому.

– Что? – спросил он, остановясь.

– Нужно быть глупее доски, чтобы входить ночью в комнату женщины с желанием получить одну зажигающую спичку.

Долинский, ни слова не отвечая, тихо притворил двери.

M-lle Marie сердито щелкнула крючком, а Долинский, несмотря на поздний час ночи, уселся у себя за столиком со вновь принесенною книгою. Это была одна из брошюр о Юме.

Прошло месяца три; на батиньольских вершинах все шло по-прежнему. Единственная перемена заключалась в том, что pigeon⁹⁰ из тринадцатого номера прискучил любовью бедной Augustine и оставленная colombine,⁹¹ написав на дверях изменника, что он «свинья, урод и мерзавец», стала спокойно встречаться с заменившею ее новою подругою тринадцатого номера и спала у себя с m-lle Marie.

Один раз Долинский возвращался домой часу в пятом самого ненастного зимнего дня. Холодный мелкий дождик, вперемежку с ледянистой мглою и маленьки-

⁹⁰ голубь (франц.).

⁹¹ голубка (франц.).

ми хлопочками мокрого снега, пробили его насквозь, пока он добрался на империале омнибуса от rue de Seine⁹² из Латинского квартала до своих батиньольских вершин.

Спустясь по осклизшим трехпогибельным ступеням с империала, Долинский торопливо пробежал две улицы и стал подниматься на свою лестницу. Он очень озяб в своем сильно поношенном пальтишке и дрожал; под мышкой у него было несколько книг и брошюр, плохо увернутых в газетную бумагу.

На лестнице Долинский обогнал Зайончека и, не обращая на него внимания, бежал далее, чтобы скорее развести у себя огонь и согреться у камина. Второпях он не заметил, как у него из-под руки выскользнули и упали две книжки.

M-r le pretre Zajonczech не спеша поднял эти книги и не спеша развернул их. Обе книги были польские: одна «Historija Kosciola Russkiego, Ksigdza Fr. Gusty» (история русской церкви, сочиненная католическим священником Густою), а другая—мистические бредни Тавянского, известного мистика, имевшего столь печальное влияние на прекраснейший ум Мицкевича и давшего совершенно иное направление последней деятельности поэта.

M-r le pretre Zajonczech взял обе эти книги и, держа

⁹² улицы Сены (франц.).

их в руке, постучал в двери Долинского.

– Entrez,⁹³ —отозвался Нестор Игнатьевич. Вошел m-r le pretre Zajoncsek.

– To ksiggi pana dobrodzieja?⁹⁴ —спросил он Долинского по-польски.

– Мои; очень вам благодарен, – отвечал кое-как на том же языке давно отвыкший от него Долинский.

– Вы занимаетесь религиозной литературой?

– Да... так... немного, – отвечал несколько конфузясь Долинский.

– Пусть вам поможет Бог, – говорил, сжимая его руку Зайончек, и добавил, – жатвы много, а детей мало есть.

С этих пор началось знакомство Долинского с Зайончком.

⁹³ Войдите (франц.).

⁹⁴ Это книги любезного пана? (польск.)

Глава четырнадцатая

Новое масло в плошку

M-r le pretre, по отношению к своему новому знакомству, явился совсем не таким, каким он был ко всем прочим жильцам вышки. Он сам предложил Долинскому несколько редких книг, и, столкнувшись с ним однажды вечером у своей двери, попросил его зайти к себе. Долинский не отказался, и только что они вошли в комнату Зайончека, дававшую всем чувствовать, что здесь живет католическая духовная особа, как в двери постучался новый гость. Это была с головы до ног закутанная в бархат и кружева молодая, высокая дама с очень красивым лицом, несомненно польского происхождения. Она только что переступила порог, как сложила на груди свои античные руки, преклонила колена и произнесла:

– Niech bgdzie pochwiony Jezus Chrystus.⁹⁵

– Na wieki wiekow, Amen,⁹⁶ —ответил Зайончек и подал даме руку.

Та встала, поцеловала руку Зайончека, подняла к небу свои большие голубые глаза, полные благого-

⁹⁵ Да будет славен Иисус Христос (польск.).

⁹⁶ Во веки веков. Аминь (польск.).

вейного страха, и сказала:

– Я на минуту к вам, мой отец. Долинский хотел выйти. M-r le pretre ласково его удержал за руку и еще ласковее сказал:

– Мои добрые дети никогда не мешают друг другу. Попасший в число добрых детей Зайончека Долинский остался.

Пышная дама заговорила по-итальянски о каком-то семейном горе.

Долинский старался не слушать этого разговора. Он подошел к этажерке и рассматривал книги Зайончека. Прежде всего ему попалась в руки «Dictionnaire des missions catholiques, Lacroix et Djunkovskoy»;⁹⁷ Долинский взял другую книгу. Это была: «Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jusqu'a Pie IX, Petruccelli de la Gattina».⁹⁸ Далее он развернул большое in-folio «Acta Sanctorum».⁹⁹ На столе лежал развернутый IV том этой книги:

Joannes BoHandus, Godefridus Henschenius, Societatis Jesu theologi.¹⁰⁰

⁹⁷ «Словарь католических миссий Лакруа и Джунковского» (франц.).

⁹⁸ «Дипломатическая история соборов с Мартина V до Пия IX, Петручелли де ля Гатина» (франц.).

⁹⁹ Форматом в пол-листа «Деяния святых» (лат.).

¹⁰⁰ Ян Болланд, Готфрид Хеншен, Теологическое Общество Иезуитов (лат.).

Пока Долинский перелистывал эту книгу, приводя себе на память давно забытое значение многих латинских слов, дама стала прощаться с Зайончком.

– Тот, кто доводит тебя до этого, большее наказание примет, и рука Провидения давно тебя благословила, – говорил, напутствуя ее, m-r le pretre, держащий ее, как видно, с Провидением совсем *za panibrata*.¹⁰¹

Дама опять поцеловала руку Зайончика.

– Прощайте, дочь моя, – отвечал ласково суровый m-r le pretre и пошел провожать свою восхитительно прекрасную дочь.

Долинский попал в самый центр польских мистиков. Это общество жило в Париже очень рассеянно, все члены его в насмешку назывались «*Tawianczykami*» от имени того же известного мистика Тавянского, которого они считались последователями. *Тавянчиков* считалось довольно много в Париже; они имели здесь свои собрания и своих представителей, в числе которых одно из первых мест занимал m-r le pretre *Zajoncdek*. Иезуиты смотрели на этих «тавянчиков» довольно снисходительно и даже, кажется, дружелюбно. Некоторые полагали, что парижские иезуиты одно время даже надеялись найти в *Tawianczykach* некоторое противодействие против пугающего святых отцов материализма. Но *Tawianczyki*

¹⁰¹ По-свойски (польск.).

вообще не оправдали этих надежд «общества Иисуса», или, по крайней мере, оправдали его в самой незначительной мере. Tawianczyki не распустили сильных ветвей никуда далее Парижа и даже не нашли сочувствия в самой Польше. Среди парижских тавянчиков встречались большею частью старички и женщины (молодые и старые), нередко принадлежащие к самым лучшим польским фамилиям. Между передовыми последователями Тавянского встречались люди довольно странные, в мистическом тавянизме которых нередко сквозило что-то иезуитское. Таков, между многими подобными, был известный нам m-r le pretre Zajonczech, эмигрант, появившийся между парижскими тавянчиками откуда-то с Волыни и в самое короткое время получивший у них весьма большое значение. Был ли m-r le pretre Zajonczech действительно таким мистиком, каким он представлялся, или это с его стороны было одно притворство, решить было невозможно. Он с глубокою задушевностью говорил о своих мистических верованиях, состоял в непосредственных отношениях с замогильным миром, и в то же время негласно основал в Париже «Союз христианского братства». Члены этого союза едва ли понимали что-нибудь о цели своего соединения. Союз этот состоял из избранных Зайончеком представителей всех христианских исповеданий. Тут были: фран-

цузы, англичане, испанцы, поляки, чехи (в качестве представителей непризнанного гуссизма), итальянцы и даже руссины-униаты. Собрания союза обыкновенно происходили по вечерам в воскресенье, близ St.-Sulpice, в доме самой рьяной тавянистки, княгини Голенцовской, той самой дамы, которую мы видели у Зайончека. Члены союза собирались в особой комнате, обитой с потолка до низу тонким черным сукном с белыми атласными карнизами по панелям. На стене вверху, прямо против входа, была вышита гладью белым шелком большая мертвая голова с крупною латинскою надписью: «Memento mori!». ¹⁰² Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый черным сукном с белыми каймами и белою же бахромою. По углам этой траурной скатерти опять были вышиты белым мертвые головы и вокруг над всею каймою какие-то латинские изречения. Около этого стола стояли тяжелые дубовые скамейки и в одном конце высокое резное кресло с твердым, ничем не покрытым сиденьем, а возле него в ногах маленькая деревянная скамеечка. На резном кресле было место Зайончека, в ногах у него на низенькой деревянной скамейке садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьях размещались члены.

Познакомься с Долинским и открыв в нем сильное

¹⁰² «Помни о смерти!» (лат.)

мистическое настроение, m-r le pretre Zajoncsek умел очень искусно расшевелить его больные раны и овладеть его слабым духом.

– Не желал бы я врагу человечества такого внутреннего состояния, каково должно быть твое, – сказал ему Зайончек, незаметно выпытав у него грызущую его тайну.

– Молись, молись; будем вместе молиться за тебя, – говорил он Долинскому.

– Ты крепко веришь в загробную жизнь? – спрашивал он сотый раз Долинского и, получая в сотый раз утвердительный ответ, говорил – Верь, сын мой, и верь, что между нами и теми, которые отошли от нас, не порваны связи самого тесного общения.

По целым вечерам Зайончек рассказывал расстроенному Долинскому самые картинные образцы таинственного общения замогильного мира с миром живущим и довел его больную душу до самого высокого мистического настроения. Долинский считал себя первым грешником в мире и незаметно начинал ощущать себя в таком близком общении с таинственными существами иного мира, в каком высказывал себя сам Зайончек.

Достигнув такого влияния на Долинского, Зайончек сообщил ему о существовании в Париже «Союза христианского братства» и велел ему быть гото-

вым вступить в братство в качестве грешного члена *Wschodniego Kosciola* (восточной церкви). Долинский был введен в таинственную комнату заседаний и представлен оригинальному собранию, в котором никто не называл друг друга по фамилии, а произносил только «брат Яков», или «брат Северин», или «сестра Урсула» и т. д.

Глава пятнадцатая

Русский tawianczyk

Долинский, живучи в стороне от людей, с одними терзаниями своей несговорчивой совести, мистическими книгами, да еще более мистическими тавянчиками, дошел сам до непостижимого мистицизма. Он уже не видал Доры и даже редко вспоминал о ней, но зато совершенно привык спокойно и с верою слушать, когда Зайончек говорил дома и у графини Голензовской от лица святых и вообще людей, давно отошедших от мира. В заседаниях «христианского союза» Зайончек говорил несколько менее о своих общениях со святыми и с мертвыми грешниками, но все-таки держался, по обыкновению, таинственно.

В обществе, главным образом, положено было избегать всякого слова о превосходстве того или другого христианского исповедания над прочими. «Все дети одного отца, нашего Бога, и овцы одного великого пастыря, положившего живот свой за люди», было начертано огненными буквами на белых матовых абажурах подсвечников с тремя свечами, какие становились перед каждым членом. Все должны были помнить этот принцип терпимости и никогда не касаться вопроса о догматическом разногласии христианских

исповеданий.

По словам Зайончека, целью общества было: *изыскание средств к освобождению и соединению христианских народов путем веры*. Задача эта многим представлялась весьма темною и даже вовсе непонятною, но тем не менее члены терпеливо выслушивали, как Зайончек, стоя в конце стола перед составленною им картою «христианского мира», излагал мистические соображения насчет «рокового разветвления христианства по свету, с таинственными божескими целями, для осуществления которых Господь сзывает своих избранных». Женщины, слушая Зайончека, поднимали очи к небу и шептали молитвы, а мужчины, одни—набожно задумывались, другие—внимательно следили за оратором и, очевидно, старались прозреть, что за смысл должен скрываться за этими хитросплетениями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая перед неисследимою пучиною своего нравственного греха, Долинский был в этом собрании самым молчаливым членом *Wschodniego Kosciola* (Восточной церкви).

Он только сам все наэлектризовывался мистичизмом и во всяком самом ничтожном событии склонен был видеть или особые пути божий, или нарочитые происки дьявольские.

Жил Долинский до крайности умеренно, получая не

более семидесяти пяти франков в месяц, с двух ничтожных уроков, доставленных ему Зайончеком. И за это занятие Долинский принялся только тогда, когда в его кармане уже не было ни одного су из денег, с которыми он приехал в Париж. Он жадно берег свое время и все его целиком отдал чтению и своим мистическим размышлениям. Деньги и всякие другие блага мира сего не имели в его глазах ровно никакой цены. Со всем живущим у него тоже не было ничего общего. Мир человеческий для него был только мир греха и преступления, и собственное прошедшее представлялось ему одним сплошным, бесконечным грехом. Долинский утратил всякую способность к какому бы то ни было анализу и брал все на веру, во всем видел закон неотразимой таинственной необходимости и не взывал более ни к своему разуму, ни к воле. Он даже не замечал противоречий, весьма ярко высказывавшихся в поступках Зайончека. Он ни разу не задумался над тем, что в христианском обществе, основанном веро-терпимейшим патером, не было ни одного лютеранина. Он даже не придавал никакого значения тому, что m-r le pretre, сидя раз перед камином в комнате Долинского, случайно взял иллюстрированную книжку Puaux: «Vie de Calvin»,¹⁰³ развернул ее, пересмотрел портреты и с омерзением бросил бесцере-

¹⁰³ Пюо «Жизнь Кальвина» (франц.).

МОННО В ОГОНЬ.

Обстоятельствам угодно было, чтобы, задавленный своим и наносным мистицизмом, Долинский сравнился с княгиней Голензовскою и прочими мистическими фанатичками, веровавшими во всеведение и сверхъестественное могущество Зайончека.

Прошла половина поста. Бешеный день французского *demi-careme*¹⁰⁴ угасал среди пьяных песен; по улицам сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяные девочки. В погребках, ресторанах и во всяких таких местах были балы, на которых гризеты вознаграждали себя за трехнедельное *demi-смирение*. Париж бесился и пьяный вспоминал свою утраченную свободу.

Зато на известной нам голубятне, в Батиньоле, было необыкновенно тихо, все пижоны и коломбины разлетелись. Кроме Зайончека и Долинского не было дома ни одного жильца: все пило, бродило и бесновалось. Вдруг патер Заиончек вошел в комнату Долинского.

По торжественной походке и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждом движении Зайончека, можно было легко заметить, что *monsieur le pretre* находится в некотором духовном восхищении. Это восторженное состояние овладевало патером до-

¹⁰⁴ Полупоста, преположение поста (франц.).

вольно редко, и то единственно лишь в таких случаях, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь необыкновенно ловкую, по его мнению, петельку, к раскинутым им силкам и тенетам. В такие минуты Заиончек, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, заносился как поэт, как пламенный импровизатор, беспрестанно впадал в открытый разлад с логикой, и, как какой-нибудь дикий вождь полчищ несметных, пускал без всякого такта в борьбу множество нужных и ненужных сил.

Впадая в подобное расположение, патер всегда ощущал неотразимую потребность дать перед кем-нибудь из верующих генеральное сражение своим врагам, причем враги его – *рационалисты*, допускались к этим сражениям только заочно и, разумеется, всегда были немилосердно побиваемы наголову.

Неистовая ночь *demi-saegeme* не давала покоя патеру, хотя он и очень крепко, и очень рано заперся на своей вышке. Кричащий, поющий, пляшущий и беснующийся Париж давал о себе знать и сюда. Париж не лакомился, а обжирался наслаждениями, как морская губка, он каждую свою точку всасывал из опустившейся тьмы всю темную сладость греха и удовольствий. Заиончек чувствовал это и не мог себе представить переплета, в который можно б всунуть все листы, с записанными грехами этой ночи. Книга эта должна

быть велика, как Париж, как мир!.. Нет больше мира, потому что мир обновляется, а она должна быть вечна; ее гигантские застежки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить без греха тленному миру.

– Как это так?.. Как это там все? – задумал и, вставши, заходил по комнате Заиончек.

Сердитый, он несколько раз вскидывал своими сухими глазами на темные стекла длинного окна, в пазы и щели которого долетали с улиц раздражавшие его звуки, и каждый раз, в каждом квадрате оконного переплета, ему Мерещились целые группы рож: намалеванных, накрашенных, богопротивнейших, веселых рож в дурацких колпаках, зеленых париках и самых прихотливых мушках.

– Да-с, ну, так как же это там все? – говорили они Заиончеку, кривя губы, дергая носами и посылая ему вызывающие улыбки.

M-r le pretre послал за это сам миллион дьяволов во всем виноватым *рационалистом*, задернул ридо и заходил по комнате еще скорее и еще сердитее.

Прошло полчаса, и Заиончек вдруг выпрямился, остановился и медленно вынул из кармана фуляровый платок, с выбитым на нем планом всех железных дорог в Европе. Прошла еще минута, и Заиончек просиял вовсе; он тихо высморкался (что у него в извест-

ных случаях заменяло улыбку), повернулся на одной ноге и, с солиднейшим выражением лица, отправился к Долинскому.

– Мне очень, однако же, нравятся вот эти господа, – начал он, усаживаясь перед камином.

Долинский посмотрел на него с некоторым недоумением.

– Я говорю об этих бельmistых сычах, – продолжал Заиончек, подкинув в камин лопатку глянцевитого угля. – Мне, я говорю, очень они нравятся с своими *знаниями*. Вот именно, вот эти самые господа, которые про все-то знают, которым законы природы очень известны.

Заиончек пару секунд помолчал и, приподнимаясь с значительной миной с кресла, воскликнул:

– А я им говорю, что *они* сычи ночные, что они лупоглазые, бельmistые сычи, которым их бельма ничего не дают видеть при Божьем свете! Ночь! Ночь им нужна! Вот тогда, когда из темных нор на землю выползают колючие ежи, кроты слепые, землеройки, а в сонном воздухе нетопыри шмыгают – тогда им жизнь, тогда им жизнь, канальям!.. И вот же черт их не возьмет и не поест вместо сардинок!

Заиончек остановился в ужасе над этим непростибельным упущением черта.

– Прекрасная, весьма прекрасная будет эта мину-

та, когда... ффффуу – одно дуновенье, и перед каждым вся эта картина его мерзости напишется и напишется ярко, отчетливо, без чернил, без красок и без всяких фотографий.

Долинский молчал.

– Что такое од? – произнес протяжно с приставленным ко лбу пальцем Зайончек. – Од: ну, од! Од! ну прекрасно-с; ну да что же такое, наконец, этот од? Ведь нужно же, наконец, знать, что он? откуда он? зачем он? Ведь нельзя же так сказать «од есть невесомое тело», да и ничего больше. С них, с сычей этих ночных, пускай и будет этого довольно, но отчего же это так и для других-то должно оставаться, я вас спрашиваю?

Зайончек остановился с высоко поднятыми плечами перед Долинским. Через минуту он стал медленно опускать плечи, вытянув вперед руки, полузакрыв веками свои сухие глаза и, потянувшись грудью на руки, произнес: вот он!

Долинский по-прежнему смотрел на патера, совершенно спокойно.

– В каком я положении есть, в таком он тончайшим, невесомым телом от меня и отделяется, – продолжал Зайончек. (Сказав это, патер сделал в молчании два различные движения руками, как бы отражая от себя куда-то два различные изображения; потом дунул,

напряженно посмотрел вслед за своим дуновением и заговорил двумя нотами ниже.) Од отделился и летит; он—я, но тонкое... невесомое. Теперь воздух передает это эфиру; эфир – далее. Все это летит, летит века, тысячелетия летит, и по известным там законам отпечатывается, наконец, на какой-нибудь огромной, самой далекой планете. Мир рушится; земля распадается золою; наши плотские глаза выгорели, мы видим далеко, и вот тебе перед тобой *твоя картина*. Ты весь в ней, с тех пор, как бабка перерезала тебе пуговину, до моего последнего «аминь» над твоей могилой. Ты это?.. Нет, не отречешься; весь ты там со своей историей. И эта ночь, и эта ночь сугубого разврата, кровосмешенья и всякого содомского греха! – вскрикнул громко патер. – Она вся там печатается, нынче, – докончил он одним шипящим придыханием и, швырнув Долинского за рукав к окну, грозно указал ему на темное небо, слегка подкрашенное мириадами рожков горящего в городе газа.

– Вот как пишется книга! Вот как отмечаются следы всех этих летучих мышей ночных, всех этих кротов, всех этих землероек!

Сказавши это с особым эффектом, Зайончек так же порывисто выбросил руку Долинского, как взял ее, и заходил по комнате. Освобожденный Долинский тотчас же сел верхом на свой стул и, положив подборо-

док на спинку, молча смотрел на патера, без любопытства, без внимания и без участия.

– Да, это так; это несомненно так! – утверждал себя в это время вслух патер. – Да, солнце и солнца. Пространства очень много... Душам роскошно плавать. Они все смотрят вниз: лица всегда спокойные; им все равно... Что здесь делается, это им все равно: это их не тревожит... им это мерзость, гниль. Я вижу... видны мне оттуда все эти умники, все эти конкубины, все эти черви, в гною зеленом, в смраде, поднимающем рвоту! Мерзко!

«Да, тому, кто в годы постоянные вошел, тому женская прелесть даже и скверна», – мелькнуло в голове Долинского, и вдруг причудилась ему Москва, ее Малый театр, купец Толстогораздов, живая жизнь, с людьми живыми, и все вы, всепрощающие, всезабывающие, незлобивые люди русские, и сама ты, наша плакучая береза, наша ораная Русь просторная. Все вы, странные, жгучие воспоминания, все это разом толкнулось в его сердце, и что-то новое, или, лучше сказать, что-то давно забытое, где-то тихо зазвенело ему манящими, путеводными колокольчиками.

Долинский на мгновение смутился и через другое такое же летучее мгновение невыразимо обрадовался, ощутив, что память его падает, как надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всем краям

воображения.

«Но, впрочем, это все... непонятно», – подумал он сквозь сон, и с наслаждением почувствовал, что мозг его все крепче и крепче усваивает себе самые спокойные привычки.

Долго еще патер сидел у Долинского и грел перед его камином свои толстые, упругие ляжки; много еще рассказывал он об оде, о плавающих душах, о сверхъестественных явлениях, и о том, что сверхъестественное не есть противоестественное, а есть только непонятное, и что понимание свое можно расширить и уяснить до бесконечности, что душу и думы человека можно видеть так же, как его нос и подбородок. Долинский слабо вслушивался в весь этот сумбур и чувствовал, что он сам уже давно не от мира сего, что он давно плывет в пространстве, и с краями срез полон всяческого равнодушия ко всему, что видит и слышит.

Но, наконец, устал и патер; он взглянул на свой толстый хронометр, зевнул и, потянувшись перед огнем, отправился к своему ложу.

Как только Зайончек вышел за двери, Долинский спокойно подвинул к себе оставленную при входе патера книгу и начал ее читать с невозмутимым, холодным вниманием.

Часы в коридоре пробили два.

Долинский уже хотел ложиться в постель, как в его дверь кто-то слегка стукнул.

Глава шестнадцатая

Искушения

– Кто там? – тихо спросил Долинский, удивленный таким поздним посещением.

– Мы, ваши соседки, – отвечал ему так же тихо молодой женский голос.

– Что вам угодно, mesdames?

– Спичку, спичку; мы возвратились с бала и у нас огня нет.

Долинский отворил дверь.

Перед ним стояли обе его соседки, в широких панталончиках из ярко-цветной тафты, обшитых с боков дешевенькими кружевами; в прозрачных рубашечках, с непозволительно-спущенными воротниками, и в цветных шелковых колпачках, ухарски заломленных на туго завитых и напудренных головках. В руках у одной была зажженная стеариновая свечка, а у другой—литр красного вина и тонкая, в аршин длинная, итальянская колбаса.

Не успел Долинский выговорить ни одного слова, обе девушки вскочили в его комнату и весело захохотали.

– Мы пришли к вам, любезный сосед, сломать с вами пост. Рады вы нам? – прошебетала m-lle Augustine.

Она поставила на стол высокую бутылку, села верхом на стул республики и, положив локти на его спинку, откусила большой кусок колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.

– Целомудренный Иосиф! – воскликнула Marie, повалившись на постель Долинского и выкинув ногами невероятный крендель, – хотите я вам представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинский стоял неподвижно посреди своей комнаты. Он заметил, что обе девушки пьяны, и не знал, что ему с ними делать.

Гризеты, смотря на него, помирали со смеху.

– Tiens!¹⁰⁵ Вы, кажется, собираетесь нас выбросить? – спрашивала одна.

– Нет, мой друг, он читает молитву от злого духа, – утверждала другая.

– Нет... Я ничего, – отвечал растерянный Долинский, который, действительно, думал о происках злого духа.

– Ну, так садитесь. Мы веселились, плясали, ездили, но все-таки вспомнили: что-то делает наш бедный сосед?

Marie вскочила с постели, взяла Долинского одним пальчиком под бороду, посмотрела ему в глаза и сказала:

¹⁰⁵ Подумайте! (франц.).

– Он, право, еще очень и очень годится.

– Любезен, как белый медведь, – отвечала Augustine, глотая новый кусок колбасы.

– Мы принесли с собой вина и ужин, одним очень скучно, мы пришли к вам. Садитесь, – командовала Marie и, толкнув Долинского в кресло королевства, сама вспрыгнула на его колени и обняла его за шею.

– Позвольте, – просил ее Долинский, стараясь снять ее руку.

– Та-та-та, совсем не нужно, – отвечала девушка, отпихивая локтем его руку, а другою рукою наливая стакан вина и поднося его к губам Долинского.

– Я не пью.

– Не пьешь! Cochon!¹⁰⁶ Не пьет в demi-careme. Я на голову вылью.

Девушка подняла стакан и слегка наклонила его набок. Долинский выхватил его у нее из рук и выпил половину. Гризета проглотила остальное и, быстро повернувшись на коленях Долинского, сделала сладострастное движение головой и бровью.

– Посмотрите, какое у нее плечико, – произнесла Augustine, толкнув сзади голое плечо Marie к губам Долинского.

– Tiens! Я думаю, это не так худо в demi-careme! – говорила она, смеясь и глядя, как Marie, весело заку-

¹⁰⁶ Свинья! (франц.)

сив губки, держит у себя под плечиком голову растерявшегося мистика.

– Пусть будет тьма и любовь! – воскликнула Augustine, дунув на свечу и оставляя комнату при слабейшем освещении дотлевающего камина.

– Пусть будет свет и разум! – произнес другой голос, и на пороге показалась суровая фигура Зайончека.

Он был в белых ночных панталонах, красной вязаной фуфайке и синем спальном колпаке. В одной его руке была зажженная свеча, в другой – толстый красный шнур, которым m-r le pretre обыкновенно подпоясывался по халату.

– Вон, к ста тысячам чертей отсюда, гнилые дочери греха! – крикнул он на девушек, для которых всегда было страшно и ненавистно его появление.

Marie испугалась. Она соскользнула с колен неподвижно сидевшего Долинского, пируэтом перелетела его комнату и исчезла за дверь. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя последнюю, m-r le pretre со злостью очень сильно ударил ее шнурком по тоненьким тафтяным панталончикам.

– Vous m'etourdissez!¹⁰⁷ —подпрыгнув от боли, крикнула гризета и скрылась за подругою в дверь своей комнаты.

¹⁰⁷ Вы что? (франц.)

– Ne faites plus de bruit!¹⁰⁸ – проговорил у их запертой двери через минуту Зайончек.

– Pas beaucoup, pas beaucoup!¹⁰⁹ – отвечали гризеты. Зайончек зашел в комнату одинокого Долинского, стоявшего над оставленными гризетами вином и колбасою.

– Я беспокоен был с тех пор, как лег в постель и мой тревожный дух вовремя послал меня туда, где я был нужен, – проговорил он.

– Благодарю вас, – отвечал Долинский, – я совсем не знал, что мне с ними делать.

Бог знает, чем бы окончил здесь совершенно поглощенный мистицизмом Долинский, если бы судьбе не угодно было подставить Долинскому новую штуку.

Один раз, возвратясь с урока, он застал у себя на столе письмо, доставленное ему по городской почте.

Долинский наморщил лоб. Рука, которою был надписан конверт, на первый взгляд показалась ему незнакомою, и он долго не хотел читать этого письма. Но, наконец, сломал печать, достал листок и остолбенел. Записка была писана несомненно Анной Михайловной:

«Я вчера вечером приехала в Париж и пробуду здесь всего около недели, – писала Долинскому Анна

¹⁰⁸ Больше не шумите! (франц.).

¹⁰⁹ Мы потихоньку! (франц.).

Михайловна. – Поэтому, если вы хотите со мною видаться, приходите в Hotel Corneille,¹¹⁰ против Одеона, № 16. Я дома до одиннадцати часов утра и с семи часов вечера. Во все это время я очень рада буду вас видеть».

Долинский отбросил от себя эту записку, потом схватил ее и перечитал снова. На дворе был седьмой час в исходе. Долинский хотел пойти к Зайончеку, но вместо того только побегал по комнате, схватил свою шляпу и опрометью бросился к месту, где останавливается омнибус, проходящий по Латинскому кварталу.

Долинский бежал по улице с сильно бьющимся сердцем и спирающим дыханием.

– Жизнь! Жизнь! – говорил он себе. – Как давно я не чувствовал тебя так сильно и так близко!

Как только омнибус тронулся с места, Долинский вдруг посмотрел на Париж, как мы смотрим на места, которые должны скоро покинуть; почувствовал себя вдруг отрезанным от Зайончека, от перечитанных мистических бредней и бледных созданий своего большого духа. Жизнь, жизнь, ее обаятельное очарование снова поманила исстрадавшегося, разбитого мистика, и, завидев на темнеющем вечернем небе серый силуэт Одеона, Долинский вздрогнул и схватился за сердце.

¹¹⁰ Отель Корнель (франц.).

Через две минуты он стоял на лестнице отеля Корнеля и чувствовал, что у него гнутся и дрожат колени.

«Что я скажу ей? Как я взгляну на нее? – думал Долинский, взявшись рукою за ручку звонка у № 16.— Может быть, лучше, если бы теперь ее не было еще дома?»—рассуждал он, чувствуя, что все силы его оставляют, и робко потянул колокольчик.

– Entrez!¹¹¹ – произнес из номера знакомый голос. Нестор Игнатьевич приотворил дверь и спотыкнулся.

– Не будет добра, – сказал он себе с досадою, тревожась незабытою с детства приметой.

¹¹¹ Войдите! (франц.)

Глава семнадцатая

Заблудшая овца и ее пастушка

Отворив дверь из коридора, Долинский очутился в крошечной, чистенькой передней, отделенной тяжелой драпировкою от довольно большой, хорошо мебелированной и ярко освещенной комнаты. Прямо против приподнятых полос материи, разделявшей номер, стоял ломберный стол, покрытый чистою, белою салфеткой; на нем весело кипящий самовар и по бокам его две стеариновые свечи в высоких блестящих шандалах, а за столом, в глубине дивана, сидела сама Анна Михайловна. При входе Долинского, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула из-за самовара свою голову и, заслонив ладонью глаза, внимательно смотрела в переднюю.

На Анне Михайловне было черное шелковое платье, с высоким лифом и без всякой отделки, да белый воротничок около шеи.

Долинский, наконец, показался между полами драпировки, закрыл рукою свои глаза и остановился, как вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснела и смотрела на него молча.

– Я не смею глядеть на тебя, – тихо произнес, не

отнимая от глаз руки, Долинский.

Анна Михайловна не отвечала ни слова и продолжала с любопытством смотреть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на котором вытертые швы обозначались желто-белыми полосами.

– Прости! – еще тише произнес Долинский. С этим словом он опустился на колени, поставил перед собою свою шляпу, достал из кармана довольно грязноватый платок и обтер им выступивший на лбу пот.

Анна Михайловна беспокойно поднялась со своего места и, молча, прошлась два или три раза по комнате.

– Встаньте, пожалуйста, – проговорила она Долинскому.

– Прости, – проговорил он еще тише и не трогаясь с места.

– Встаньте, – сказала опять Анна Михайловна. Долинский медленно приподнялся и взял в руки свою шляпу, снова стал, спустя голову, на том же самом месте.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться от первого волнения. Пройдясь еще раза два по комнате, она повернула к окну и старалась незаметно утереть слезы.

– Не извинения, а христианской милости, прощения... – начал было снова Долинский.

– Не надо! Не надо! Пожалуйста, ни о чем этом говорить не надо! – нервно перебила его Анна Михайловна и, вынув из кармана платок, вытерла глаза и спокойно села к самовару.

– Что ж вы стоите у двери? – спросила она, не смотря на Долинского.

Тот сделал шаг вперед, поставил себе стул и сел молча.

– Как вы здесь живете? – спросила его через минуту Анна Михайловна, стараясь говорить как можно спокойнее.

– Худо, – отвечал Долинский.

Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

– И давно вы здесь? – спросила она после новой паузы.

– Скоро полтора года.

– Чем же вы занимаетесь?

Долинский подумал, чем он занимается, и отвечал:

– Даю уроки.

– Мы с Ильёй Макарычем о вас долго справлялись; несколько раз писали вам в Ниццу, письма приходили назад.

– Да меня там, верно, уж не было.

– Илья Макарыч кланяется вам, – сказала Анна Михайловна после паузы.

– Спасибо ему, – отвечал Долинский.

– Ваш редактор несколько раз о вас спрашивал Илью Макарыча.

– Бог с ними со всеми.

Анна Михайловна посмотрела на испитое лицо Долинского и, остановив глаза на белом шве его рукава, сказала:

– Как вы бережливы! Это у вас еще петербургское пальто?

– Да, очень прочная материя, – отвечал Долинский. Анна Михайловна посмотрела на него еще пристальнее и спросила:

– Не хотите ли вы стакан вина?

– Нет, благодарю вас, я не пью вина.

– Может быть, рому к чаю? Долинский взглянул на нее и ответил:

– Вы, может быть, подозреваете, что я начал пить?

– Нет, я так просто спросила, – сказала Анна Михайловна и покраснела.

Долинский видел, что он отгадал ее мысль, и спокойно добавил:

– Я ничего не пью.

– Скажи же, пожалуйста, отчего ты так... похудел, постарел... опустился?

– Горе, тоска меня съели.

Анна Михайловна покатила в пальцах хлебный шарик и, повертывая его в двух пальцах перед свечкою,

сказала:

– Невозвратимого ни воротить, ни поправить невозможно.

– Я не знаю, что с собой делать? Что мне делать, чтобы примирить себя с собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарик.

– Я бегу от людей, бегу от мест, которые напоминают мне мое прошлое; я сам чувствую, что я не человек, а так, какая-то могила... труп. Во мне уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносные муки, мои терзания!..

– Что же вас особенно мучит? – спросила, не сводя с него глаз, Анна Михайловна.

– Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

– И что?

– И всего мне жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свете... – проговорил Долинский с болезненной гримасой в лице и досадой в голосе.

– Не будем говорить об этом. Прошлого уж не веротишь. Рассказывайте лучше, как вы живете?

Долинский коротко рассказал про свое однообразное житье, умолчал однако о Зайончке и обществе соединенных христиан.

– Ну, а вперед?

– Вперед?

Долинский развел руками и проговорил:

– Может быть, то же самое.

– Утешительно!

– Это все равно: хорошего где взять? Анна Михайловна промолчала.

– Чего ж вы не возвращаетесь в Россию? – спросила она его через несколько минут.

– Зачем?

– Как, зачем? Ведь вы, я думаю, русский.

– Да, может быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

– Зачем же когда-нибудь! Поедемте вместе.

– С вами? А вы скоро едете?

– Через несколько дней.

– Вы приехали за покупками?

– Да, и за вами, – улыбнувшись, отвечала Анна Михайловна.

Долинский, потупясь, смотрел себе на ноги.

– Пора, пора вам вернуться.

– Дайте подумать, – отвечал он, чувствуя, что сердце его забилося не совсем обыкновенным боем.

– Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хандрою да чудачеством, Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: ведь на вас жаль смотреть.

Долинский вздохнул и сказал:

– Спасибо вам.

– Я завтра, может быть, пришел бы к вам утром, – говорил он, прощаясь.

– Разумеется, приходите.

– Часов в восемь... можно?

– Да, конечно, можно, – отвечала Анна Михайловна. Проводив Долинского до дверей, она вернулась и стала у окна. Через минуту на улице показался Долинский. Он вышел на середину мостовой, сделал шаг и остановился в раздумье; потом перешагнул еще раз и опять остановился и вынул из кармана платок. Ветер рванул у него из рук этот платок и покатил его по улице. Долинский как бы не заметил этого и тихо побрел далее. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнате и говорила себе:

– Бедный! Бедный, как он страдает!

Глава восемнадцатая

Решительный шаг

Долинский провел у Анны Михайловны два дня. Аккуратно он являлся с первым omnibusом в восемь часов утра и уезжал домой с последним в половине двенадцатого. Долинского не оставляла его давнишняя задумчивость, но он стал заметно спокойнее и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, как бы в минуты забвения, и исчезала так же быстро, как будто по мановению какого-то призрака, проносившегося перед тревожными глазами Долинского.

– Когда мы едем? – спрашивал он в волнении на третий день пребывания Анны Михайловны в Париже.

– Дня через два, – отвечала ему спокойно Анна Михайловна.

– Скорей бы!

– Это не далеко, кажется? Долинский хрустнул пальцами.

– Вы не боитесь ли раздумать? – спросила его Анна Михайловна.

– Я!.. Нет, с какой же стати раздумать?

– То-то.

– Мне здесь нечего делать.

«А что я буду делать там? Какое мое положение? После всего того, что было, чем должна быть для меня эта женщина! – размышлял он, глядя на ходящую по комнате Анну Михайловну. – Чем она для меня может быть?.. Нет, не чем *может*, а чем она должна быть? А почему же именно должна?.. Опять все какая-то путаница!».

Долинский тревожно встал и простился с Анной Михайловной.

– До утра, – сказала она ему.

– До утра, – отвечал он, холодно и почтительно целуя ее руку.

Войдя в свою комнату, Долинский, не зажигая огня, бросил шляпу и повалился впотьмах совсем одетый в постель.

– Нет! – воскликнул он часа через два, быстро вскочив с постели. – Нет! Нет! Я знаю тебя; я знаю, я знаю тебя, змеиная мысль! – повторял он в ужасе и, выскочив из своей комнаты, постучался в двери Зайончека.

– Помогите мне, спасите меня! – сказал он, бросаясь к патеру.

– Чтобы лечить язвы, прежде надо их видеть, – проговорил Зайончек, торопливо вставая с постели. – Открой мне свою душу.

Долинский рассказал о всем случившемся с ним в

эти дни.

– Отец мой! Отец мой! – повторил он, заплакав и ломая руки, – я не хочу лгать... в моей груди... теперь, когда лежал я один на постели, когда я молился, когда я звал к себе на помощь Бога... Ужасно!.. Мне показалось... я почувствовал, что *жить* хочу, что мертвое все умерло совсем; что нет его нигде, и эта женщина живая... для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чем мою душу, чем даже...

– Глупец! – резким, змеиным придыханием шепнул Зайончек, зажимая рот Долинскому своей рукою.

– Нет сил... страдать... терпеть и ждать... чего? Чего, скажите? Мой ум погиб, и сам я гибну... Неужто ж это жизнь? Ведь дьявол так не мучится, как измучил себя я в этом теле!

– Дрянная персть земная непокорна.

– Нет, я покорен.

– А путь готов давно.

– И где же он?

– Он?.. Пойдем, я покажу его: путь верный примириться с жизнью.

– Нет, убежать от ней...

– И убежать ее.

Долинский только опустил голову.

Через полчаса меркнувшие фонари Батиньоля короткими мгновениями освещали две торопливо шед-

шие фигуры: одна из них, сильная и тяжелая, принадлежала Зайончеку; другая, слабая и колеблющаяся, – Долинскому.

Глава девятнадцатая

Кто с чем остался

Анна Михайловна напрасно ждала Долинского и утром, и к обеду, и к вечеру. Его не было целый день. На другое утро она написала ему записку и ждала к вечеру ответа или, лучше сказать, она ждала самого Долинского. Ожидания были напрасны. Прошел еще целый день – не приходило ни ответа, не бывал и сам Долинский, а по условию, вечером следующего дня, нужно было выезжать в Россию.

Анна Михайловна находилась в большом затруднении. Часу в восьмом вечера она надела бурнус и шляпу, взяла фиакр и велела ехать на Батиньоль.

С большим трудом она отыскала квартиру Долинского и постучалась у его двери. Ответа не было. Анна Михайловна постучала второй раз. В темный коридор отворилась дверь из № 10-го, и на пороге показался во всю свою нелепую вышину m-r le pretre Zajoncsek.

– Что вам здесь нужно? – сердито спросил он Анну Михайловну по-русски, произнося каждое слово с особенным твердым ударением.

– Мне нужно господина Долинского.

– Его нет здесь: он здесь не живет, – отвечал патер.

– Где же он живет?

Патер сделал шаг назад в свою комнату и, ткнув в руки Анне Михайловне какую-то бумажку, сказал:

– Отправляйтесь-ка домой.

Дверь номера захлопнулась, и Анна Михайловна осталась одна в грязном коридоре, слабо освещенном подслеповатую площадку. Она разорвала конверт и подошла к огню. При трепетном мерцании площадки нельзя было прочесть ничего, что написано бледными чернилами.

Анна Михайловна нетерпеливо сунула в карман бумажку, села в фиакр и велела ехать домой.

В своем номере она зажгла свечу и, держа в дрожащих руках бумажку, прочла: «Я не могу ехать с вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францию и буду далеко молиться о вас и о мире».

Анна Михайловна осталась на одном месте, как остолбенелая. На другой день ее уже не было в Париже.

Прошло более двух лет. Анна Михайловна по-прежнему жила и хозяйничала в Петербурге. О Долинском не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многие приударяли самым серьезным образом, и, наконец, один статский советник предлагал ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всем этим исканиям оставалась совершенно равнодушной. Она до сих пор очень хороша и ве-

дет жизнь совершенно уединенную. Ее можно видеть только в магазине или во Владимирской церкви за раннюю обедню.

Анна Анисимовна со своими детьми живет у Анны Михайловны в бывших комнатах Долинского. Отношения их с Анной Михайловной самые дружеские. Анна Анисимовна никогда ничего не говорит хозяйке ни о Дорушке, ни о Долинском, но каждое воскресенье приносит с собою от ранней обедни вынутую заупокойную просфору. Долинского она терпеть не может, и при каждом случайном воспоминании о нем лицо ее судорожно передвигается и принимает выражение суровое, даже мстительное.

М-II Alexandrine тоже по-прежнему живет у Анны Михайловны, и нынче больше, чем когда-нибудь, считает свою хозяйку совершенною дураю.

Илья Макарович нимало не изменился. Он по-старому льет пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, как она, при всем желании казаться счастливою и спокойною, часто живет ничего не видя и не слыша и по целым часам сидит задумчиво, склонив голову на руку, он часто повторяет себе:

– За что, про что только все это развеялось и пропало?

– Да полюбите вы кого-нибудь! – говорит он иногда, подмечая несносную тоску в глазах Анны Михайлов-

ны.

– Погодите еще, седого волоса жду, – отвечает она, стараясь улыбаться.

Жена Долинского живет на Арбате в собственном двухэтажном доме и держит в руках своего седого благодетеля. Викторинушку выдали замуж за вдового квартального. Она пожила год с мужем, овдовела и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной каким-то «человеколюбивым обществом», которое матроска без всякой задней мысли называет обыкновенно «самолюбивым обществом». Сама же матроска состоит у старшей дочери в ключницах; зять-лекарь не пускает ее к себе на порог.

Вырвич и Шпандорчук, благодаря Богу, живы и здоровы. Они теперь служат гайдуками, или держимордами при каком-то приставе исполнительных дел по ведомству нигилистической полиции, и уже были два раза в деле, а за третьим, слышно, будут отправлены в смирительный дом. Имена их, вероятно, передадутся истории, так как они впервые запротестовали против уничтожения в России телесного наказания и считают его одною из необходимых мер нравственного исправления. Положение этих людей вообще самое нерадостное; Дорушкино предсказание над ними сбывается: они решительно не знают, за что им зацепиться и на какой колокол себя повесить. Взять тягло

в толке житейской – руки их ленивы и слабы; миряне их не замечают; «мыслящие реалисты», к которым они жмутся и которых уверяют в своей с ними солидарности, тоже сторонятся от них и чураются. Стоят эти бедные, «заплаканные» люди в стороне ото всего живого, стоят потерянно, как те иудейские воины, которых вождь покинул у потока и повел вперед только одних лакавших по-песью. Стоят они даже не ожидая, что к ним придет новый Гедеон, который выжмет перед ними руно и разобьет водонос свой, а растерявшись, измышляют только, как бы еще что-нибудь почуднее выкинуть в своей старой, нигилистической куртке.

Вера Сергеевна Онучина возбуждает всеобщую зависть и удивление. Она нынче одна из блистательнейших дам самого представительного русского посольства. Мужа своего она терпеть не может, но и весьма равнодушно относится ко всем искательствам светских львов и онагров. По столичной хронике, ее теплым вниманием до сих пор пользуется только один primo tenore итальянской оперы. Что будет далее – пока неизвестно. Серафима Григорьевна читает сочинения аббата Гёте и прокликает Ренана. Кирилл Сергеевич сделался туристом. Он объехал западный берег Африки и путешествовал по всей Америке. Недавно он возвратился в Петербург и привез первое и по-

следнее известие о Долинском. Онучин видел Нестора Игнатъича с иезуитскими миссионерами в Парагвае. По словам Кирилла Сергеевича, на все вопросы, которые он делал Долинскому, тот с ненарушимым спокойствием отвечал только: «memento mori!»

Пара строк вместо эпилога

Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею зимою так много человеческих имен из списка живых питерщиков, отвела сажень приневской тундры для синьоры Луизы. Беспокойная подруга Ильи Макаровича улеглась на вечный покой в холодной могиле на Смоленском кладбище, оставив художнику пятилетнего сына, восьмилетнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то в обеспечение себе верной любви до гроба. Илья Макарович совсем засуетился с сиротами и наделал бы бог весть какой чепухи, если бы в спасение детей не вступилась Анна Михайловна. Она взяла их к себе и возится с ними как лучшая мать. Илья Макарович прибегает теперь сюда каждый день взглянуть на своих ребяток, восторгается ими, поучает их любви и почтению к Анне Михайловне; целует их черненькие головенки и нередко плачет над ними. Он совсем не может сладить с теперешним своим одиночеством и, по собственному его выражению, «нудится жизнью», скучает ею. Недавно (читатель совершенно удобно может вообразить, что это было вчера вечером) Илья Макарович явился к Анне Михайловне с лицом бледным, озабоченным и серьезным.

– Что с вами, милый Илья Макарович? – спросила

его со своим всегдашним теплым участием Анна Михайловна, трогаясь рукою за плечо художника.

Илья Макарович быстро поцеловал ее руку, отбежал в сторону и заморгал.

– Что с вами такое сегодня? – переспросила, снова подходя к нему и кладя ему на плечи свои ласковые руки, Анна Михайловна.

– Со мной-с?.. Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, что со всеми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

– Не весело; это правда.

– Анна Михайловна! – начал, быстро оправляясь, художник, – у нас уже такие годы, что...

– Из ума выживать пора?

– Ах, нет-с! То-то именно нет-с. В наши годы можно о себе серьезней думать. Просто разбитые мы все люди: ни счастья у нас, ни радостей у нас, утром ждешь вечера, с вечера ночь к утру торопишь, жить не при чем, а руки на себя наложить подло. Это что же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетела с лица Анны Михайловны, и она смотрела в глаза художнику очень серьезно.

– А между тем... знаете что, Анна Михайловна... Не рассердитесь только вы Христа ради?

– Я никогда не сержусь.

– Будьте матерью моим детям: выйдите за меня замуж, ей-богу, ей-богу я буду... хорошим человеком, – проговорил со страхом и надеждою Журавка и сильно прижал к дрожащим и теплым губам Анны Михайловны руку.

Анна Михайловна смотрела на художника по-прежнему тихо и серьезно.

– Илья Макарыч! – начала она ему после минутной паузы. – Во-первых, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не жалейте, пожалуйста, что вы мне это сказали (она взяла его ладонью под подбородок и приподняла его опущенную голову). Вы ничем меня не обрадовали, но и ничем не обидели: сердиться на вас мне не за что; но только оставьте вы это, мой милый; оставьте об этом думать.

– Да ведь я ж бы любил вас! – произнес совсем сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку Анны Михайловны и целуя концы ее пальцев.

– Знаю, знаю, Илья Макарыч, и верю вам, – отвечала Анна Михайловна, матерински лаская его голову.

– Ведь выходят же замуж и... – художник остановился.

– Не любя, – досказала Анна Михайловна. – Да, милый Илья Макарыч, выходят, и очень-очень дурно делают. Неужто вы хвалите тех, которые так выходят?

– Нет... это я... так сказал, – отвечал, глотая слезы,

Журавка.

– Так сказали? Да, я уверена, что вы в эту минуту обо мне не подумали. Но скажите же теперь, мой друг, если вы нехорошего мнения о женщинах, которые выходят замуж не *любя* своего будущего мужа, то какого же вы были бы мнения о женщине, которая выйдет замуж любя не того, кого она будет называть мужем?

– Но ведь его нету; он *пропал*... погиб.

– Погибшие еще более жалки.

– Да нет же, поймите вы, что ведь нет его совсем на свете, – говорил, плача как ребенок, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови и впервые в жизни едва не рассердилась. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо к своему сердцу и сказала:

Слышите? Это он стучит там своим дорожным посохом.

Впервые опубликовано – журнал «Отечественные записки», 1865.